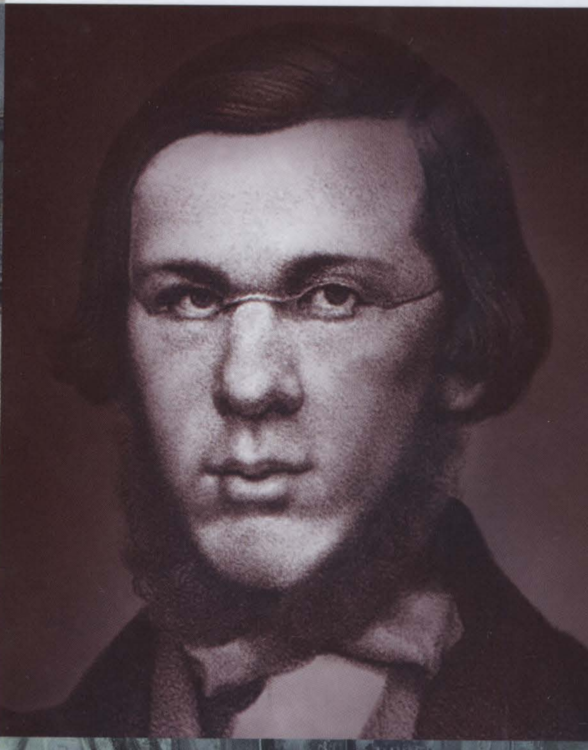
Алексей Вдовин

ДОБРОЛЮБОВ

ЖЗЛ

ДОБРОЛЮБОВ

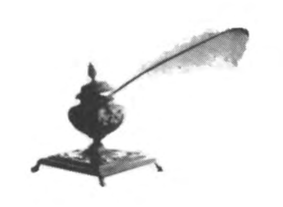




Алексей Вдовин



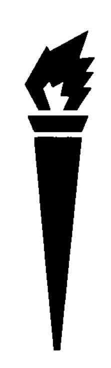
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1839

(1639)

Алексей Вдовин

ДОБРОЛЮБОВ

РАЗНОЧИНЕЦ МЕЖДУ ДУХОМ И ПЛОТЬЮ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2017

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)-8
В 25



*В оформлении переплета использованы:
иллюстрация И. С. ГЛАЗУНОВА «Набережная»
к роману Ф. М. Достоевского «Идиот»
и фрагмент картины В. М. КУЗЬМИЧЕВА
«Некрасов, Чернышевский, Добролюбов
в редакции журнала "Современник"».*

знак информационной продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03986-5

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Теперь как раз пора ему появиться — и вот он подходит, в наглухо застегнутом, форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами (barbe en collier*, которая Флоберу казалась столь симптоматичной); подает руку выездом, т. е. странно суя ее вперед с оттопыренным большим пальцем, и представляется простуженно-конфиденциальным баском: Добролюбов...

Гораздо занимательнее тупой и тяжеловесной критики Добролюбова (вся эта плеяда радикальных литераторов писала в сущности ногами) та легкомысленная сторона его жизни, та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила Чернышевскому материалом для изображения "любовных интриг" Левицкого (в "Прологе"). Добролюбов был чрезвычайно влюбчив...»

В этих фрагментах из четвертой главы романа Владимира Набокова «Дар»[1], в сущности, размечена вся биография Добролюбова. С тем же остроумием герой набоковского романа Федор Годунов-Чердынцев, сочинивший жизнеописание Чернышевского, мог бы написать и книгу о его младшем друге. Хотя подход Набокова понятен и даже симпатичен желанием автора предложить «альтернативную» биографию «окостеневшей» и канонизированной личности великого критика, современного читателя он, разумеется, удовлетворить не может. Набоков, писавший роман в эмиграции, произвел эстетический суд над разночинским

---

* Barbe en collier (*фр.* круглая борода) — узкая короткая борода, проходящая под подбородком от одного виска до другого.

поколением и направлением русской мысли. Осужденные Набоковым по закону «поэтической справедливости» Чернышевский и компания, слепые к эстетическому строю жизни и искусству в целом, обрекались на мытарства в своем существовании и на «каторгу» в глазах потомков, в первую очередь русских эмигрантов.

Но была и другая история.

В конце ноября 1861 года в Воскресенском соборе города Вятки профессор Вятской духовной семинарии Александр Красовский вместе с несколькими десятками семинаристов служил панихиду по умершему 17 ноября Добролюбову. Красовский, часто бывая в Петербурге и будучи знаком с Чернышевским и Добролюбовым, ездил на похороны и привез оттуда листки лаврового венка с головы покойного и бумажку с одной лишь фразой «соль русской земли». Когда пропели «вечную память», один семинарист вышел на середину церкви и произнес длинную речь в память о критике: «Он воспитал в нас идеалы правды и добра, воспитал в нас любовь к народу, на служение которому он учил нас посвятить все свои силы... Пусть это старье ругает и ненавидит тебя как развратителя молодого поколения, но это поколение будет горячо любить тебя за твои здоровые идеи...» На следующий день семинариста чуть было не исключили из семинарии за «святотатство» и «кощунство»[2].

Этим семинаристом был будущий известный статистик, этнограф и активист земского движения Иван Маркович Красноперов. Просвещаемый Красовским, он еще с 1859 года «проглатывал» все статьи Добролюбова и номера «Современника»: «Это чтение просветляло наши умы и наполняло наши сердца высоким восторгом»; «образ Добролюбова был окружен в наших глазах каким-то ореолом святости».

Легко представить, с каким сочувствием и гордостью Красноперов в 1861 году прочел в некрологе Добролюбову, написанном Чернышевским, о том, что этот двадцатипятилетний молодой человек «уже четыре года стоял во главе русской литературы, *— нет, не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли*»[3] (курсивом выделены вырезанные цензурой места). Так же нетрудно догадаться и о серьезном сомнении Набокова в способности юноши играть такую роль при живых Тургеневе, Гончарове и Достоевском.

На пересечении двух этих мнений — условно набоковского и условно красноперовского — и завязан конфликтный узел русской мысли и российской истории последних 150 лет. С одной стороны, великая сила слова русских критиков, демократическое движение, земская деятельность, становление чувства собственного достоинства и современных представлений о важнейших этических и социальных явлениях. С другой — эстетическая близорукость, стилистическая топорность, упрощенное понимание сложных проблем.

Наша книга ни в коей мере не претендует на однозначное разрешение описанной коллизии. Такого решения попросту не может быть, тем более в жанре биографии. Зато этот жанр хорошо приспособлен не для «суда» или сенсационных заявлений, а для взвешенной и спокойной попытки понять, как думали, какие ценности исповедовали и какие внутренние драмы переживали люди, до сих пор оказывающие влияние на русскую культуру. Случай Добролюбова в этом смысле весьма любопытен.

Личность критика, поставленная первыми его биографами Чернышевским и Некрасовым на недосягаемую высоту, еще в XIX веке стала культовой для нескольких поколений радикальной интеллигенции. Грань между реальным Добролюбовым и мифологизированным «главой русской мысли» стерлась. Этому, разумеется, поспособствовала советская «канонизация» критика, сделавшая из него предтечу социализма. Осмелимся сказать, что реальный Добролюбов широкой аудитории сегодня неизвестен.

Последний раз полная биография Николая Добролюбова вышла в серии «ЖЗЛ» в 1961 году[4]. Нет нужды говорить, что с тех пор гуманитарная наука не только накопила новые сведения о великом критике, но и предложила более современные и убедительные интерпретации его творчества и идеологии в широком контексте эпохи. При этом нельзя сказать, что его наследие сейчас актуально и вызывает интерес. Помимо прочего, это связано с тем, что долгие годы критика Добролюбова навязывалась как единственно верная интерпретация литературной классики.

Задача нашей книги — «освежить» образ критика, заново взглянуть на него, отрешившись от шаблонных трактовок. Для этого есть все предпосылки, прежде всего новые факты и материалы. Некоторые разделы этой книги основаны на до сих пор не опубликованных письмах Добролюбову от разных его знакомых (в первую очередь женщин),

которые по-новому открывают нам его внутренний мир. Собственно, главной интригой книги станет контраст между небывало успешной карьерой литературного критика, к двадцати пяти годам добившегося всероссийской славы и написавшего семь томов статей, и его горестной личной жизнью. Перед читателем развернется драма амбициозного, но склонного к рефлексии и застенчивого человека, никак не равного целомудренному герою некрасовского поэтического некролога «Памяти Добролюбова» (1864). Вопреки мифу, созданному поэтом, Добролюбов не «отвергал мирские наслажденья» и не был аскетом. На основании писем возлюбленных Добролюбова и его откровенных дневников наше жизнеописание развернет перед читателем сложный образ страстного молодого человека, посещавшего публичные дома, пытавшегося спасать падших женщин, но так и не обретшего семейного счастья.

Такой тип поведения не был чем-то сенсационным или экстраординарным. Напротив, историко-культурный контекст 1850—1860-х годов позволяет лучше понять взгляды и поступки Добролюбова. Это идеология «новых людей» — динамичной социальной группы разночинцев, состоявшей из детей священников, мещан, крестьян, вышедших из прежнего сословия и не вошедших ни в какое иное. Последние исследования о разночинцах, их жизненных установках, типичных траекториях судеб, идеалах, страхах и фобиях открывают перед нами увлекательную картину бурлящей интеллектуальной и напряженной социальной жизни целой когорты честных, разуверившихся в Боге, но целеустремленных людей, сделавших своей новой религией служение «общему благу». Еще известный историк русской философии Василий Васильевич Зеньковский рассматривал русский социализм как секулярный вариант религиозного мировоззрения[5]. Эта идея была подхвачена и развита на материале творчества Чернышевского и других разночинцев Ириной Паперно в 1988 году и Татьяной Печерской в 1999-м[6]. Они рассматривают представления разночинцев о их социальной миссии как особую идеологию, по своей природе религиозную, если не сектантскую. Лори Манчестер в недавней фундаментальной работе[7] продолжает этот ряд и делает попытку описать мировоззрение «поповичей» как единую систему взглядов, характерную для большинства детей священников, родившихся в период с 1820-х до 1880-х годов. Манчестер называет это мировоззрение «мирским аскетизмом». Эта «секулярная религиозность»

предполагала, что, с точки зрения нового поколения детей священников, целью жизни становится не достижение личного спасения души традиционным путем, но спасение через служение другим людям (крестьянам, рабочим и вообще всем нуждающимся) в определенных институциях (школы, больницы, суды, земство), массово появившихся в России во второй половине XIX века.

Судьбу Добролюбова невозможно понять вне этих убеждений. Поэтому предлагаемая биография посвящена в первую очередь его интеллектуальной жизни — системе его ценностей, литературных, социальных и политических взглядов и, конечно же, журнальной деятельности и прославившей его критике.

Вместе с тем одна из главных идей книги заключается в том, что творческая жизнь Добролюбова неотделима от личной, что темы освобождения плоти и утверждения прав любой, даже падшей личности пронизывают не только его публицистику, но и дневники. Автор ставил себе целью не выискивание «клубнички» и «копание в грязном белье», а тщательное и взвешенное исследование жизни Добролюбова, основанное на документальных источниках. Интерпретировать эти источники означает реконструировать логику мысли и поведения Добролюбова, а не оценивать его поступки. Без обнародования некоторых откровенных документов в этом деле обойтись невозможно, но от всякого суда над героем, подобного набоковскому, следует воздержаться. Важнее услышать «другого» Добролюбова и понять, почему он думал и поступал так, а не иначе.

В то же время мы убедимся, что цельность и единство личности Добролюбова, как и многих других разночинцев, — это скорее высокий идеал, к которому он стремился, но так и не достиг. Упрекая старшее поколение «лишних людей» в разрыве между «словом» и «делом», Добролюбов так и не сумел до конца преодолеть эту раздвоенность в собственной жизни. Более того, он не смог разрешить и конфликт между своими самыми сокровенными желаниями и исповедуемой им демократической идеологией, требовавшей эти желания подавлять. Между добролюбовским *я-для-себя* и *я-для-других*, по выражению литературоведа Т. И. Печерской, «существовала невидимая миру дистанция», которая и была причиной драматической фрустрации и неудовлетворенности, занимавших так много места в эмоциональной жизни героя. Уделяя большое внимание интимному в биографии Добролюбова, автор меньше всего

хотел нарушить хрупкий баланс между личным и публичным, а, напротив, стремился подчеркнуть, что правильное понимание внутренних установок и судьбы критика без этой стороны просто невозможно.

Важно добавить, что хотя в книге много интимных подробностей жизни героя, бытовых деталей читатель, всегда большой охотник до них, найдет мало. Дело в том, что Добролюбов, живя в мире книг, идей, журнальной работы, поступков, был равнодушен к быту. Вещи (одежда, мебель, аксессуары) его занимали настолько, насколько были необходимы для поддержания жизни. Искусством он не интересовался и, будучи в Европе, в отличие от других известных его современников, галереи не посещал. Если заострять, то у него были только две страсти — журнальная работа и женщины. О них-то и пойдет речь в этой книге.

Скорее всего, читатели (по крайней мере большая их часть) живут в плену влиятельных мифов о Добролюбове, созданных сразу после его смерти Некрасовым и Чернышевским. Последняя, шестая глава книги посвящена тому, как складывался образ аскета и мученика, начиная с церемонии похорон в 1861 году и заканчивая советской «канонизацией» Добролюбова. «Лик» критика в общественном сознании настолько застыл, что потребуется еще много усилий, чтобы понять, как это произошло и какую роль сыграло в XX веке. Поэтому шестая глава и эпилог носят подчеркнуто историко-рецептивный характер. Однако замысел книги подразумевает эту «закругленность» сюжета: без знания того, как складывался культ Добролюбова во второй половине XIX века и в XX веке, на наш взгляд, невозможно до конца понять, почему человек, проживший только 25 лет, до сих пор играет в русской культуре такую важную роль.

Поскольку в основу книги положены работы, писавшиеся на протяжении десяти лет (с 2005-го по 2015-й), нет возможности выразить благодарность всем, кто обсуждал их со мной и делился щедрыми советами. Среди многих с особенной признательностью называю в первую очередь Наталью Валентиновну Осипову, к которой я пришел с первой идеей написать о Добролюбове, и Любовь Николаевну Киселеву, которая открыла мне глаза на то, какие проблемы стоят за добролюбовской биографией. Я также благо-

дарен Борису Федоровичу Егорову — за щедрые советы и воспоминания о его добролюбоведческих исследованиях, Андрею Семеновичу Немзеру — за внимательнейшее прочтение рукописи, вдохновляющую критику и важные рекомендации. Павел Успенский и Андрей Федотов не только прочли рукопись, поделившись ценными соображениями, но и подбадривали меня. Книга не была бы написана без поддержки моих коллег по школе филологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», где я работаю с 2012 года. Разумеется, все недостатки книги остаются сугубо на моем счету.

Наконец (но не в последнюю очередь), я очень обязан моим близким (жене Насте и родителям), которые терпели мое полное «погружение» в добролюбовскую жизнь и «отсутствие» в жизни реальной.

Глава первая

«СИЛЬНО НАБОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«Сын бедного священника»?

В конце 1861 года анонимный автор петербургской газеты «Северная пчела» назвал Добролюбова сыном «бедного сельского священника». На эту ошибку мгновенно среагировал земляк критика, нижегородец и известный в будущем писатель Павел Мельников-Печерский. Он хорошо знал Добролюбова-отца (тот был его духовником) и сразу же поместил в той же газете опровержение:

> «Это несправедливо: отец его был протоиерей Никольской верхнепосадской церкви в Нижнем Новагороде и член духовной консистории Александр Иванович Добролюбов, рукоположенный прямо к этой церкви и при другой ни в городе, ни в селе никогда не бывавший. Никольский приход — один из самых богатых в Нижнем, и отец Александр, умерший в 1855 году, был в нем более двадцати лет один, без другого священника, и еще в 1840 году построил большой трехэтажный дом с флигелями на Лыковой дамбе»[8].

Конечно же, формулировка анонима в «Северной пчеле» не была случайной ошибкой — за ней стояли богатая культурная мифология русского разночинства, устойчивые образы и типы, распространенные жизненные траектории. Духовное училище и семинария за плечами, изнурительная журнальная работа, сиротство, необходимость воспитывать малолетних братьев, мучительные болезни, ранняя смерть — все эти факты биографии Добролюбова создавали образ крайне неблагополучной судьбы человека, подобно многим другим известным журналистам и литераторам резко и навсегда порвавшего с укладом своего сословия. В памяти возникала значимая аналогия: внук сельского дьячка Виссарион Белынский (Белинский слегка подправил

родовую фамилию). Начиная с «неистового Виссариона», все эти ассоциации неблагополучия и постоянной нужды, необходимости тяжелой работой пробивать себе дорогу в высшие слои общества прочно ассоциировались со стезей журналиста и критика. Неудивительно, что и биографию Добролюбова воспринимали именно в этом ключе.

На самом деле родился он в очень благополучной семье. Отец, Александр Иванович, будучи сыном дьякона села Тольский Майдан Лукояновского уезда Нижегородской губернии, сделал блестящую церковную карьеру после женитьбы на дочери настоятеля богатого прихода Никольской церкви Василия Покровского. Этот приход в 1834 году Александр Иванович по тогдашнему обычаю унаследовал после свадьбы. Тем самым отец Добролюбова заметно поднялся в церковной иерархии — с сельского священника до настоятеля одного из центральных нижегородских храмов с обеспеченной и знатной паствой. Годовой доход Александра Ивановича с треб в 1854 году достигал 800 рублей, в то время как от прихожан сельской церкви едва ли можно было получить и половину этой суммы[9]. Стоит помнить, что плата за разные службы составляла в то время основную часть дохода духовенства.

Отец Добролюбова до рукоположения в сан преподавал греческий, арифметику, историю и другие науки в Нижегородском духовном уездном училище, а потом параллельно с основным делом (до 1843 года) состоял увещевателем* гражданских присутственных мест Нижнего Новгорода. Кроме этого, с 1841 по 1843 год он исполнял должность законоучителя училища для детей канцелярских служащих, а с 1843-го и до самой смерти был членом духовной консистории — органа епархиального управления. Формулярный список Александра Ивановича фиксирует неоднократные награждения — «за особенные труды и тщание к сочинению проповедей»[10].

Как видно, священник Добролюбов совмещал несколько должностей, чтобы обеспечивать разраставшуюся семью: после первенца Николая (1836) появились на свет еще семеро детей: близнецы Антонина и Анна (1841), Екатерина (1843), Юлия (1846), Владимир (1849), Иван (1851), Елизавета (1854). В 1843 году было закончено строительство

---

* Увещеватель — священник, назначаемый духовной консисторией для бесед с преступниками в гражданских судебных палатах, дабы склонить их к раскаянию.

небольшой усадьбы на откосе Лыковой дамбы — трехэтажного дома с примыкающим к нему флигелем (сейчас Дом-музей Добролюбова). Строительство дома было предпринято отцом на заемные деньги — 2857 рублей плюс годовые проценты[11]; он сдавал внаем некоторые помещения, но так и не успел расплатиться с долгами до скоропостижной смерти в 1854 году.

Мельников-Печерский вспоминал об Александре Ивановиче:

> «Он был человек развитый, начитанный, образованный, любил светскую литературу и отличался высокой нравственностью, почему пользовался любовью и уважением не одних прихожан своих, но и всех вообще жителей Нижнего Новагорода. Честность, бескорыстие, доброта и редкое благодушие отличали этого достойного служителя алтаря. В приходе Александра Ивановича жила большая часть городского дворянства, и он, постоянно находясь в образованном кругу, бывая в домах своих прихожан не только с требами, но и как любимый гость, совершенно усвоил быт образованного класса людей. Он имел такое нравственное влияние на своих прихожан, что нередко бывал приглашаем ими на семейные советы, избираем в посредники при семейных несогласиях и т. п. Он был прекрасным законоучителем, но в казенных заведениях, кажется, никогда не преподавал, а учил детей в домах образованного кружка городских жителей»[12].

За вычетом некоторых неточностей (он всё-таки преподавал в казенных заведениях), эти воспоминания рисуют образ человека, в полной мере воспользовавшегося социальным лифтом и «сделавшим самого себя». На фоне судеб большинства семинаристов стремительная карьера Александра Ивановича выглядит нетипично. Как показывают современные исследователи духовенства, судьбы сыновей дьячков были, как правило, гораздо горше: они редко получали богатые приходы и зачастую жили очень скромно. А те, кто выходил из сословия, пытались реализоваться на каком-то ином поприще — медицинском, образовательном, земском[13]. Художественная проза 1850—1860-х годов также предлагает весьма пессимистичный взгляд на судьбу семинаристов не только во время учебы (чего стоят хотя бы издевательства и дедовщина, описанные в «Очерках бурсы» Николая Помяловского), но и после выпуска. Так, во время сотрудничества Добролюбова в некрасовском «Совре-

меннике» появился рассказ начинающего писателя Ильи Салова «Мертвое тело» (1859) о трагической истории Калистова, сына сельского попа, оставшегося, как и Добролюбов, сиротой. С отличием окончив духовную семинарию, он старается добиться достойного прихода, который ему обещает выхлопотать секретарь епархии. Однако в последний момент «благодетель» ставит неприемлемое условие — жениться на его незаконнорожденной дочери. Герой рассказа уже помолвлен с дочерью пономаря, а потому, оскорбленный до глубины души, отказывается, остается без места, запивает с горя. Жизнь Калистова с этого момента идет под откос, и в итоге бывший однокашник освидетельствует его мертвое тело.

Нет нужды говорить, насколько благополучно на этом фоне складывалась жизнь Александра Ивановича и Зинаиды Васильевны Добролюбовых. Семья располагала достаточными средствами, чтобы дать детям качественное образование. Первой учительницей старшего сына Коки, как отец ласково называл его[14], стала мать. По воспоминаниям учителя Добролюбова Михаила Кострова, маленький Коля уже в три года разучил несколько басен Крылова и декламировал их перед домашними. Других ярких воспоминаний о детстве Добролюбова почти не сохранилось. Только двоюродный брат Михаил Благообразов в письме Чернышевскому вспоминал, как они, старшие, вовлекали Николая в свои взрослые денежные игры:

> «...он у нас был вроде прокурора или секретаря. Мы его постоянно заставляли проверять разные счеты. До того был у него мягок характер, что он никогда не выходил из повиновения. Игры наши были преимущественно торговые. Мы набирали игрушки, назначали им цены миллионные, деньги были бумажные; на каждой бумажке была надпись, во сколько ходит известная монета. <...> Все эти надписи возлагались на Николая Александровича, зная, что он добросовестно исполнит поручения. <...> Другая игра была солдатиками. До несколько тысяч было нарисовано картинок, они вырезывались, потом подклеивались на деревяшки, чтобы они могли стоять на столе. Этот труд тоже нес Николай Александрович. Лет семи Николай Александрович уже очень хорошо и расчетливо играл и в вист, и в преферанс, так что допускался играть с большими гостями его родителя; и нередко обыгрывал своего отца в игру “в свои козыри”, в которую славился играть мой дядюшка Александр Иванович»[15].

Летом 1844 года восьмилетнему Коле наняли домашнего учителя — Елпидифора Садовского, по неизвестным причинам прозанимавшегося с мальчиком всего два месяца[16]. План занятий был составлен самим отцом: в пятницу, воскресенье и понедельник — катехизис и священная история; во вторник — латынь и греческий; в среду и субботу — география; в четверг — русская грамматика и чистописание[17]. Однако уже с осени того же года на место Садовского заступил воспитанник философского класса Нижегородской семинарии Михаил Костров, который должен был подготовить мальчика к поступлению в духовное училище первой ступени, где проходили стандартный набор предметов: грамматику, чистописание, географию, катехизис, священную историю, латинский и греческий языки. Благодаря домашним урокам мальчик оказался основательно подготовлен к учебе. Мы мало знаем о крайне скупо документированном периоде этих занятий Добролюбова, длившихся с сентября 1844 года по август 1847-го[18]; однако можно с уверенностью утверждать, что уже девятилетним мальчиком он начал постоянно читать книги из обширной библиотеки отца, каталог которой, включающий 155 позиций, составил на рубеже 1846—1847 годов[19]. Даже детские игры под влиянием чтения носили литературный или исторический характер. От этого времени уцелело несколько смешных записочек, какими Добролюбов обменивался с другом детства Владимиром (фамилия его неизвестна). Мальчишки воображали себя то Джембулатом*, то императором Наполеоном, объявляющим войну, то карфагенским полководцем Ганнибалом перед сражением с римлянами (примечательно, что письма от имени последнего составлены на латыни[20]). Таковы были игры одиннадцатилетних мальчиков.

К концу 1849 года, по свидетельству Добролюбова, он прочел почти все имевшиеся дома книги. Каков же был круг его чтения?

К чему приводит чтение

В сентябре 1847 года Добролюбов был отдан сразу в высший, четвертый класс Нижегородского уездного духовного училища, который через год окончил «с отличным

---

* Вероятно, получилось путем соединения имени героя лермонтовской поэмы «Хаджи Абрек» Бей-Булата и названия аула Джемат.

успехом» и, следуя традиционному пути, поступил в духовную семинарию. Обучение в ней состояло тогда из трех последовательных двухгодичных «классов» — словесности, философии и богословия; таким образом, полный цикл был рассчитан на шесть лет, однако Добролюбов потратил на год меньше.

Именно на семинарский период выпадает переломный момент в интеллектуальном и духовном развитии Николая: за годы учения сомнения в авторитетах и в себе самом стремительно растут и крепнут. Можно с уверенностью утверждать, что решающую роль в этом процессе сыграло чтение.

Добролюбов называл себя библиофагом. Он поглощал книги с поразительной скоростью: в первую очередь была прочитана вся отцовская коллекция, включавшая книги не только духовного содержания (среди самых известных авторов там были немецкий католический писатель-мистик Карл Эккартсгаузен и поэт-сентименталист и масон Эдуард Юнг), но и исторические (например, «Жизнь Суворова», «Жизнь Кутузова»), и художественные (романы Фенимора Купера, Михаила Хераскова, Оноре де Бальзака, Генриха Чокке, Николая Карамзина), а также номера журналов «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Москвитянин» и др. Кроме того, в архиве Добролюбова хранятся «Реестры читанных книг», в которых с 1849-го до середины 1853 года (отъезда в Петербург) молодой человек дотошно фиксировал не только названия «проглоченных» тома или журнала, но и развернутое — иногда на целый абзац, с характеристикой сюжета и персонажей, языка и стиля — мнение о книге. По подсчетам лучшего биографа Добролюбова Соломона Абрамовича Рейсера, эти реестры вкупе с каталогом библиотеки отца и списком книг, взятых Добролюбовым для чтения у знакомых, насчитывают несколько тысяч книжных названий, а в одном только 1849 году им было прочитано около четырехсот томов[21]. В 1852 году, словно подводя итоги целого периода в своем умственном развитии, молодой человек писал: «Глупое зубрение уроков не далось мне, гораздо более мне нравилось чтение книг, и вскоре оно сделалось моим главным занятием и единственным наслаждением и отдыхом от тупых и скучных семинарских занятий. Я читал всё, что попадалось под руку: историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы, — всего больше романы. Начиная от Жанлис и Радклиф до Дюма и Жоржа Занда и от Нарежного до Гоголя включительно, всё было поглощаемо мной с

необыкновенной жадностью. Только почти и делал я во все эти пять лет»[22]. Однокашники Добролюбова по семинарии вспоминали, что очень часто он приходил в класс со своими книгами, усаживался на заднюю парту и погружался в книгу, совершенно не слушая учителя[23].

Все эти свидетельства представляют Добролюбова человеком абсолютно книжным: подобно многим семинаристам и разночинцам, он был продуктом *письменной культуры* — по крайней мере, в семинарские годы, пока не переехал в Петербург и в его жизни не случился серьезный перелом (осиротелость, одинокая жизнь, утрата веры). Хотя в своих лучших и наиболее известных статьях Добролюбов и будет писать о социальной реальности, нужно понимать, что доступ к этой реальности для него чаще всего был опосредованным — через самые разнообразные тексты. Это свойство мышления «людей шестидесятых годов», «людей эпохи реализма» удачно описала Ирина Паперно в книге о наставнике и лучшем друге Добролюбова Николае Чернышевском*. «Реализм» и «позитивизм», антропологический принцип в философии (о нем еще пойдет речь) прочно овладели умами целого поколения в 1850-е годы и определили его мировосприятие. «Реальность» должна была восприниматься теперь цельно, без христианского деления на «дух и плоть», «душу и тело», «мир горний и дольний», мир реальный и загробный. О непрактичности взрослого Чернышевского, его бесстрастности, «кабинетности», «выключенности» из всех жизненных и бытовых связей существует множество воспоминаний. Отчасти преувеличенные, они всё же не являются полной выдумкой.

В отличие от Чернышевского, который, как показывают его письма и дневники, даже женился с расчетливой мыслью ускорить саморазвитие и приблизиться к чаемой жизненной позиции, Добролюбов, судя по его дневникам и поступкам, был человеком страстным, импульсивным. Мы не раз будем сталкиваться с разрывом, расхождением между его аскетичным образом, «маской» для других и внутренними страстями, известными ему одному. Чернышевский больше, чем кто-либо другой, сделал, чтобы сократить в глазах публики этот разрыв, уничтожив часть наиболее исповедальных и откровенных дневников своего друга. Но

---

* Чернышевский будет постоянно появляться на страницах нашей книги — он не только трепетно хранил память о Добролюбове и писал его биографию, но и видел в нем родственную душу.

№	Реестръ книгъ, читанныхъ мною въ 1850 году	Примѣчанія	Сколько томовъ	Когда читано
1	Новоселье, часть 2-я (въ кромѣ: [illegible])	[illegible]	1	Генв. 2 и 3 и 4 и 5.
2.	[illegible] (1848.)	[illegible]	6	Генв. 3.
3.	Репертуаръ и пантеонъ за 1842 [illegible]	[illegible]	1.	4.
4.	Реп. и Пант. за 1842 г. [illegible]	[illegible]	1.–	5.
5.	Р. и П. за 1842 г. кн. [illegible]	[illegible]	1	5.
6.	Р. и П. за 1842 г. кн. [illegible]	[illegible]	1.–	Генв. 6 и 5.
7.	Р. и П. за 1842 г. кн. [illegible]	[illegible]	1.	

Страница из «Реестров читанных книг» Добролюбова. *1850 г. РО ИРЛИ*

оставшегося хватит для убедительной реконструкции не только интеллектуальной, но и эмоциональной жизни Добролюбова.

С. А. Рейсер, впервые исследовавший «Реестры читанных книг», поражался, с одной стороны, тому, как рано, в 14—16 лет, у Добролюбова сформировалось относительно взрослое самосознание, а с другой — как оно выдерживало столь полярное чтение — от авантюрных романов Поля Феваля и Константина Масальского до серьезных статей Белинского, Герцена и естественно-научных сочинений по медицине, философии, химии и, конечно же, богословию[24]. Кажется, разгадка здесь проста: силой, которая помогала Добролюбову сбалансировать восприятие, сделать его цельным и связным, была практика фиксации впечатлений от прочитанного. Разумеется, в истории русской культуры XVIII—XIX веков можно найти множество случаев столь же интенсивного чтения, когда подросток или молодой человек «проглатывал» несколько сотен томов в год, однако история сохранила всего несколько примеров такой педантичной и рутинной регистрации всех освоенных книг[25]. Аналогия, напрашивающаяся сама собой, — Лев Толстой, который примерно в те же годы, с конца 1840-х, столь же скрупулезно ведет дневники и отмечает едва ли не всё прочитанное и впечатления от него. Ведение Толстым «Франклинова журнала»* сопоставлялось с похожими рефлексивными дневниками Чернышевского того же периода. Не будет натяжкой распространить это сопоставление и на Добролюбова. Последний тоже интенсивно читал и размышлял над прочитанным, чтобы выработать собственный язык и обрести свой голос. Не случайно в начале 1850-х, одновременно с Толстым, Добролюбов читает Руссо и делает из него выписку «pro memoria»: «Кто я, — говорит Руссо, — кто я? И почему владыка природы нисходит моим слабостям?»[26]

Маниакальное чтение и — главное — усердное размышление над прочитанным с опорой на понятийно-терминологический аппарат тогдашних журнальных суждений о словесности и науке за пять лет сформировали у Добролюбова полезные навыки, без которых немыслима работа критика и публициста: самодисциплину, поразительную

* Бенджамин Франклин, один из лидеров Войны за независимость США, для самовоспитания практиковал метод описывать в дневнике свои недостатки и попытки с ними справиться.

усидчивость, умение читать с огромной скоростью и извлекать из текста главное, переваривать сочинения разного качества, различных направлений и тематики. Через практику фиксации впечатлений от прочитанного Добролюбов постепенно вырабатывал свой стиль. Этот стиль и унифицированная система записи (таблица, в каждый столбик которой вписывался строго определенный тип сведений о книге) и сделали возможным восприятие гигантского объема информации, его последующую классификацию и осмысление. Эта практика в каком-то смысле равносильна учебе в гимназии и университете. К поступлению в педагогический институт Добролюбов был подготовлен настолько, что мог постоянно критиковать профессоров за неверную интерпретацию и неуклюжий стиль изложения истории русской литературы[27].

В каком-то смысле категория «вкус», характерная для дворянского, элитарного чтения, не подходит для описания того, как воспринимают и «потребляют» литературу читатели-разночинцы[28]. Тем, кто изучал «реестры» Добролюбова, пришлось констатировать, что он читал без разбора, всё подряд, не разделяя тексты на «хорошие» и «плохие» до начала чтения, но развешивая ярлыки постфактум. Многие читатели из более образованной среды в ту эпоху поступали иначе: заранее — в силу совета воспитателя или родителя либо статьи критика — исключали из круга чтения, скажем, прозу Фаддея Булгарина, Константина Масальского, Осипа Сенковского, Владимира Зотова, Михаила Воскресенского и других прозаиков, в 1840-е годы дискредитированных Белинским и его союзниками, но, разумеется, с жадностью читавшихся.

Добролюбов в этом смысле был типичный провинциальный читатель 1850-х годов, вкусы и пристрастия которого неоднократно описаны в романах Писемского, Тургенева, Гончарова, Панаева. Любимым жанром пятнадцатилетнего Николая были романы и повести — исторические, светские, сказочные, психологические. Марлинский, Загоскин, Вельтман, Кукольник, Масальский, Зотов (а из европейских — Дюма) — вот те авторы, чьи романы высоко оцениваются в его «Реестрах» и, что важнее, удостаиваются развернутых и весьма эмоциональных характеристик («превосходная вещь», «превосходный роман» и пр.). При этом Добролюбов часто критикует композиционные решения, анахронизмы, неправдоподобие характеров и антуража; особенно характерна такая критика исторических

романов Константина Масальского. Любовь к легким романам не исключала вдумчивого чтения произведений авторов первого ряда — Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Диккенса, Теккерея, Шекспира, Жорж Санд и многих других. «Реестры» полны сведений о прочитанных собраниях сочинений классиков и переводных европейских новинках. Тем не менее бросается в глаза, что ни Пушкин, ни Шекспир не вызывают у Добролюбова такого желания пространно высказаться в «Реестре» о форме и содержании их творений, как Вельтман или Диккенс. О Пушкине Добролюбов обычно пишет «Прекрасно. Пушкин — гений»[29].

Причина различной «глубины» оценки заключается в том, что тексты писателей второго-третьего ряда критиковать и препарировать Добролюбову было легче и сподручнее. Точно так же происходило с молодыми начинающими авторами, не имеющими устоявшейся репутации. Здесь в большей степени проявлялись будущие пристрастия критика. Так, он осуждает любые проявления мистицизма и фантастики. Его раздражение вызывают все двойные мотивировки, характерные для фантастической прозы, у Аполлона Григорьева («дрянь»)[30] и раннего Достоевского. Не увлекает его проза Тургенева, зато наиболее ценимыми и любимыми становятся «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Тамарин» Михаила Авдеева (1851) и «Богатый жених» Алексея Писемского (1851). Выбор не случаен — и Авдеев, и Писемский по-разному работают в русле «лермонтовского направления», предлагая читателю вариации образа Печорина (у Авдеева — подражательные, у Писемского — сниженные), с которым юноша Добролюбов открыто себя идентифицирует:

> «Я имею горестное утешение в том, что понимаю себя с моим еще не установившимся характером, с моими шаткими убеждениями, с моей апатической ленью, даже с моей страстью корчить из себя “рыцаря печального образа” Печорина или по малой мере “Тамарина”»[31].

В этом признании, сделанном в связи с первой любовью Добролюбова к Феничке Щепотьевой (о чем речь впереди), характерно всё — и отсылки, и цитаты, и соположения. Печорин, роман о котором Добролюбов читал по меньшей мере три раза[32], кодируется через «рыцаря» из романа Сервантеса и становится в один ряд с подражанием роману Лермонтова в «Тамарине» Авдеева:

«В начале прошлого года я как-то всё сбивался: хотел походить на Печорина и Тамарина, хотел толковать, как Чацкий, а между тем представлялся каким-то Вихляевым и особенно похож был на Шамилова»[33].

Упомянутые здесь Вихляев и Шамилов — герои романов: соответственно И. И. Панаева «Львы в провинции» и А. Ф. Писемского «Богатый жених». В 1853 году Добролюбов «от души благодарит Писемского» за то, что узнал себя в романе «Богатый жених» и ужаснулся, посмотрев на себя со стороны. Читатель Добролюбов следует по тому пути, каким шла русская проза начала 1850-х годов: проза Писемского и Тургенева окончательно дискредитировала типы и стилистику подражателей «Героя нашего времени», продемонстрировав тупиковость, непродуктивность такого способа изображения реальности. Холодно-объективный, чрезмерно натуралистичный тон раннего Писемского отрезвлял подобных Добролюбову пылких читателей и воспитывал в них представление о другом качестве прозы, в которой отсутствие лиризма, внятного авторского голоса и множественность точек зрения сделались системообразующими факторами.

Суммируя, можно сказать, что более всего Добролюбову импонировали в русской литературе 1840-х — начала 1850-х годов две стилевые тенденции, отражавшие две стороны натуры ключевого литературного героя эпохи и самого читателя: печоринский бытовой байронизм и его же холодный скептицизм, рефлексивность. Натура Добролюбова (и к этому мы будем постоянно возвращаться) сочетала оба этих качества, хотя первое было тщательно укрыто от посторонних глаз и почти не отразилось в воспоминаниях современников, которые не допускались к близкому общению.

По «Реестрам» хорошо видно, что в ценностной иерархии Добролюбова-читателя первое место принадлежало прозе. Поэзия, конечно же, читалась, но тогда явно не была в той же мере важна. Более всего юный Добролюбов ценил стихи Кольцова, Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Но в его собственных стихотворных опытах отразилось внимательное чтение гораздо более широкого круга поэтов. Ранние стихотворения Добролюбова — это и лирическая исповедь, и проба разных манер.

Внимательно всматриваясь в стихотворения и прозаические отрывки конца 1840-х — начала 1850-х годов, мы можем реконструировать, пусть только отчасти, сложный

процесс взросления Добролюбова — постепенного нарастания сомнений в себе. Традиция задавать себе самые «последние» вопросы и мучительно искать на них ответы, как свидетельствуют юношеские стихотворения, уходит корнями в начало 1850-х, когда в семье Добролюбова всё протекало благополучно.

Жизнь в семинарии и жизнь в стихах

О том, как Добролюбов учился в семинарии, известно гораздо больше, чем о пребывании в училище, — как из опубликованных еще в 1897 году официальных отчетов, так и из воспоминаний его однокашников (М. Е. Лебедева, В. И. Глориантова и др.) и учителей (М. А. Кострова и И. М. Сладкопевцева). Их воспоминания во многом похожи: во всех, за одним исключением, Добролюбов предстает поразительно цельным и одинаковым, наделяется одним и тем же набором качеств. Для понимания его душевной и духовной жизни в семинарии гораздо логичнее и уместнее описывать не «внешнюю» биографию (какие лекции слушал, какие отметки получал, какие отношения были с другими бурсаками), а «внутреннюю». Но вначале следует представить «собирательный» портрет Добролюбова таким, каким запомнили его «однокорытники».

Добролюбов слыл одним из лучших семинаристов (по успеваемости «шел первым все 5 лет»[34]), имел репутацию скромного, застенчивого и крайне скрытного человека, чурался сближения с товарищами[35]. Однокурсники платили ему тем же: чуждались его, относились уважительно, но не без иронии и подтрунивали над неуклюжим и нелюдимым молодым человеком. Так, Федот Андреевич Кудринский, собиравший мнения семинаристов в конце XIX века, отмечает, что даже старшие почтительно обращались к Добролюбову по имени-отчеству. При этом нежная, даже женственная наружность будущего критика «заметно выделяла его из среды товарищей и служила поводом для многих бурсацких комплиментов, которые Добролюбов принимал равнодушно, не оскорбляясь». За это его часто называли «институткой»[36]. Характерно, что воспоминания, собранные Кудринским, не попали в оба советских издания «Добролюбов в воспоминаниях современников», так как выбивались из канонического образа критика: он не должен был выглядеть слишком строптивым и отчужденным

от товарищей. Между тем так оно, судя по всему, и было: между строк у многих мемуаристов проступает плохо скрываемое желание оправдать отчужденность Добролюбова. Митрофан Лебедев, например, пишет:

> «Сам Добролюбов не водил большой компании с товарищами; когда приходили товарищи к нему в гости, он был одинаково любезен со всеми; но как и из этих смельчаков многие трусили посещать его в собственном его доме чаще разу в месяц, то оставалось не более троих, четверых постоянных его гостей, которые имели случай не только удостовериться, что Добролюбов не был букой, гордым или тому подобное, но и сами могли в его обществе и семействе стряхнуть с своих костей привитую семинарскую дикость»[37].

Лебедев спорит здесь с распространенным мнением о Добролюбове как о сухом и черством человеке, пущенным в оборот Тургеневым и Герценом в полемике с «новыми людьми» (желчевиками, как называл их последний). Но нам необходимо выйти за пределы «корпоративной», кружковой точки зрения, пропагандируемой близким окружением Добролюбова, и посмотреть на него другими глазами — глазами бедного семинариста, завидующего образованности, «богатству» и положению сына видного нижегородского священника. Так смотрел на соученика другой семинарист — Василий Глориантов. Даже с поправкой на зависть и преувеличенность «аристократизма» Добролюбова воспоминания Глориантова передают весьма важные особенности отношения к будущему критику, присущие некоторой части его однокашников:

> «Действительно, он вовсе не походил на нас, бурсаков, и по той причине, что ему не удалось испытать всех тех горестей жизни, которыми мы все с самого раннего детства до самых костей были пропитаны. Я скажу прежде то, что Н. А. явился в семинарию не из глуши сельской, как почти мы все — его товарищи, и не от бедных священноцерковнослужителей, а от городского благовоспитанного и образованного родителя, обладающего хорошими средствами и пользующегося хорошим общественным мнением, и у которого для воспитания своего сына всего было много: и учебных пособий и учебных руководителей, доставивших возможность сыну его поступить прямо в семинарию, не бывши предварительно в духовном уездном училище»[38].

Несмотря на ошибку Глориантова, полагавшего, что Добролюбов вовсе миновал ступень духовного училища, в его словах — ключ к социально-психологическому напряжению, возникшему между «аристократом» и бедными бурсаками. На их фоне Добролюбов в самом деле казался эдаким светским и обеспеченным «Тургеневым», «литературным генералом», как потом сам он будет называть писателей-аристократов. Спустя несколько лет многие литераторы в кружке «Современника» будут описывать статус и свойства Добролюбова в сравнении с «аристократическим крылом» журнала (Тургенев, Панаев, Лев Толстой) именно в логике Глориантова — как противопоставление аристократов и разночинцев-бедняков.

Возвращаясь к апологии душевных качеств Добролюбова, следует подчеркнуть, что, разумеется, в узком кружке наиболее близких друзей он всё-таки «раскрывался», а потому и собеседники могли оценить глубину и смелость его мышления. Однако едва ли можно предполагать, что он открывал друзьям свои интимные переживания. Для этого у Добролюбова был только один друг — дневник. Ни один дружеский мемуар не может соперничать с дневником по глубине понимания личности Добролюбова.

Объяснение отчасти состоит в том, что большинство воспоминаний о Добролюбове написано сразу после его ранней смерти и потому неизбежно носит апологетический характер. Мемуаристам присуще стремление примирить все противоречия натуры усопшего, с которыми они сталкивались. Легко заметить, что все мемуаристы строят свое повествование об однокурснике на сильной антитезе «внутреннее—внешнее». Внешняя неказистость и закрытость Добролюбова противопоставляются богатейшей внутренней жизни, как интеллектуальной, так и духовной. Только Иван Максимович Сладкопевцев, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, оставил проникновенные воспоминания о том, какой стороной его тайный обожатель раскрылся только ему, и никому другому. Но и Сладкопевцев признавался, что так и не смог разгадать личности своего ученика — этой «огненной души», страстной, но молчаливой и запертой для посторонних[39]. Именно Сладкопевцев сформулировал то противоречие, которое помогает лучше понять психологический склад Добролюбова:

> «Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из семидесяти учеников своего класса; но его необычайная робость, какая-то угрю-

мость, даже будто забитость прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. "Это ли, — думал я, — сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником; но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?"»[40].

Сладкопевцев лишь наметил ответ на поставленный вопрос. Замкнутость, погруженность в себя и книги, ощущение собственной избранности — характерные приметы романтического поведения многочисленных литературных героев первой трети XIX века, сформировавших представления юного Добролюбова. Поэтому его внутреннюю жизнь нужно искать в круге его чтения и в его текстах — стихах и дневниках.

Как и многие молодые люди, Добролюбов много и страстно сочинял стихи. Самые ранние дошедшие до нас аккуратные тетради его виршей — как черновые, так и беловые — датированы первой половиной 1849-го, то есть первым годом учебы в семинарии. Мальчику было 13 лет. О чем пишут в таком возрасте? О первой любви, о природе. В крайнем случае — в подражание поэтической моде — о разочаровании в жизни (можно сравнить с юношескими опусами Лермонтова). Тематический и метрический репертуар* сочиненного молодым Добролюбовым поражает разнообразием, но еще больше впечатляет объемом. В иные месяцы он писал по стихотворению, а то и по два в день.

Однако считать сочинения авторов в нежном возрасте проявлением графомании не совсем корректно. Правильнее было бы объяснять плодовитое юношеское версификаторство психологически и даже прагматически. Юный Добролюбов, не являясь исключением, изливал на бумаге все свои сомнения и страхи, самые сокровенные чувства и мечты, постоянно перечитывал написанное, а потом часто черкал его и делал ядовитые, самоуничижительные приписки типа «рифмы не везде правильные» или «как это глупо, гадко, непоэтически»[41]. Иными словами, быстро взрослевший Добролюбов оттачивал свой вкус и

---

* Добролюбов, подкованный в метрике и стихосложении, сознательно старается попробовать себя во всех размерах и в подражании античному и народному стиху.

версификаторские навыки. Написанные каких-нибудь полгода-год назад тексты переставали его удовлетворять. В свете этого логично рассматривать ранние стихотворения в качестве прообраза будущего «психаториума», как чуть позже назовет свой дневник Добролюбов. По ранним стихам мы можем судить о его сокровенных мыслях и чаяниях.

Начинал Добролюбов с чисто пейзажных зарисовок «Весна», «Летний вечер», «Наступающая осень», «Прощание с летом» и других, написанных в подражание к тому времени уже хрестоматийным пейзажным интерлюдиям и иным известным фрагментам «Евгения Онегина». Например, строчки «Прощанья с летом» — «Зачем так скоро удалилось / Ты, лето красное, от нас?» — явно навеяны стихами Ленского из шестой главы «Онегина: «Куда, куда, куда вы удалились...» Строки добролюбовской «Осени» — «Уж воздух осенью дышал, / Уж лист желтел и иссыхал...» — конечно же, восходят к пушкинскому «Уж небо осенью дышало...». Стихотворение «Весна» перепевает характерные образцы пейзажной лирики А. В. Кольцова: «Вот весна пришла / Ненаглядная / Укротилися / Бури грозные... / Засияло вновь / Красно солнышко / И снега и льды / Растопило все...» Зарисовка «Дождливый день», по собственному признанию юноши, — подражание одному из стихотворений Ф. И. Тютчева[42], хотя по стилистике и тематике оно написано в излюбленной пейзажной манере раннего Фета:

Метко, звонко бьет о стекла
Дождик проливной:
На дворе уже всё взмокло,
Всё в грязи густой!..

Небо в тучах. Солнце скрыто...
Воздух влажен, сыр...
Лужи по двору разлиты...
Темен как-то мир...

Мокрой курицей прямою
Курица стоит
И, поникнув головою,
На себя глядит...

Вот кухарка хлопотливо
Кадочки тащит;

1849

Стихотворения, Стихоплетения, рифмоплетения, поэтическия вдохновения,
Стишищи, стихи, стишки, стишечки,
и стишонки, стишоночки [redacted]
[redacted] Николая Добролюбова
Разных

Тетрадь 1я

Аз. Въ сей* тетради заключаются
первые опыты изложенные во стихахъ
Ямбо-хорее-дактило-, хорее-Анапесто-Ямбо [redacted] Ямбо-Анапесто-дактило-хорее, прим. Ямбо-хорее-Ямбо-хореических. Сочинителя

*т.е. въ оной, т.е. въ таковой т.. въ сей, т.е. въ этой

Первая тетрадь юношеских стихотворений Н. А. Добролюбова.
1849 г. РО ИРЛИ

С крыши дождик хлопотливо
    В кадки те бежит.

Всё так пошло... Западает
    На сердце тоска...
Всё так скуку нагоняет...
    Радость далека.

В примечании к своему стихотворению Добролюбов указал, что ценит Тютчева, который хотя и второстепенный поэт, но пишет замечательные тексты. Скорее всего, он запомнил определение «второстепенный поэт» из статьи Некрасова в «Современнике» 1850 года, но спутал Тютчева и Фета, героя третьей, анонимной, статьи в том же журнале, в которой цитируются целиком, помимо прочих, два стихотворения, написанные размером, который использовал Добролюбов (четырех- и трехстопным хореем): «На двойном стекле узоры» и «Теплым ветром потянуло». У Тютчева же ничего такого нет.

В стихах Добролюбова о природе бросается в глаза обилие плавных переходов от пейзажных зарисовок к духовным медитациям, а затем — к обращениям к Создателю, Творцу, Спасителю. Религиозность юного поэта часто входит в противоречие с его страстным желанием славы и чувством собственной исключительности. И в этом конфликте религиозного и романтического — вся натура Добролюбова, разрывающаяся между крайностями.

Так, раннее стихотворение «Весеннее утро» (23 сентября 1849 года) заканчивается картиной пробуждения людей от ночной благостной тишины:

После будет что — не знаю,
Ныне ж думается мне,
Что спокойными бывают
Лишь в священной тишине.

И что люди те блаженны,
Кто умеет Бога знать
И перед творцом вселенной
Тихо душу изливать.

А вот финал «Красоты неба»:

Создатель! Пленительно небо — престол твой:
Каков же ты сам есь во славе своей?!
О Боже! Введи нас в небесный чертог свой!
Небесным огнем наши души согрей!

Надо сказать, что в обращениях к Творцу и в постоянных ссылках на непознаваемость Божественного Промысла Добролюбов опирался на довольно почтенную поэтическую традицию, идущую от «Размышлений о Божьем величии» Ломоносова к «Думам» всё того же любимого им Кольцова. Примечательно, что тональность этих регулярных обращений к Творцу у Добролюбова скорее минорная: лирический герой находится в напряжении и просит у Господа защиты. Грамматически это оформляется как нагнетание глаголов повелительного наклонения:

Сохрани меня, спаситель,
От несчастья в эту ночь!
Будь сам гений мой хранитель:
Можешь ты во всём помочь!
(«Летний вечер»)

Внемля молитвам угодников этих,
Господи, даждь нам спокойно почить!
Дай за сей жизнью другую жизнь встретить,
Вечно, блаженно где можно нам жить!
(«Прогулка по кладбищу»)*

Боже, от нас не отыди,
Злобе на жертву не дай нас!
В мраке ночном озари нас
Чудной своей благодатью!
(«Заходящее солнце»)

В этих концовках соблазнительно видеть не только традиционное молитвословие (обращение к Богу с какой-то просьбой), но и поиск успокоения, опоры, попытку смирить свои сомнения и страхи.

Тематический пласт, связанный с мотивами «славы» и «тщеславия», также появляется в стихах с 1849 года. Насколько можно судить по частому обращению молодого человека к этой теме, он постоянно думал о своем призвании и предназначении, поначалу даже не вдаваясь в подробности, какой должна быть его стезя:

---

* «Прогулка по кладбищу» вобрала в себя основные мотивы «Сельского кладбища» В. А. Жуковского — особенно строфы 9—11, где говорится о погребенных «тысячах разного званья людей», которых уравнивает смерть. Как мы увидим во второй главе, поэзия Жуковского была очень важна для Добролюбова.

Для меня бывает слава
Привлекательна всегда,
И я в слабости лукавой
Признаюся без стыда.

Упоительной отравой
Раны сердца я лечу,
Жажду славы, алчу славы,
Ей насытиться хочу.
(«К славе», октябрь 1849 года)

Или та же мысль в стилистике Кольцова:

Сердце молодое
Просит, просит славы...
Не дает покою,
Хочет пить отраву...
(«Желанье славы», август 1850 года)

Этот текст, вкупе с другими, позволяет судить о непомерных амбициях молодого Добролюбова, ригористичном характере его натуры. Чем больше его воображение распаляется от желания славы на каком-то публичном поприще, тем более он дисциплинирует себя в стихах и осмеивает собственные пороки, препятствующие достижению успеха. Так происходит сразу в трех стихотворениях, направленных против собственной лености («Сатира на леность», «Леность», «Эпиграммы на леность»). Непрерывный труд и самообразование в поэтическом мире и этическом кодексе Добролюбова на протяжении всей его короткой жизни были едва ли не высшей ценностью и императивом (это постоянно подчеркивал и его первый и, возможно, лучше всех его понимавший биограф Чернышевский). В это же время Добролюбов в стихах формулирует для себя идеал, какого хочет достичь:

Еще я на заре моей жизни...
Еще много надежд у меня.
Я могу быть полезен отчизне,
У меня в душе много огня.

Я предчувствую — я не могу,
Как и все, свою жизнь провести,
Я быть выше и лучше могу,
Я могу вперед многих идти.

Неужли Бог меня одарил
И умом и моим прилежаньем
Для того лишь, в толпе чтоб я жил
Своего превосходства сознаньем.
(«Надежды»)

Это стихотворение — наиболее концентрированное выражение завладевших Добролюбовым с шестнадцати лет непомерного тщеславия, твердой уверенности в своей избранности, в «особом предназначении» к великим делам на пользу отчизны. Эти мысли оформляются при помощи романтической оппозиции «поэт—толпа» (об этом же — стихотворение «Миг досады»). Добролюбов мыслит себя «избранником» судьбы, убирая из стихов все традиционные для романтической лирики ламентации по поводу роли поэта. Поэзия как таковая его не интересует: среди более чем сотни ранних стихов мы не найдем ни одного «метапоэтического» текста о музе или о лире. Поэтический язык Добролюбову нужен для других целей: для формулирования своих идеалов, для проработки своих комплексов, как «Франклинов журнал». Дневников ему было недостаточно (дневники 1849—1851 годов до нас не дошли, но, скорее всего, в это время они тоже велись).

Неудивительно, что самомнение, честолюбие и тщеславие Добролюбова приводили его к частым конфликтам с однокашниками — вначале по семинарии, а позже по педагогическому институту: почти все мемуаристы-семинаристы свидетельствовали, что Добролюбов был замкнутый сноб, с трудом идущий на контакт. Не последнюю роль здесь играло, очевидно, наполеоническое чувство, откровенно описанное в стихах «Между товарищами»:

С презреньем их благодарю,
Гордó на вопрос отвечаю,
Со всеми гордó говорю
И их ни во что поставляю.
....
Но больше и злобней я рад,
Коль случай найду посмеяться
И видеть, как жалко глядят
И сколько меня все боятся.
(30 мая 1851 года)

Понятно, что в этих строчках отразились какие-то конфликты семинариста с соучениками, о которых мы, скорее

всего, никогда не узнаем. Не менее важно, однако, сколь большое место занимает гордыня/гордость в психологическом ландшафте души сочинителя.

В 1851 году Добролюбов пишет парадоксальное стихотворение «Человечное чувство», которое, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает перед читателем фундаментальное противоречие его натуры: с одной стороны — неприязнь к окружающим его людям («Когда *мизантропом* пред всеми себя выставлял я»), с другой — братскую любовь к абстрактному русскому народу и, возможно, всему человечеству:

Не много нуждаюсь я в людях!.. крепки мои силы!..
Но что-то — и сам я знаю, что это такое, —
Влечет меня к ним, заставляет любить их, как братьев,
И мне говорит, что я их не могу ненавидеть.

(23 сентября 1851 года)

Этот парадокс характерен для добролюбовского самоощущения и поведения на протяжении всей его жизни. Только узкий круг близких друзей и единомышленников будет отзываться о критике с симпатией. В мемуарах остальных он будет запечатлен как излишне принципиальный, злобный («змея очковая», по словам Тургенева), ригористичный, сухой, бессердечный юноша. Мало кто знал, что под внешней черствой оболочкой скрывалось сердце, жаждущее любви, страстная натура — «молодой и пылкий человек», как назвал себя Добролюбов в стихотворении «В 16 лет» (31 января 1852 года). Он торопил время, заметил Чернышевский в некрологе, вероятно, держа в уме строки: «Почему мне так дорого время? / Почему так я жить тороплюсь?»

Наконец, третий важный пласт внутреннего мира юного Добролюбова, преломившегося в стихах, связан с антитезой чувства и разума:

Нет, никогда мой ум холодный
Не будет чувством побежден,
И темперамент мой природный
Ничем не будет изменен.
....
Итак, да здравствует рассудок,
Пусть мною вечно правит он!..
Мечтанья сердца — предрассудок;
Мечтатель жалок и смешон.

(19 сентября 1851 года)

Скажем сразу, что Добролюбов поторопился дать клятву. Вся его дальнейшая жизнь будет строиться на напряженном противоборстве между духом и плотью, между интуитивным и рациональным. Стихотворение 1852 года так и называется — «Дух и плоть»:

Трудно сильному слабую плоть победить!
Вздумал сделать добро иль греха избежать,
Но при этом начнет тотчас плоть восставать...
....
Счастлив, кто слабость плоти умеет крепить,
Силой духа бессилье ее победить!
(29 марта 1852 года)

Дуализм сознания — та черта, которую, по мнению советских биографов, Добролюбов очень быстро преодолел и изжил, перейдя к монизму — более «прогрессивному» представлению о единстве всех сущностей, опиравшемуся на антропологию философа Людвига Фейербаха. Возможно, на риторическом и философском уровне, закрепленном в его статьях, это действительно было так уже во второй половине 1850-х (первое упоминание о Фейербахе относится к 1855 году). Но в его бытовом поведении, интимных стихотворениях и дневниках мы видим прямо противоположное: и ранний, и «поздний» Добролюбов мучительно рефлексирует по поводу одних и тех же проблем: как примирить дух и плоть, как их гармонизировать, как обрести личное счастье и согласовать его с общественными идеалами. Это ему так и не удалось.

Размышления над оппозицией духа и плоти появляются в текстах 1852 года, видимо, не случайно: они тесно смыкаются с другим значимым мотивом лирической исповеди — сомнениями в крепости веры. Первый их симптом — в стихотворении «Как шатки мои убежденья»:

Как шатки мои убежденья!
Как мысли нетверды мои!
Как я изменяю решения
И все предприятья свои!
....
И ум мой колеблют сомнения,
И сердце смущают мечты!
Неверны мои убеждения,
И полон я весь суеты.
(26 января 1852 года)

Сомнения достигают кульминации к сентябрю 1852 года, когда в стихотворении «Мудрование тщетное», намеренно подражающем стилистике «дум» Алексея Кольцова, Добролюбов признается:

Вера колебалась,
Путался рассудок...
....
И к какой-то новой
Мысли я стремился,
Новою основой
Я руководился.
Всё узнать желал я,
Ничему не веря,
Наобум искал я
Разуменья двери...
(5 сентября 1852 года)

Что стало причиной постепенно нараставших сомнений? Ведь, по свидетельству М. Кострова, Добролюбов был «сильно набожным человеком в Нижнем»[43]. Судя по всему, процесс этот был многофакторным, и его невозможно объяснить только социальным контекстом, как было принято делать в старых биографиях критика. Более взвешенный ответ на вопрос кроется в том, какое воздействие оказало на юного Николая чтение. Добролюбов прочел почти всю русскую прозу и поэзию 1820—1840-х годов, ведущие русские журналы, статьи Белинского, в том числе его «бесцензурное» «Письмо Гоголю» (показательно, что в «Реестрах» Добролюбов критиковал многие главы гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями»). Хорошее образование, знание языков, постоянное чтение и рефлексия — всё вместе формировало в высшей степени критический, просветительский и научный склад ума, не удовлетворявшийся готовыми истинами и ищущий собственные решения «проклятых вопросов». Сходный путь чуть раньше проделал его будущий друг, тоже «библиофаг», Чернышевский, получивший образование в Петербургском университете.

Завершая разговор о стихотворной и интеллектуальной жизни Добролюбова-семинариста, позволим себе указать на одно стихотворение, в котором он спрогнозировал свою жизнь. В сентябре 1850 года Добролюбов записывает стихотворение «Сон», наверняка навеянное каким-то сновидением. Герою чудится, будто он погрузился в подземный ад, где в воде тонут тени людей:

Тонули, но всё-таки книжки из рук не пускали,
Которые крепко все тени держали в руках,
И с книжками вместе несчастные все утопали,
Навек сокрывалися все реки адской в волнах.

Эти неуклюжие вирши (сбои в ударениях, слишком грубые инверсии) могут стать метафорой всей жизни Добролюбова: ради удовлетворения тщеславия, ради служения людям, ради просвещения он не перестанет читать, редактировать и писать, даже если это приведет к его смерти.

«Ни за что не ручаюсь в моих заметках, кроме их правдивости»

Как работает мысль Добролюбова и почему она с такой интенсивностью выплескивается в дневниковых рефлексивных текстах? Лучше всего это видно на коротких записях о преосвященном Иеремии. Символично, что первый дошедший до нас дневниковый текст Добролюбова обращен не к себе, а к «Другому» — это воспоминание о приезде в 1851 году в Нижний нового архиепископа Иеремии (текст, очевидно, потом переписывался, в конце проставлена дата «1853»). Зачем молодому человеку понадобилось фиксировать это воспоминание, никак не связанное с его прямыми потребностями и интересами? Впрочем, сам Добролюбов во вступлении пояснял, что им двигало одно желание: собрать и свои впечатления, и слухи об архиепископе, чтобы понять, что на самом деле происходит, что движет владыкой, почему весь Нижний лихорадит, почему его управление вызывает недовольство. Добролюбов перечислял все сплетни, призванные истолковать непоследовательность и резкость поступков Иеремии. Первая версия странного поведения архиепископа наиболее банальна — оно объясняется его запоями, вторая сводит дело к «сребролюбию»; наконец, третья указывает на хитрого советчика, который манипулирует иерархом. Сам Добролюбов склоняется к последней версии, хотя и замечает, что «неоспоримо доказать невозможно ни одно из этих предположений»[44]. Юноша хочет самостоятельно разобраться в этом непростом случае. Примечательно, что он заканчивает вступление парадоксальной фразой, которая стала названием этой главки: «Ни за что не ручаюсь в моих заметках, кроме их правдивости». Понимать ее надо так, что Добролюбов ничего не приду-

мывает, но методично сопоставляет все слышанные версии и свои впечатления встречи с Иеремией.

Такой способ обработки сплетен и анализа фактов, кажется, напоминает алгоритм работы будущего публициста: Добролюбов, подобно современному журналисту, собирает все версии, сличает их, пытается докопаться до истины, на первых порах не занимаясь интерпретацией. Толкование будет потом — сначала нужно собрать факты. При этом крайне важна рациональность, с какой Добролюбов подходит к делу: он отказывается верить тому, что в поступках Иеремии нет никакой логики, будто это зло в чистом виде. Здесь уже видно критическое мышление, а главное — восходящая к идеям европейского Просвещения вера в постижимость и прозрачность реальности, в возможность рациональным способом обнаружить истину. Добролюбов не желает сливаться с толпой, верящей чему угодно и умножающей слухи. Он пытается мыслить самостоятельно, мыслить логически и рационально. Надо признать, что это очень современный исследовательский посыл, характерный для целой группы русских интеллектуалов, создававших во второй половине XIX века науку и журналистику на принципиально новых для России началах.

Добролюбов старался бесстрастно передавать собственные ощущения от встречи с митрополитом, которая произошла на почтовой станции, куда архиереи выехали встречать Иеремию. Оказалось, что и голос, и манера, и благообразный внешний вид преосвященного — всё произвело на юношу самое благоприятное впечатление, которое он и перенес на бумагу. Заметим, что «исследование» имеет явно мемуарно-литературный характер: Добролюбов передает облик иерарха художественно, в диалоге, имитируя его речь, в гоголевском ключе (в это время он много читал Гоголя). Далее Добролюбов передает слышанные за обедами разговоры Иеремии и его резкие шутки в адрес ректора духовной семинарии: митрополит ругал малороссов, как будто забыв, что и ректор малоросс. Для Добролюбова-психолога преосвященный — «находка»; так он резюмирует, получив известие, что Иеремию переводят в другой город.

Записи о митрополите обрываются, как обрывается и психологическое исследование. Однако зерно психологического и, что важнее, аналитического подхода к любому факту, лицу или событию уже брошено в благодатную

почву. Уже через год дневники Добролюбова будут представлять собой впечатляющую смесь сомнений в вере, страстного желания истово верить и любовных страстей, охвативших шестнадцатилетнего юношу.

Не менее важным проявлением тяги к беспристрастному исследованию разных феноменов жизни стало собирание Добролюбовым нижегородского фольклора. Еще в 1849 году он записал 152 пословицы, а к моменту отъезда в Петербург их количество составляло уже полторы тысячи[45]. Первичная цель заключалась в том, чтобы дополнить уже существующие собрания Буслаева и Снегирева пословицами, которые Добролюбов не обнаружил в книгах. Пословицы записаны в тщательно разлинованных табличных столбиках, систематизированы и напоминают графически безупречным оформлением реестры читанных Добролюбовым книг.

Параллельно Добролюбов записывает с голосов знакомых народные песни, что оказывает заметное влияние на его поэтический опыт. В 1850—1851 годах он одновременно собирал песни, внимательно читал стихотворения Кольцова и сочинил несколько текстов, интонационно и ритмически подражавших знаменитым кольцовским песням. Наконец, еще перед отъездом в Петербург Добролюбов задумал энциклопедический труд «Материалы для описания Нижегородской губернии в отношении историческом, статистическом, нравственном и умственном». Из всеобъемлющего плана этой, надо думать, многотомной книги было реализовано только начало — составлена библиография из 471 названия[46].

В это время Добролюбову было всего 15—16 лет, но уже тогда он ощущал в себе призвание будущего этнографа или академического ученого, что органично сочеталось с идеей мирского аскетизма — служения общему благу. О карьере литературного критика он тогда, разумеется, не помышлял, хотя и постоянно дотошно анализировал поэтические опыты однокурсников и даже написал нечто вроде первой критической статьи — разбор стихотворений своего приятеля Митрофана Лебедева[47].

Еще раз подчеркнем, что с юношеских лет в характере Добролюбова проявились и быстро развивались критическое мышление, рефлексивность, способность ставить всё под сомнение — черты, без которых он не мог бы состояться как влиятельный литературный критик. Недавние работы историков культуры, исследовавших проявления в России

сомнения в вере и вытекающих из него атеизма и нигилизма, показывают важность самой ситуации сомнения для развития интеллектуальной культуры и мышления, характерных для русской интеллигенции[48]. Совсем еще юный Добролюбов не только писал семинарские аттестационные рассуждения (аналог современных школьных сочинений), сохранившиеся в его домашнем архиве, но и довольно рано пробовал себя в жанре рецензии, критической статьи, в котором было модно дебютировать в предшествующем литературном поколении. Виссарион Белинский, Александр Герцен, Василий Боткин, Тимофей Грановский, Валериан Майков — вот те «люди сороковых годов», которые входили в литературу и обретали популярность именно через рецензии и критические статьи.

Первая любовь

Летом 1852 года в эмоциональной жизни Добролюбова произошли два значимых события — он испытал сильные чувства к двум людям: Феничке Щепотьевой (дочери чиновника особых поручений при нижегородском губернаторе и редактора «Нижегородских губернских ведомостей») и Ивану Максимовичу Сладкопевцеву (1825—1887), своему семинарскому преподавателю.

Семья чиновника Александра Ивановича Щепотьева некоторое время снимала комнаты в доме Добролюбовых, и шестнадцатилетний юноша имел возможность регулярно общаться с его дочерью Феней. Симпатия к двенадцатилетней девочке с «прекрасными глазами», судя по всему, возникла еще в 1850 году, постепенно росла и только в 1852-м была им осознана. По воскресеньям подростки бегали вместе в саду, играли в карты («в дурачки»), пили чай. Но очень скоро, в сентябре, Щепотьевы съехали от Добролюбовых и общение прервалось. После этого имя Фенички исчезает из дневников юноши, и о ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

Зимой 1851/52 года в жизни Добролюбова появляется Иван Максимович Сладкопевцев. Недавний выпускник Петербургской духовной академии был всего на 11 лет старше своего подопечного и преподавал в Нижегородской семинарии латынь всего год — с ноября 1851-го. Этого времени хватило, чтобы учитель поразил своего воспитанника: «Что-то особенное привлекало меня к нему, возбужда-

Lucerna pedi meo Verbum Tuum
est et lux itineri meo. Psal. CXVIII, 105.

Quis in viam se dat, necesse est, ut lux in itinere ejus eniteat. Nemo peregrinari ubilibet potest, nisi lux illum illuminet, quia qui ambulat in tenebris, nescit, quo vadat (Iohan XII, 35). Omnes vero nos peregrini et advenae in terra sumus (Hebr. XI, 13), non habemus hic stabilem civitatem, sed futuram illam inquirimus (Hebr. XIII, 14), inquirimus coelestem patriam nostram (Hebr. XI, 14), et eo cursum nostrum tendimus. Hoc iter e terra ad coelum tam longum est, quam longe coelum a terra distat. Quod peragere difficilius est, quam terra marique vagari totumque terrarum peragrare orbem. Quis vero in hoc itinere nos illuminet? Quae lux in tenebris enitescat? Quod sidus nobis, per mare vitae natantibus viam rectam

54. Nicolaus Dobroluboff.

Семинарское сочинение Добролюбова на латинском языке.
Между 1851 и 1853 гг. ОР РНБ

ло во мне более нежели просто привязанность — какое-то благоговение к нему»[49]. Сладкопевцев полностью соответствовал представлениям Добролюбова об идеальном профессоре — «брюнет, из Петербургской академии, молодой, благородный и умный»[50]. Среди педагогического состава Нижегородской семинарии таких было мало. Судя по всему, преподаватель сразу же разглядел способности тщеславного юноши и оказывал ему особое расположение — наставлял, как лучше читать по-латыни и в чем состоит искусство хорошего перевода, помогал на экзаменах, как вспоминал сам Добролюбов в письмах 1853 года, адресованных любимому педагогу.

Хотя чувства Добролюбова к Феничке и Сладкопевцеву совершенно различны по природе, словесная и риторическая форма их выражения в дневниках поразительно схожа. Добролюбов описывает свою привязанность к Сладкопевцеву, как будто речь идет о сильной платонической страсти к женщине. А любовь (или влюбленность) к Феничке также подается как страсть, но уже плотская.

«С пламенной ревностью» Добролюбов стремился познакомиться ближе со Сладкопевцевым, а когда, наконец, это свершилось, начал томиться, как робкий любовник, не решаясь беспокоить наставника. В ту же пору (в августе—сентябре) Добролюбов переживал страсть к Феничке: 2 сентября на прогулке он «страстно, с каким-то ожесточением — надо говорить правду» — поцеловал ей руку, которую она не отняла[51]. Октябрьские и ноябрьские записи отражают нарастающее томление Добролюбова. Он отмечает в дневнике: «Ревную и, следовательно, люблю, люблю глубоко, хоть и не пламенно, потому что это не в моей натуре». В той же записи от 9 ноября 1852 года видно, что рассудок Добролюбова отрезвляет его влечение: «...полюбить меня она не может, жениться на ней мне невозможно, обольстить ее не могу, насиловать в исступлении страсти... но уже это верх безумия во всех отношениях. Насильно...» И через полстраницы снова о воображаемом насилии: «Просто овладеть — хоть бы возможно было — совместно, жалко, грустно, не смею... Она возбуждает во мне такое чистое чувство! <...> А между тем я не могу, да и не хочу, противиться моему страстному увлечению и отдаюсь ее прелестям без всяких определенных намерений»[52].

Пробудившееся половое влечение и томление в дневниковой записи от 9 ноября 1852 года достигают кульминационной точки; больше мы не встретим в документах Добро-

любова упоминаний о Феничке. Через два дня, 11 ноября, ее из сердца Добролюбова, кажется, полностью вытесняет Сладкопевцев, которого переводят из Нижнего в Тамбов. От этого известия Добролюбов приходит в ужас: «Я страдаю, и еще как страдаю, тем более что мне этого нельзя ни перед кем высказывать: все станут смеяться. <...> Я теперь наделал бы черт знает что, весь мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы пальцы тому негодяю, тому мерзавцу, который подписал увольнение Ивану Максимовичу». Чувство к Сладкопевцеву описывается Добролюбовым с помощью тех же слов и фигур речи, какие обычно служат для описания любви к женщине: «Я никогда не поверял ему сердечных тайн, не имел даже надлежащей свободы в разговоре с ним, но при всём том одна мысль — быть с ним, говорить с ним — делала меня счастливым, и после свидания с ним, и особенно после вечера, проведенного с ним наедине, я долго-долго наслаждался воспоминанием и долго был под влиянием обаятельного голоса и обращения»[53].

Именно в этот момент Добролюбов напишет о себе наиболее проникновенные и проницательные слова, которые лучше суждений любых исследователей определяют сущность его натуры и могут быть названы лейтмотивом всей его короткой жизни, а вместе с тем — и нашего жизнеописания:

> «Я рожден с чрезвычайно симпатическим сердцем: слезы сострадательности чаще всех вытекали, бывало, из глаз моих. Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни было. <...> И еще считают меня за человека хладнокровного, чуть не флегматика!.. тогда как самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой холодной оболочкой всегдашнего равнодушия»[54].

Платоническая, интеллектуальная любовь Добролюбова к наставнику, конечно же, не уникальна и напоминает о распространенном в XIX столетии типе мужской привязанности, «наслаждении дружбы» — между учителем и учеником, товарищами, однокурсниками. Похожие чувства старший друг Добролюбова Чернышевский питал к своему другу и наставнику Василию Лободовскому[55]. Однако письма Добролюбова, адресованные Сладкопевцеву, риторикой поразительно напоминают любовные: они писались порциями, но не отправлялись, а были посланы значительно

позже, когда отправитель справился со своими чувствами (чтобы адресат не видел «пылающего лица моего... дрожащего моего голоса»). Добролюбов рассказывал, как долго искал случая заговорить с объектом своего интереса. Когда же это произошло, он «вдруг исполнился какого-то восторга и, кажется, чрезвычайно поглупел и растаял». Сладкопевцев очень быстро стал кумиром молодого семинариста: «Я слушал Вас, смотрел на Вас с такою искреннею и сильною любовью, Ваша радость и грусть так действовали на меня, Ваше счастье было для меня так дорого, и я так жадно хотел бы чем-нибудь ему способствовать, что поистине никакой друг не мог бы более любить своего друга»[56]. Кажется, этот тип отношений Добролюбов воплотит позже в своем пиетете к Чернышевскому, а страстность, не нашедшая отклика у Фенички, найдет себе выход через четыре года в одном петербургском доме.

«Обожествление» Сладкопевцева, помимо прочего, наводит на мысль, что юный Добролюбов нашел в учителе то, чего не мог дать ему отец, — поведенческий образец. Хотя Александр Иванович и сформировал у Николая культуру чтения и этический стержень, представления священника об идеальной для сына церковной стезе очень быстро разошлись с чаяниями юного Добролюбова. Можно предполагать, что, когда он увидел и услышал Сладкопевцева, решилась его судьба: он начал мечтать об отъезде в Петербург.

«Копи копейку»

Описанная выше картина счастливых, проведенных в достатке детства, отрочества и юности всё же не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд. Отношения Добролюбова с отцом складывались не идеально. Александр Иванович, судя по красноречивым записям сына в дневнике 1852 года, был человек рачительный, домовитый, целеустремленный и весьма честолюбивый. Когда на Новый год из усадьбы Добролюбовых сбежала корова, отец три часа спокойно и методично (лучше бы запальчиво и гневно, замечает сын) корил его за «нерадение», невнимательность к родителю, нежелание проникнуться хозяйственными делами и погруженность в чтение, а в придачу обозвал «дураком» и даже «негодяем»: «Все твои науки никуда не годятся, если не будешь уметь жить. Умей беречь деньгу, без денег ничего не сделаешь... надо уметь... приобретать их»[57].

Отец гоголевского Чичикова наставлял сына в том же духе: «Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете». Конечно, Александр Иванович Добролюбов, человек образованный и эрудированный, говорил это в сердцах, в порыве уныния и раздражения, однако между его словами о накоплении и праведными делами, которых ожидают от священника, на самом деле нет такого разрыва, который им мог бы приписать склонный к контрастам современный читатель.

Сын отмечал, что не в первый и не в последний раз слышал эти упреки. В чем здесь дело? Как совместить образ уважаемого паствой священника, преподавателя с его меркантильными призывами? Совершенно очевидно, что противоречие существует, только если мы понимаем логику жизни священника упрощенно, в виде жесткого противопоставления двух типов поведения — безукоризненной добродетельности и нарушения догм и официальной риторики.

Для лучшего понимания логики Александра Ивановича нужно иметь в виду, во-первых, его положение должника: из-за постройки нового дома он выплачивал проценты по займу и, надо полагать, постоянно думал о том, как увеличить доходы и сократить издержки. Во-вторых, Добролюбов-отец, конечно же, не был врагом просвещения и чтения, но скорее придерживался принципов «мирского аскетизма» — системы представлений, во многом определявшей повседневную жизнь всё большего числа священников середины XIX века. Мирской аскетизм предполагал неустанный труд на пользу своей семьи и общего дела, борьбу с собственной ленью, терпение и смирение в быту, подчинение эмоций разуму[58]. Александра Ивановича, очевидно, беспокоили непрактичность сына, его чрезмерная погруженность в книжный мир в ущерб конкретным практическим навыкам, которые (помимо чисто книжного знания) могла дать семинария, а главное — некоторое небрежение тем опытом, что мечтал передать ему отец.

Судя по истории с коровой и увлечению Сладкопевцевым, в начале 1850-х годов сын не тянулся к отцу в той мере, как рисовало воображение последнего. Думается, что именно из-за постепенного усиления этой холодности и скрытности в отношениях с отцом Добролюбов будет укорять себя в дневнике «Психаториум» за непочтительность к родителям, а после знакомства со Сладкопевцевым перенесет все свои симпатии на семинарского наставника, ко-

торый, таким образом, невольно примет на себя немалую часть «отцовских» функций.

Симптоматично, однако, что в 1850 году, читая русский перевод романа Жорж Санд «Грех господина Антуана», Добролюбов в конфликте между отцом и сыном принял сторону скептика, практика и крепкого фабриканта Кардонне-отца, а не его романтичного и исповедующего утопические идеи о всеобщем братстве и равенстве сына Эмиля[59].

«Психаториум»: вера и сомнение

Об интимных дневниках и их роли знакомые Добролюбова узнали рано. Однажды, когда Николай был вызван к своему любимому профессору Сладкопевцеву, он забыл в классе тетрадку, которая была обнаружена его товарищами. Добролюбов после этого целую неделю оставался дома, не ходил на уроки, а когда появился, чувствовал себя очень неудобно перед одноклассниками, которые, впрочем, словно угадывая будущую литературную силу, щадили его неловкость и авторскую щепетильность[60].

Трудно сказать, какие именно отрывки попались на глаза семинаристам, но сегодня мы уже не располагаем наиболее откровенными страницами, уничтоженными Чернышевским после смерти друга. Тем не менее несколько страниц «Психаториума» — ежедневных записей весны 1853 года — дошли до нас и считаются свидетельством беспрецедентного в текстах Добролюбова и других разночинцев препарирования собственных пороков. С 7 марта по 7 апреля Добролюбов иногда по несколько раз на день записывает мельчайшие движения души и мысли, корит и упрекает себя в лености, бездушии, апатии, бездействии, сомнении, утрате веры и еще многих других грехах.

Мало кто из его советских биографов удержался от соблазна видеть в этой исповеди яркий симптом утраты веры и нарастающий атеизм (редкое исключение — С. А. Рейсер, осторожно предположивший, что если это и свидетельство, то, напротив, отчаянного желания спасти свою веру).

На самом деле, если смотреть на «Психаториум» непредвзято и со знанием религиозных практик того времени, состояние Добролюбова объясняется гораздо проще. Это классический случай исповеди верующего человека. Более того, традиция вести дневник ежедневных самонаблюдений в европейской религиозной культуре издавна

поощрялась и считалась, особенно в масонской среде, шагом в приближении к Богу. Например, в 1771 году был опубликован «Секретный дневник наблюдателя за самим собой» знаменитого богослова, писателя и автора физиогномики Иоганна Лафатера, содержавший записи всего за один месяц, но фиксировавший мельчайшие движения души[61]. Такой дневник и такие сомнения не свидетельствуют об утрате веры, а наоборот, указывают на силу религиозного чувства[62]:

> «В эти великие часы даже возникло во мне несколько раз сомнение в важнейших истинах спасения, и при всём этом похоть плоти также не оставляла меня. Это всё было во храме Божием, и вот новый грех — презрение святыни»[63].

И так во всём «Психаториуме». Это совершенно нормальная логика верующего человека, заботящегося о чистоте веры и о спасении своей души. В том же дневнике, но чуть ниже, содержатся признания, подтверждающие, что ослабление веры и ее потеря произойдут с Добролюбовым через год, в 1854-м, когда он лишится сначала матери, а потом отца. Так, на Пасху 19 апреля он записывает: «Я не воспитал в себе чувствительность сердца, но в этот день я почему-то очень живо чувствую радость духовную, внутреннюю...»[64]

Конечно же, Добролюбов был не обычным прихожанином, который не задумываясь исполняет обряды и не вникает в колебания собственных настроений, но крайне рефлексивным и сомневающимся верующим. Нижегородские знакомые еще в конце XIX века сохраняли о нем память как «о человеке в высшей степени религиозном»: «Он строго соблюдал праздники и обряды, постился в среду и пятницу и мучился совестью, когда иногда товарищи обманом заставляли его нарушить пост. <...> В классе в начале и в конце урока полагал на себе истово крестное знамение. Перед экзаменами прикладывался к иконам в разных церквах города». Священник Сахаров рассказывал Кудринскому, как Добролюбов шел в класс: выходя из дому, останавливался и прежде всего молился на свою приходскую Никольскую церковь. Выйдя затем на Покровку, он поворачивался лицом к Покровской церкви и опять молился. Пройдя несколько шагов, крестился на видневшуюся вдали Варварскую церковь. Через несколько шагов снимал картуз пред

Благовещенским собором. Поравнявшись с Тихоновской церковью, молился на ее дальние главы. И, наконец, стоя на крыльце семинарии, поворачивался к главам кафедрального собора[65].

В семинарских сочинениях, которые сохранились в большом количестве, Добролюбов также оставался в русле догматического православия, а не выбивался за его рамки, как казалось советским исследователям. Когда он критиковал излишне рьяный клерикализм или пытался выразить в сочинении свои современные представления, например, об устройстве материального мира, преподаватели отчеркивали на полях эти мысли и советовали убрать их[66]. А. С. Митропольский даже увидел в некоторых сочинениях Добролюбова ростки материализма и атеизма[67], но на самом деле это были вполне расхожие научные представления того времени, циркулировавшие в том числе в среде духовенства, которая не целиком была столь архаичной и мракобесной, как выставлялась в советских работах. Упомянутый нами идеал секулярного аскетизма, императив социального «спасения» и исправления нравов был характерен для «авангарда» духовенства уже в 1850-е годы, и сочинения Добролюбова нужно рассматривать именно в таком контексте.

Примечательно, что параллельно с переживанием тягостных религиозных сомнений Добролюбов проявлял пристальный интерес к коллекционированию суеверий и народных поверий (собрал 380 штук!). Одновременно он выписывал важные лично ему цитаты из богословских сочинений. Характерный пример отмечен Б. Ф. Егоровым: в 1852 году Добролюбов выписал из труда «Иудейские письма», опровергающего критику Библии Вольтером, фрагмент о химических реакциях, которые, с точки зрения химиков XVIII века, подтверждали ветхозаветный рассказ о сожжении золотого тельца[68].

Зерна сомнения, постоянно дававшие всходы в душе Добролюбова, отнюдь не означали, что его переживания непременно закончатся полной утратой веры и переходом к атеизму. В интеллектуальной истории 1840-х годов, в кружках западников и петрашевцев, были самые разные случаи, когда сомнение в существовании Бога становилось доминирующей идеей и могло приводить к атеизму.

Если бы Добролюбов не остался сиротой с семерыми братьями и сестрами, возможно, его интеллектуальная траектория оказалась бы менее крутой.

Мечта об университете

В биографиях Добролюбова часто можно встретить весьма опрометчивое суждение, что его отказ продолжить образование в Санкт-Петербургской духовной академии и переход в Главный педагогический институт был шагом радикальным, идущим вразрез с рутинными практиками духовенства, ориентированного якобы на проторенные пути и преемственность карьеры. Однако еще в 1898 году Ф. А. Кудринский обнаружил в архиве Нижегородской семинарии рассылку из Петербурга. По соглашению со Святейшим синодом Главный педагогический институт, нуждаясь в абитуриентах, рассылал по провинциальным семинариям «рекламу». Их воспитанникам, чувствующим в себе педагогическое призвание, предлагалось после окончания семинарии направиться прямиком в светское учебное заведение. И многие выпускники охотно соглашались, подавая прошение на выход из духовного звания[69]. Они становились разночинцами — людьми, юридически вышедшими из одного сословия, но не вступившими в другое. Таким образом, решение Добролюбова отказаться от церковной карьеры и расстаться с духовным сословием не было экстраординарным и уникальным для 1850-х годов — напротив, оно отражало давно набиравшую силу тенденцию секуляризации духовенства и его попытки выйти за пределы сословия, чтобы осуществить по-новому понимаемое предназначение — служить обществу. Современный историк духовенства приводит массу такого рода примеров, подтвержденных статистикой: 14—29 процентов выпускников семинарий выходили из духовного звания, чтобы приложить свои силы в университетах, журналистике, земской работе[70].

Едва ли не первое упоминание мечты о светском образовании встречается в дневниковой записи, сделанной Добролюбовым 16 января 1852 года, когда он узнал, что его знакомый Н. А. В. (инициалы не расшифрованы) уехал из Нижнего поступать в университет. Впечатление от этой новости явно было усилено знакомством со Сладкопевцевым, воплощавшим для Добролюбова идеал профессора со столичным образованием. При этом молодой Добролюбов трезво оценивал свои знания, сокрушаясь, что препятствием поступлению может стать слабое владение языками — греческим и немецким. Французского в тот момент он не знал вовсе[71].

Через год, в январе 1853-го, Добролюбов — видимо, столкнувшись с сопротивлением отца, — рассуждает о том, что проще поступить в Духовную академию, так как обучение в ней обойдется на тысячу рублей серебром дешевле, чем в университете (родители, выплачивавшие долг за постройку дома, не смогли бы посылать сыну такую сумму). В итоге Александр Иванович подал прошение ректору семинарии, чтобы тот одобрил поступление его сына в Петербургскую духовную академию. Николай смирился, особенно после того, как это решение поддержал его кумир Сладкопевцев.

Мечты об интеллектуальных радостях столичной жизни захватывают воображение и тщеславие Добролюбова: «...на первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами». Посылавший стихи и статьи в журналы «Москвитянин» и «Сын отечества» (заметим, посылать в «Современник» или «Отечественные записки» ему не пришло в голову!), а также в «Нижегородские губернские ведомости», Добролюбов бредит славой: «Ныне я в своих мечтах не забываю деньги и, рассчитывая на славу, рассчитываю вместе и на барыши, хотя еще не могу отказаться от плана — употребить их опять-таки для приобретения новой славы»[72]. Эти записи свидетельствуют, что в 1853 году Добролюбов рассматривал как минимум две стези, которые могли надежно обеспечить его искомой славой: научно-академическую и литературно-журналистскую. Кудринский отмечал, что к перспективе педагогической деятельности Добролюбов в семинарии был не расположен, мечтал о карьере журналиста или профессора[73]. Похожим образом рассуждал за несколько лет до него и молодой Николай Чернышевский, приехавший из Саратова в Петербургский университет и через какое-то время начавший писать для именитого журнала «Отечественные записки».

В конце июня 1853 года, заняв по итогам экзаменов первое место среди семинаристов своего курса, Добролюбов вышел из высшего отделения Нижегородской семинарии и 4 августа выехал в Петербург[74].

Глава вторая

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ: ПРОТЕСТ, ЛИТЕРАТУРА И СТРАСТЬ

Из поповичей — в мир: Главный педагогический институт

Первое столкновение с новым пространством случилось в дороге из Нижнего в Питер. Гораздо большее впечатление, чем вид на Москву с колокольни Симонова монастыря, куда молодой провинциал забрался по 363 посчитанным ступенькам, на него произвела поездка в вагоне по недавно открытой железной дороге, соединившей старую и новую столицы. Описывая порядки на платформах и внутри вагона, его устройство, Добролюбов, в сущности, использует ту же технику «остранения» (термин, придуманный литературоведом Виктором Шкловским для описания приемов Толстого), которая знакома каждому читателю «Войны и мира» по сцене судьбоносного визита Наташи Ростовой в театр. Разница была лишь в том, что путешественник, в отличие от Толстого (да и Наташи, которая к тому моменту уже бывала в опере), совершенно искренне и наивно описывал незнакомые ему предметы и машины:

> «Я представлял себе вагон просто экипажем, хоть и особенной формы... а между тем он есть не что иное, как маленький четвероугольный домик — настоящий Ноев ковчег, — состоящий из одной большой комнаты, в которой поделаны скамейки для пассажиров. Он имеет двери с двух сторон, окошечко вверху и по бокам... В ряд садится в нем — вдоль десять, а поперек четыре человека, итого сорок человек всего... Скамьи расставлены поперек — по две в ряду — и на каждой помещается по два человека. <...> Я сидел в вагоне 3-го класса. Вагоны 2-го класса отличаются только тем, что в них ставится обыкновенно не голая деревянная скамья, а софа. В первом классе и драпировка, и кушетки, и кресла, и ломберные столы с зеленым сукном — все удобства. ...страху тут нет никакого:

впереди едет паровоз, за ним — в нашем поезде ехало восемь вагонов, мы мчались так, что я и не замечал ничего, что делается за стенами моего ковчега»[75].

Успокаивая волнующихся за сына религиозных родителей, Добролюбов объясняет им (и заодно и современному читателю), что паровоз и вагон не так дьявольски страшны, как позднее будет их расписывать странница Феклуша в «Грозе» Островского, о которой критик напишет знаменитую статью. Мышление семинариста подсказывает ему ближайшие метафоры: вагон уподобляется Ноеву ковчегу (возвышенное и книжное знакомое понятие) и простому «домику» (бытовое знакомое понятие). С присущей ему рациональностью Добролюбов работает с новыми феноменами. Эта открытость мышления видна уже здесь и дальше будет проявляться всё чаще и чаще в его поведении и текстах.

Добравшись до Петербурга и поселившись в одной из комнаток «за Обводным каналом», Добролюбов случайно разговорился с живущим там же Александром Чистяковым, студентом филологического отделения Главного педагогического института, который за год до этого провалился на экзаменах в Духовную академию. Здесь-то студент и посоветовал Добролюбову не упустить случай — проэкзаменоваться еще и в институте, где 17 августа должны были начаться испытания. Естественно, что прежние мечты о светском высшем учебном заведении с новой силой захватили Добролюбова. Но если в Нижнем он смирял себя и, покоряясь воле родителей, согласился поступать в Духовную академию, отрешившись от честолюбивых мыслей об университете, то в Петербурге это смирение снова дало о себе знать. 10 августа 1853 года в обстоятельном, но взволнованном письме родителям, напуганный риском лишиться их благословения, Добролюбов характеризует возникшую перед ним жизненную развилку так, чтобы время работало на него: расписывая все выгоды учебы в педагогическом институте по сравнению с Духовной академией, он умоляет родителей как можно быстрее прислать ему ответ с благословением или запретом, который решит его участь. В душе он, конечно же, молился, чтобы письмо из Нижнего опоздало. Так и случилось.

Если верить следующей депеше родителям, их ответ пришел вечером 21 августа, а утром того же дня Добролюбов, успешно пройдя все испытания, стал студентом

Его Превосходительству
Господину Директору Главного Педагогического Института
Ивану Ивановичу Давыдову

Ученика Высшаго Отделения Нижегородской Духовной Семинарии Николая Добролюбова
покорнейшее прошение

Желая продолжать свое образование в Главном Педагогическом Институте, покорнейше прошу допустить меня к приемному испытанию.
Документы мои: метрическое свидетельство и аттестат — будут представлены в непродолжительном времени. К сему прошению — ученик Высшаго Отделения Нижегородской Духовной Семинарии Николай Добролюбов руку приложил.

Августа 1853 г.

Заявление Добролюбова о приеме
в Главный педагогический институт.
14 августа 1853 г.

Главного педагогического института. Это принесло новые душевные мучения: благословение не было получено, и в следующем письме Александру Ивановичу и Зинаиде Васильевне сын умоляет благословить его, чтобы он не считал себя ослушником, нарушившим родительскую волю. К счастью, ободряющий ответ пришел быстро: в письме от 30 августа отец и мать полностью поддержали выбор сына и благословляли его «вступить на новое поприще, веруя вполне, что это совершилось по каким-то особенным, для нас непостижимым, но всегда премудрым и всеблагим действиям Божьего Промысла». В полном соответствии с идеей общественного служения отец уверял сына, что «во всяком звании, при хороших способностях, а паче всего, при отличном, безукоризненном поведении, можно быть вполне полезным — науке, Церкви и Отечеству». Более того, через некоторое время Александр Иванович передал сыну полное благословение нижегородского архиепископа, который не только не гневался, но и называл институт «местом высоким»[76].

Добролюбов с воодушевлением занялся сбором необходимых бумаг: нужно было обратиться в Духовную академию, чтобы вытребовать пришедшие туда семинарские документы. Уже 18 сентября обер-прокурор Синода Николай Александрович Протасов сообщил нижегородскому архиерею Иеремии об увольнении Добролюбова из духовного звания, однако оформление бумаг растянулось до ноября[77]. Родители поддерживали Николая и морально, и материально, регулярно высылая деньги и давая в письмах советы. Отец постоянно напоминал, чтобы сын не писал «много и ко многим»[78], ибо нужно экономить время для полезных занятий. Мать жаловалась, что скучает по сыну («Я согласна была бы ехать к тебе на самой плохой тележеньке»), упрекала его за редкие письма, сообщала, что часто сидит «на его месте и мечтает о нем», «воображает его в мундире и думает, как он должен быть хорош в нем»[79].

Добролюбов меж тем погрузился в учебу. При зачислении он обязался к Рождеству выучить и сдать французский язык, который не изучался в семинарии, но входил в обязательную институтскую программу. В педагогическом институте этому языку его обучал француз, не знавший ни слова по-русски, отчего на первых порах ученик ничего не понимал и постоянно выходила путаница[80]. Однокурсник Александр Радонежский потом вспоминал, что Добролюбову приходилось самостоятельно продвигаться в изучении

языка и делать это по популярнейшему роману-фельетону Эжена Сю «Парижские тайны»[81]. Шлейф плохого знания современных европейских языков (в отличие от отменного знания латыни, греческого и старославянского) тянулся за Добролюбовым долго — как минимум до самого выпуска. Подтверждением тому служат не только отметки (по французскому он имел низший балл — 3,5), но и самооценка в письмах и дневниках. Так, 25 апреля 1856 года Добролюбов писал сестре Антонине о намерении летом серьезно заняться языками, чтобы довести владение ими до приемлемого уровня: «Французский я знаю теперь так, что понимаю всякую книгу и всякий разговор и, немного побыв с французами, легко приучусь говорить; но немецкий еще я знаю мало, так что и книги читаю только с лексиконом»[82]. Несвободное владение иностранными языками — «родимое пятно» большинства семинаристов и причина их психологических комплексов[83]. Ими страдал не только Добролюбов, но и его старший друг Чернышевский, который учил языки по книгам (Евангелию, романам) и, когда очутился в 1859 году в Лондоне, направляясь к Герцену, поражал прохожих тем, что издавал какие-то нелепые звуки вместо английских слов. На самом деле он неплохо знал язык и свободно читал на нем, но произносил слова так, как они пишутся.

Институтский распорядок дня на четыре года определил жизнь Добролюбова и установил ритм, которому ему приходилось следовать, даже если хотелось иначе. Воспитанники жили прямо в учебном заведении, находившемся на Васильевском острове, вместе с Петербургским университетом (дворец, где некогда помещались Двенадцать коллегий, и поныне является одним из корпусов университета), и подчинялись строгому распорядку, поэтому, например, засидеться за книгой до двух-трех часов ночи было невозможно: в десять вечера сторож гасил свет. Читать и заниматься приходилось в отведенные для этого часы, во время лекций и на каникулах. В письмах родителям, а потом другим родственникам Добролюбов постоянно жаловался на дефицит времени для внеучебного чтения и работы. Вот как выглядел его день:

> «В шесть часов раздается пронзительный звонок, и я встаю. Одевшись и умывшись, иду в камеру и принимаюсь за дело — до половины девятого. В это время дается обыкновенно булка и кружка молока — сырого или вареного; я беру обыкновенно сырое. Пред завтраком читаются утренние молитвы, дневные — апостол и евангелие.

Потом в девять часов начинаются лекции, каждая по полтора часа. В двенадцать часов приносят оловянное блюдо, нагруженное ломтями черного хлеба: это еще завтрак или полдник. Потом опять лекции продолжаются до трех часов. До обеда обыкновенно бывает четыре лекции. В три часа обед, на котором бывает три блюда, а после обеда до четырех с половиной мы можем и даже почти должны гулять по городу. В половине четвертого еще лекция — до шести часов. В шесть часов пьем чай — свой, а не казенный. В восемь с половиной ужин из двух кушаний. В десять спать отправляемся»[84].

В последний 1856/57 учебный год, особенно в первую его половину, судя по дневнику, Добролюбов часто нарушал распорядок, пропуская лекции и иногда поздно возвращаясь из города. Однако успеваемость будущего критика была отличная (средний годовой балл колебался около 4,8—4,9 по пятибалльной шкале), и он все годы числился в ряду лучших на своем курсе[85].

Конечно же, Добролюбов продолжал много читать. На смену «Реестрам...» приходит составление библиографии всех русских литераторов (писателей, историков, критиков, этнографов и т. д.), представляющей собой «личные дела» всех авторов с указанием перечня их сочинений и отметками о прочтении. Сохранилось более шестидесяти листов таких перечней за 1854—1855 годы, куда входят почти все русские прозаики, поэты и драматурги первой половины XIX века. Вот далеко не полный список авторов, большая часть сочинений которых была прочитана Добролюбовым: Фонвизин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Григорович, Белинский, Некрасов, Загоскин, Булгарин, Кукольник, Сенковский, не говоря уже о второстепенных и ныне забытых Подолинском, Коровкине, Шаховском, Менцове, Ушакове, Фурмане и многих других[86].

Как и в семинарии, молодой студент очень быстро выбрал себе наставника, к которому испытывал не только научный пиетет, но и человеческую симпатию и даже привязанность. Им стал Измаил Иванович Срезневский — крупный лингвист и историк древнерусской словесности, академик и профессор Петербургского университета. Взаимный интерес профессора и студента очень быстро вылился в совместную научную работу: Добролюбов принес наставнику собранные в Нижнем этнографические и лингвистические материалы, ожидая рекомендаций.

Срезневский одобрил направление исследований и посоветовал провести сравнительное сопоставление собранных пословиц с уже напечатанными[87]. Не доведя до конца эту работу (выход сборника пословиц Ф. И. Буслаева изменил первоначальный замысел), Добролюбов берется за более серьезный труд — статью «О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах», которая перерастет в статью «Замечания о слоге и мерности народного языка». Обе эти работы написаны в русле подхода к изучению поэтики фольклорного языка, изложенного в работе Срезневского «Мысли об истории русского языка» (1850). Однако Добролюбову удалось сделать небольшое открытие: как утверждают фольклористы, он едва ли не впервые описал яркий прием народной поэзии — «ступенчатое сужение образа» («сначала высказывается общее понятие, а потом берутся частности, например: в зеленом саду, в вишенье, орешенье»).

Срезневский всё больше вовлекал талантливого студента в исследования. В 1856 году под его руководством Добролюбов подготовил рецензию на книгу о жизни Франтишека Челяковского, чешского поэта и филолога, которую Срезневский опубликовал в «Известиях Императорской академии наук». Хотя короткая заметка не была подписана, тем не менее студенту должен был льстить факт публикации, свидетельствовавший, что его мечты об академической карьере постепенно претворяются в жизнь. Для выпускной работы научный руководитель предложил Добролюбову исследовать древнеславянский перевод византийской хроники Георгия Амартола. Студент с энтузиазмом засел в Публичной библиотеке за рукописи и издания, так что его дневники 1857 года пестрят упоминаниями о кропотливой работе, перемежавшимися с известиями о немногочисленных развлечениях. В целом Добролюбов явно тяготился чисто филологическим и текстологическим характером исследования (Срезневский заставил его сличать три редакции хроники). Примечательно, что научный руководитель не только высоко оценил добросовестный труд, который был отмечен в числе лучших на выпускном акте, но и воспользовался его результатами в своей статье 1867 года «Русская редакция хроники Георгия Амартола»[88].

Значение Срезневского в жизни Добролюбова отчасти похоже на ту роль, какую тридцатью годами ранее играл профессор Московского университета Николай Надеждин в судьбе будущего критика Виссариона Белинского. Надеж-

дин не только привечал талантливого студента и, уезжая за границу, поселил его в своей квартире, но и, когда Белинского выгнали из университета, дал ему работу в газете «Молва». В отличие от Надеждина, который был еще и критиком-издателем, у Срезневского была лишь одна ипостась — академического ученого, что, видимо, и стало одной из причин, по которой Добролюбов не продолжил с ним сотрудничество после окончания института. В дневниковой записи от 7 января 1857 года он уже называл наставника «странным человеком», потому что тот «всё еще отвергает значение Белинского в истории русского просвещения»[89]. В это время умом Добролюбова владел уже не только Белинский, но и Чернышевский, предложивший ему гораздо более перспективную работу в журналистике. Так происходила переориентация студента с научной стези на журнально-публицистическую. Несмотря на это, его первые статьи написаны в духе академических, историко-библиографических сочинений середины XIX века; но, как мы увидим далее, он быстро отошел от этой манеры.

Скорбь и ожесточение

Восьмого марта 1854 года при тяжелых родах умерла Зинаида Васильевна. Через пять месяцев от холеры внезапно скончался Александр Иванович.

Между двумя этими событиями пролегает «черная» зона добролюбовской биографии: только по нескольким сохранившимся документам мы можем отчасти реконструировать, как он пережил катастрофические уходы, как находил силы для продолжения учебы и подбора слов в письмах родным. Но самое важное — понять, как в сознании и мировоззрении Добролюбова буквально за полгода произошел судьбоносный перелом, превративший верующего человека в «ожесточенного» и отрицающего «воскресение из мертвых».

Добролюбов уехал в Питер верующим, хотя и зараженным сомнением в том, насколько крепка его вера. Смерть матери была воспринята им как испытание, посланное Господом. «Кто знает, — писал он отцу, еще не ведая, что всё кончено, — может быть, это устроено для утверждения меня в вере»[90]. Александр Иванович решил смягчить удар и не стал сразу сообщать сыну о смерти матери, оттянув страшную весть до следующего письма (почта из Нижне-

го в Питер шла около недели). Только 20 марта узнал Добролюбов горестную новость. В письме (оно до сих пор не опубликовано) отец рассказал, что все усилия докторов оказались тщетны — Зинаида Васильевна «в совершенной памяти, чистом и светлом уме» призвала его «к пылающей от огневицы груди» и, попросив передать сыну материнское благословение «жить счастливо и долго», «уснула сном праведницы». В каждом письме Александр Иванович просил Николая «не предаваться сильной скорби», «быть равнодушнее», не впадать в грех уныния и принимать случившееся как Промысел Божий[91].

За две недели, прошедшие с получения письма о тяжелых родах и кризисном состоянии матери, Добролюбов успел многое передумать, много молился, многое переосмыслил. В итоге тяжесть утраты, как верно рассчитал отец, была немного смягчена, в чем сын и признался[92]. Ощущение испытания веры посетило Добролюбова отнюдь не случайно — он и до этого, как мы помним, корил себя за ослабление религиозного чувства, за апатию и лень, внутреннюю опустошенность. Но в те мартовские дни фоном траурных событий в семье Добролюбовых была другая мистерия — Великий пост и ожидание Пасхи, которая приходилась на 11 апреля. Еще и поэтому Добролюбов вводит в письма отцу молитвы, частично цитируя «Символ веры», взывая к Богу и пытаясь хотя бы силой молитвенного слова переломить ситуацию и укрепить свою веру:

> «Но я верю, что сильно это орудие, я твердо верую, Господи, что Ты слышишь вопли моего сердца — и не только моего, — Ты слышишь молитвы, совершаемые пред алтарем Твоим. <...> Верую, верую, верую, твердо и крепко, с любовью и молитвой...»[93]

Та же идея пронизывает небольшой сохранившийся фрагмент дневника 1854 года:

> «Явись мне, утешь меня... Дай мне веру, надежду. С надеждою можно жить в мире... Неужели же расстояние между нами так непроходимо, что и материнское сердце не услышит мольбы страдающего сына?.. <...> Но зачем же эта страшная тоска, эта грусть, эти сомнения... Мать моя... Верю, что Ты любишь меня. Вразуми, научи беспомощного!.. Заставь меня верить и утешаться будущим!.. Мое положение так горько, так страшно, так отчаянно, что теперь ничто на земле не утешит меня»[94].

Вера оказывается той соломинкой, за которую хватается теряющий под ногами почву Добролюбов. Было, однако, еще одно средство, к которому он прибегал, чтобы утешиться, — поэзия. В ожидании отцовских писем о состоянии матери он читал стихи Василия Жуковского. Его поэзия «еще больше подействовала» на «горесть» Добролюбова: он проецировал на себя элегические сюжеты о вечной разлуке влюбленных и со слезами повторял:

С каким бы торжеством я встретил мой конец,
Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем
Я мог — о сладкий сон! — той счастье искупить,
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить...

В этом послании «К Филалету» (1808) сюжет предсказуемо печален: герою не дано соединиться на земле с возлюбленной; что бы он ни предпринял, земное счастье невозможно и впереди только прах и забвение. Такое послание, варьирующее сюжет об обреченном на горести и ждущем смерти младом певце, звучало для Добролюбова пронзительно, как, наверное, никогда более в его последующей биографии и особенно деятельности его как критика, который будет распекать лирическую и уж тем более элегическую поэзию за чуждость народным интересам. Через несколько дней, уже получив письмо отца с ужасной вестью, Добролюбов снова читает Жуковского. И тогда на первый план выдвигается уже не скорбное послание, а оптимистическая баллада — «Светлана»:

Лучший друг нам в жизни сей —
Вера в провиденье.
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон,
Счастье — пробужденье.

Добролюбов подчеркнул в письме последние строки, потому что, как далее он пишет, «они (отец и сын. — *А. В.*) пробудятся от этого несчастья», чтобы познать радость, посланную с небес гением маменьки-хранительницы. Оптимистическая «Светлана», кончающаяся пробуждением героини от жуткого сна, осмысляется здесь как чаемая модель для всей семьи, скорбящей по ушедшей матери.

Под рукой у Добролюбова были книги, рядом с ним — однокурсники. Несмотря на застенчивость и скрытность, в первый год он довольно коротко сошелся с несколькими

студентами, многие из которых до конца его жизни оставались близкими единомышленниками и приятелями — им он не стеснялся поверять секреты и тайны. В институтские годы таким был сын сельского священника Дмитрий Федорович Щеглов (1832—1902), с которым Добролюбов уже через два года разошелся, отчасти из-за несовпадения темпераментов, отчасти из-за различия политических взглядов. Но в 1854 году именно Щеглов нашел правильные слова, чтобы облегчить душу приятелю. Дело в том, что, судя по всему, Щеглов гораздо раньше Добролюбова потерял веру и стал до крайности рациональным в поведении и радикальным в воззрениях. Описывая в письме отцу благотворную роль, сыгранную в тот момент Щегловым, Добролюбов сообщает, что Дмитрий «попадает иногда на ложный путь», то есть уже освободился от традиционных взглядов и стал сторонником рациональной позитивистской идеологии. Позже Щеглов прославится тем, что напишет краткую критическую историю социалистических учений («История социальных систем», 1870), а еще позже (ирония судьбы) окажется гонителем нигилизма и крупным чиновником — действительным статским советником, директором гимназий в Одессе и Новочеркасске[95].

Щеглов прежде всего вызвал Добролюбова на откровенный разговор; часами блуждая с другом по набережным Невы, дал ему выплакаться и только потом приступил к врачеванию души теми методами, какие считал наиболее действенными. «Он не говорил мне ни о тленности земного, ни о непреложном законе судьбы и т. п. Он говорит мне: "Со смертью матери ты стал играть значительную роль в семействе; теперь ты один можешь больше всего поддерживать своего отца, который так много нужен всему семейству. Ты должен также наблюдать издали и за своими сестрами, за домашним устройством"...»[96]. Эта тактика утешения была диаметрально противоположна «поэзии утраты» Жуковского, с его верой в Провидение, высшие силы. В основе идей Щеглова лежало, по сути, атеистическое самостояние человека, простая и крайне популярная тогда «антропологическая» идея философа Людвига Фейербаха, что человек должен во всём полагаться только на самого себя и себе подобных, а не на Бога, которого человечество выдумало для того, чтобы снять с себя ответственность. Человек должен мужественно и рационально заботиться о себе и близких, не надеясь на высшие силы, и тогда удастся построить жизнь на новых, более крепких основаниях.

Именно тогда Добролюбов впервые стал задумываться о том, как он может, будучи студентом, помогать отцу и братьям с сестрами — например, экономя на одежде и развлечениях, сократить сумму, присылавшуюся из дому. Помочь выйти из скорбного бесчувствия ему помогли не только участие Щеглова и время, но и повседневные студенческие обязанности: на носу были летние экзамены, а усиленную подготовку к ним студент Добролюбов начал еще в апреле. Работа заглушала боль, мобилизовала все внутренние силы, «пробудила энергию», подняла «из постоянной холодной апатии», так что сессию он сдал прекрасно. Тем не менее глубоко внутри, по признанию самого Добролюбова, произошел необратимый перелом, который привел к отмиранию каких-то важных чувств и представлений. «Я редко могу молиться, я слишком ожесточен», — писал он двоюродному брату Михаилу Благообразову еще в апреле[97]. Слово «ожесточен» пока только единожды промелькнуло в его переписке, но после смерти отца оно станет едва ли не ключевым в описании самоощущений Добролюбова. Интересно отметить, что в том же послании он утверждал, что за этим письмом он едва ли не впервые плакал. Это была неправда, поскольку он уже описывал отцу свои рыдания при разговорах с Щегловым.

Сдав экзамены, Добролюбов к середине июля прибыл в Нижний, где страстно желал наговориться и наплакаться с отцом и родными, а главное — побыть на могиле матери. Встреча была пронзительно элегичной, в духе Жуковского (описана в письме Щеглову):

> «Отец выбежал встречать меня на крыльцо. Мы обнялись и заплакали оба, ни слова еще не сказавши друг другу... "Не плачь, друг мой", — это были первые слова, которые я услышал от отца после годовой разлуки... Грустное свиданье, не правда ли?»[98]

Гораздо позже, в 1858 году, Добролюбов писал дяде, потерявшему жену:

> «Скажу, что и Вы в этом случае счастливее меня и моего отца. Вы безмятежно верите в райское успокоение, в свидание за гробом. Мой отец сомневался в этом; горькое колебание его замечено было мной в последний мой приезд в Нижний пред его смертью. Обо мне уж и нечего и говорить: не только себе, но и другим не могу я дать загробных утешений, а потому молчу о них»[99].

Возможно, мы имеем дело с ретроспективным осмыслением ситуации и характерным «вчитыванием» задним числом, поскольку это единственное свидетельство о сомнениях Александра Ивановича, скорее всего нахлынувших на него в минуту уныния.

Едва душевная рана начала заживать, как на семейство Добролюбовых обрушился новый удар, от которого братья и сестры так никогда и не смогли оправиться. 6 августа умер отец.

Холера уносила тогда целые семьи, особенно неблагополучные и бедные, но касалась и обеспеченных. Однокурсник Добролюбова Александр Радонежский еще в марте рассказывал ему, как в Рыбинске, на Ярославщине, в 1853 году «он лишился на одной неделе матери, бабушки, зятя и еще двух родственников»[100].

Подробных рассказов о смерти отца не сохранилось. До нас дошло только письмо Добролюбова Щеглову от 9 августа. Его рефрен — «ожесточение»: «судьба жестоко испытывает» и «ожесточает против всего». Даже похороны вызывают у петербургского студента приступ гнева:

> «Вчера на похоронах я был страшно зол. Не выронил ни одной слезы, но разругал дьяконов, которые хохотали, неся гроб моего отца; разругал моего бывшего профессора, который сказал пренелепую речь, уверяя в ней, что Бог знает, что делает, что он любит сирот»[101].

Добролюбов примеряет на себя роль Иова, который принимает испытание, посланное Богом, — но, в отличие от библейского персонажа, не смиренно, а протестуя, гневно вопрошая: «За что?» Ответа он не находит, традиционная в таких случаях церковная риторика не срабатывает — Добролюбов буквально в одночасье переживает крушение старых представлений о мире. «Ты читал не повесть, а трагедию», — резюмирует он в письме Щеглову.

После того как опустился занавес этой драмы, Добролюбов «закрывается» от родственников, пишет изредка, как бы нехотя, постоянно ссылаясь на занятость, недосуг. Чернышевский в комментарии к изданной им переписке друга предложил убедительное тому объяснение: «Ему было тяжело писать родным: его понятия стали не такими, какие сохранялись у них, стремления его были чужды им; и переноситься мыслями в их понятия, в их интересы было и трудно, и неприятно ему. <...> Жить для матери, по смерти

матери жить для отца, по смерти отца жить для сестер — он хотел, и этой своей воле он оставался верен до самой смерти; но жить их жизнью он перестал еще до отъезда в Петербург, и беседовать с ними становилось для него всё затруднительнее и затруднительнее»[102].

Эту тонкую характеристику психологического состояния, вероятно, пережитого и самим Чернышевским, так же рано потерявшим мать, покинувшим родной дом и сокращавшим переписку с родными, тем не менее следует немного скорректировать. Нельзя сказать, что Добролюбов чувствовал полное отчуждение от родных. После смерти отца количество его писем в Нижний и в самом деле резко сокращается, он почти перестает писать тетушкам, особенно Варваре Васильевне Колосовской, с которой возникает даже небольшой конфликт: она считает, что питерский студент зазнался и уже вряд ли приедет к родне в Нижний. Но письма более близкой тетушке Фавсте Васильевне Благообразовой и особенно ее сыну Михаилу содержат важнейшие и, собственно, единственные откровенные признания Добролюбова конца 1854-го — начала 1855 года, на которые можно хотя бы как-то опереться, чтобы понять его состояние.

В апреле 1855 года, накануне Пасхи, Добролюбов сообщал Варваре Васильевне и ее мужу:

> «Я предаюсь своим чувствам и забываю, что *у вас* будет праздник, когда вы получите мое письмо... Нет для меня праздника, нет для меня воскресения мертвых, — и холодно, без сердечного чувства поздравляю я вас с наступающим праздником. Желаю вам провести его весело... Не желайте мне того же»[103].

Можно представить себе впечатление набожных нижегородских родственников, получивших такое послание, отрицающее «Символ веры», да еще и в таком провокационном тоне. Надо думать, что именно с этих писем весны 1855 года началось постепенное охлаждение отношений с Колосовскими, закончившееся приостановкой переписки в 1857-м почти на три года. Более откровенные отношения Добролюбов сохранял в 1855 году лишь с двоюродным братом Михаилом Благообразовым, нижегородским чиновником, которому петербургский студент писал даже о том, что не боится умереть и редко переживает минуты, когда бы ему было жаль расстаться с жизнью[104].

Это — немногочисленные прямые свидетельства уже не просто сомнения в справедливости Божьего Промысла, но отрицания своей веры. Их дополняют косвенные данные. В начале марта 1855 года умерла маленькая сестра Добролюбова Юленька, смерть которой стала, по его словам, последней каплей, которая переполнила чашу горьких страданий[105]. А еще раньше, в декабре 1854-го, Добролюбов написал первое остросатирическое стихотворение «На 50-летний юбилей его превосходительства Николая Ивановича Греча», которое было послано юбиляру (известному журналисту, писателю и педагогу) и в редакции газет. Стихи разошлись по городу, «их хвалили профессора» педагогического института, поначалу не подозревая, кто автор[106]. Эта политическая акция доставила Добролюбову много хлопот: когда в начале 1855 года его авторство вскрылось (проболтался кто-то из студентов), директор института Иван Иванович Давыдов допрашивал Добролюбова, был проведен обыск, осматривались его личные вещи и бумаги, были отобраны запрещенные издания Герцена. Сатирическая, политическая поэзия, несомненно, берет исток в «ожесточении» и остром ощущении несправедливости мироустройства, которое охватило Добролюбова после смерти отца и вытеснило спокойствие и лояльность, свойственные ему в первый год обучения.

Таким образом, всё указывает на то, что в 1855 году Добролюбов окончательно потерял веру, но первое дошедшее до нас признание в этом датируется только концом года — 18 декабря. Вот эта красноречивая дневниковая запись, к которой мы еще будем возвращаться:

> «Меня постигло страшное несчастье — смерть отца и матери, — но оно убедило меня окончательно в правоте моего дела, в несуществовании тех призраков, которые состроило себе восточное воображение и которые навязывают нам насильно, вопреки здравому смыслу. Оно ожесточило меня против той таинственной силы, которую у нас смеют называть благою и милосердною, не обращая внимания на зло, рассеянное в мире, на жестокие удары, которые направляются этой силой на самих же хвалителей!»[107]

Здесь мы сталкиваемся сразу с несколькими характерными словами-сигналами, ведущими внимательного биографа к тем книгам и теориям, с которыми Добролюбов познакомился во время учебы в педагогическом институте

или узнал о них от однокурсников. Фраза о призраках воображения явно отсылает к антропологическому учению Людвига Фейербаха. Именно во второй половине 1855 года Добролюбов впервые познакомился с работами немецкого философа воочию, а не понаслышке, и начал переводить два его трактата — «Мысли о смерти и бессмертии» и «Сущность христианства»[108]. В дневниковой записи от 17 января 1857 года Добролюбов вспоминал, что в 1853-м и 1854-м, «еще ничего не читавший», он «уверился в естественности христианства, особенно после смерти отца»[109]. К тому времени он уже прочел и обсудил с друзьями письмо Белинского Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», поэтому можно предполагать, что на утрату веры влияла не публицистика Белинского, а более радикальные книги Фейербаха, прочитанные ближе к концу 1855 года.

Переводы из Фейербаха остались незаконченными — из обоих трактатов Добролюбов перевел только первые абзацы. Однако сам факт работы над ними чрезвычайно важен. Он свидетельствует, что Добролюбов познакомился с учением Фейербаха еще до общения с Чернышевским — в университетском кружке, где крайне интересовались новейшими материалистическими течениями Германии и Франции, добывали запрещенную литературу. Можно предположить, что замысел перевода возник у Добролюбова именно в связи с кружковыми потребностями в распространении важных идей. Борис Сциборский, ближайший его друг, вспоминал:

> «Каких трудов, например, стоило достать хоть сколько-нибудь порядочную книжку. Теперь, может быть, каждый из нас имеет под руками то, что прежде доставалось с громадными трудностями, с страшным риском. И теперь мы не можем похвалиться свободою выбора книг, — но что прежде было, особенно в четырех стенах института, — это и представить себе трудно. Н. Ал., имевший в то время несколько порядочных знакомств, оказал нам в этом случае значительную услугу. Полученная книга с жадностию и с наперед заготовленным доверием к ней прочитывалась в кружке и была предметом очень серьезных толков, пока наконец факты, заимствованные из нее, не проходили чрез критику читателей. Если же эта книга была на одном из иностранных языков, то, смотря по достоинству ее, иногда общими силами переводилась буквально вся и после прочитывалась в кружке, иногда же читалась для всех, не владевших этими языками, вслух по-русски, а часто один кто-нибудь брался за прочтение всей и перевод

замечательнейших мест и потом в кружке подробно излагал содержание ее и прочитывал переведенные отрывки... Н. Ал. в этом случае был одним из ревностнейших и трудолюбивейших деятелей. Я думаю, в его бумагах и теперь можно было бы найти следы этих трудов»[110].

Показателен и выбор книг. Трактат «Мысли о смерти и бессмертии» (1830) был опубликован Фейербахом в самом начале пути и стоил ему карьеры: критика христианского догмата о бессмертии души вызвала скандал. Добролюбов же, напротив, нуждался в такой постановке вопроса, поскольку искал теоретической опоры своим ощущениям и сомнениям. Фейербах утверждал в этой книге, что вера в бессмертие души, культивируемая христианством, мешает человеку жить полноценно. Осознание человеком своей конечности и смертности (поскольку человек лишь часть единого мира природы) является предпосылкой полнокровно проживаемой жизни. Отталкиваясь от гедонистической философии, поклонником которой он был, Фейербах призывал переосмыслить христианское представление о высшей ценности небесной жизни и перенести акцент на жизнь «здешнюю», земную, в центре которой стоит сам человек во всех его чувственных и телесных проявлениях[111]. Неудивительно, что не только Добролюбов, остро переживавший в 1855 году сомнение в вере, но и другие студенты могли найти в дебютной книге философа лекарство от сомнений. Борис Сциборский вспоминал, что «вопрос о верованиях бурно обсуждался в кружке лишь в начальной стадии его существования»[112], то есть к 1856 году был уже решен.

Отрицание бессмертия души стало фундаментом более масштабной критики религии в самой известной книге Фейербаха «Сущность христианства» (1841), которая также сильно повлияла на Добролюбова. Основная идея ее заключалась в простой мысли, что тайна теологии и религии есть не что иное, как антропология. Человек больше не должен искать Бога где-то вовне, он должен полюбить его в себе, что означает полюбить себя («истинно совершенно и божественно то, что существует ради самого себя»). Фейербах настаивал, что каждый человек заключает в себе божественное начало, каждый человек — божественная личность. Она должна быть наконец-то реабилитирована — во всей полноте своих проявлений, как плотских, так и духовных, между которыми не должно быть искусственного противопоставления, насаждаемого христианством («не нужно бояться своего тела»). Таким образом, вера в Бога тракто-

валась Фейербахом как вера человека в бесконечность и истинность своего собственного существа, понятого как единство материального и духовного[113]. Судя по постоянным ссылкам на «антропологизм», единство человеческой натуры и личности, Добролюбов в целом усвоил основные понятия Фейербаха. Например, важнейшая категория «натуры» в его знаменитых статьях 1859—1860 годов, скорее всего, напрямую восходит к очень частому в книге Фейербаха понятию *Natur* (или *Wesen*) — природа, сущность.

Однако мы не найдем в текстах Добролюбова какого-то системного изложения теории Фейербаха или приложения ее к литературе либо эстетике. Это характерно для многих русских критиков и философов, которые хотя и объявляли себя последователями какого-нибудь европейского мыслителя, но на практике часто следовали ему крайне поверхностно[114]. Тем не менее и по выходе из института Добролюбов продолжил пропагандировать работы немецкого философа среди своих приятелей. В 1857 году книги Фейербаха были посланы однокашнику Александру Златовратскому, а в декабре 1858-го другой однокурсник, Иван Бордюгов, возвращал с сопроводительным письмом «три книги Фейербаха, шубу и две книги Прудона»[115].

Логично предположить, что описанный мировоззренческий сдвиг должен был отразиться и в стихотворениях Добролюбова 1854—1855 годов. Однако текстов 1854 года не сохранилось (возможно, они были изъяты при первом институтском обыске или уничтожены самим Добролюбовым), а из текстов 1855 года до нас дошла, да и то в списках, в основном его сатирическо-политическая лирика. Только в 1856-м Добролюбов пишет важное автобиографическое стихотворение «Благодетель» — аллегорию своего интеллектуального пути. Комментаторы собрания сочинений ошибочно полагали, что текст связан с памятью об отце и его влиянии на сына. На самом же деле текст однозначно указывает на подразумеваемую под «благодетелем» и легко угадываемую фигуру Бога[116]. Это история о выходе самого автора из-под его опеки, обретения самостоятельности и собственного голоса. Ключевая коллизия заключается в том, что благодетель, опекающий героя, невидим:

Был у меня незримый покровитель.
Всю жизнь мою его я не видал;
Но с детства убедил меня учитель,
Что он учиться мне незримо помогал[117].

Герой знал, что «должен... ему молиться каждый день», и молился, и соблюдал все необходимые предписания, хотя втайне жаждал познать и увидеть таинственного хранителя. Когда же наступает период страданий и испытаний, герой надеется на помощь и поддержку благодетеля:

Но он не шел... Когда же сердца раны
От времени уж стали заживать,
Сказали мне, что горестью нежданной
Хранитель мой хотел меня лишь испытать,
Что должен я к нему с любовью обратиться,
И счастье вновь в награду даст мне он.
Я сделал так... Но лишь успел склониться,
Как новым был ударом поражен.

События угадываются без труда: речь идет о смерти матери, укреплении веры Добролюбова и последовавшей за этим смертью отца, лишившей его всякой надежды. «Тогда пришло печальное сомненье», приведшее уже к необратимой утрате веры в Бога и к формированию нового мировоззрения, в котором главную роль стала играть идея автономного существования под руководством разума:

Теперь я сам могу идти неумолимо
И действовать — не как его покорный раб,
Не по его таинственным приказам,
Чрез сотни уст дошедшим до меня,
А как велит мне собственный мой разум,
Как убежден я сам при полном свете дня.

Риторика здесь, с одной стороны, напоминает о классической статье Иммануила Канта «Что такое Просвещение?», в которой ответ на вопрос подразумевает обретение каждым человеком способности самостоятельно и критически размышлять и публично высказывать свое мнение, не сообразуясь с авторитетом Церкви и государства, выход из состояния интеллектуального младенчества и переход во взрослое. С другой стороны, траектория, описанная в этих строчках, воспроизводит идеи Фейербаха и его последователей, провозглашавших отказ от слепой веры в Бога и веру в человека как центр вселенной, автономию человеческого разума, который больше не нуждается в религиозных подпорках.

Однако ностальгия по согретому верой детству и семейной идиллии периодически накатывала на Добролюбова, выливаясь в пронзительные автобиографические стихи, например «В церкви» (1 апреля 1857 года):

Гимнов божественных пение стройное
Память минувшего будит во мне;
Видится мне мое детство спокойное
И беззаботная жизнь в тишине.

В ризах священных отец мне мечтается
С словом горячей молитвы в устах;
Ум мой невольно раздумьем смущается,
Душу объемлет таинственный страх.

С воспоминаньями, в самозабвении,
Детскими чувствами вновь я горю...
Только уж губы не шепчут моления,
Только рукой я креста не творю...[118]

Ироническая концовка, нивелирующая воспоминания детства, явно навеяна лирикой Генриха Гейне, которой Добролюбов страстно увлекся как раз в самом начале 1857 года (об этом речь пойдет далее). Ностальгия для потерявшего веру Добролюбова теперь целиком и полностью ассоциируется лишь с детством и семьей как таковыми; религиозность ушла и из картинки детства, оставив лишь внешние формы какого-то таинства, обряда, бессознательно воспринимаемого ребенком как нечто непонятное и загадочное.

Спустя три года после смерти отца, в августе 1857-го, Добролюбов пишет полноценное стихотворение, посвященное его памяти, которое органично вписывается в его новую интеллектуально-эмоциональную систему. Воспоминание об отце целиком связано с избавлением от иллюзий, с освобождением от догм и религиозных предрассудков, сковывавших душу ребенка. В основе текста лежат метафоры взросления и целенаправленного движения по пути жизни:

Благословен тот час печальный,
Когда ошибок детских мгла
Вслед колесницы погребальной
С души озлобленной сошла.
....
Но без надежд и утешений
Я гордо снес мою печаль
И, без загробных обольщений
Смотря на жизненную даль,

На битву жизни вышел смело,
И жизнь свободно потекла...
И делал я благое дело
Среди царюющего зла...

Это в высшей степени характерный текст повзрослевшего Добролюбова, уже выпустившегося в июне 1857 года из института и готовящегося полностью посвятить себя литературно-журнальной деятельности. Память об отце предстает здесь в мифологизированном обличье императива борьбы со злом, как будто бы отец завещал сыну любым способом, на любой жизненной стезе заниматься освобождением других от догм и предрассудков. Добролюбов, скорее всего неосознанно, приписывает отцу те мысли и идеалы, которых он, судя по дошедшей до нас информации, не придерживался. Тем не менее большая часть сословия священников и их детей в середине XIX века воспринимала свое пастырское служение по-новому — как секуляризированную форму православия, нацеленную в первую очередь на общественное служение, исполнение социального долга, просвещение крестьян[119].

Добролюбов в своих стихотворениях подхватывает риторику общественного служения: «благое дело» сочетает в себе церковнославянское прилагательное «благое» и существительное-сигнал «дело», характерное для демократической публицистики второй половины столетия. Редкое причастие «царюющее», встречающееся в литургических текстах, типично для неуклюжих строк Добролюбова и выдает в нем неловкого версификатора, больше озабоченного смыслом и содержанием, чем формой и гладкостью стиха. Не случайно финальные строки этого стихотворения часто цитировались в советское время и выносились на титульные листы его сочинений в качестве цитаты-визитки. Работа ради достижения социальной справедливости описана здесь как библейская эпопея борьбы добра со злом. Между тем Добролюбов-студент мыслил не только обобщенными символами.

В его сознании в эти годы существовали вполне конкретные и осязаемые образы социального зла. Напряженный, полный ненависти интерес к его носителям ярко проявился в коллекционировании слухов и сплетен и в сатирической поэзии.

Сатира и протест: памфлеты, слухи, кружок

Первый год институтской жизни, судя по всем сведениям, прошел гладко: поначалу Добролюбов даже хвалил в письмах родным начальство и особенно директора института Ивана Ивановича Давыдова. Так, прося М. А. Кострова

не верить «нелепостям», какие распространяет давний выпускник Главного педагогического, живущий в Нижнем, он писал, что не видит упадка института: «Директор наш И. И. Давыдов давно уже известен ученостью своей и трудами. Профессора — все славные и большею частью заслуженные, предметом своим каждый из них занимается, наверное, лучше какого-нибудь (фамилия зачеркнута. — *А. В.*)». Или Колосовским: «Директор очень внимателен, инспектор — просто удивительный человек по своей доброте и благородству. Начальство вообще превосходное и держит себя к воспитанникам очень близко». Или родителям, уже 9 января 1854 года, о слухах по поводу повышения Давыдова и переводе его в сенаторы: «...жаль будет лишиться такого просвещенного, неутомимо деятельного, заботливого и благородного начальника... Нет пределов его внимательности...»[120]

Конечно, было бы опрометчиво принимать все эти высказывания на веру без выяснения их контекста и прагматики. Дело в том, что в ранних письмах родным Добролюбов старался ретушировать все негативные моменты, которые могли бы заставить их беспокоиться за него или зародить в них мысль о неверном выборе. В такой логике жалобы на начальство или институтские условия оказывались в письмах близким просто невозможными, на что обращал внимание и первый их комментатор Чернышевский, когда писал, что Добролюбов не упоминал о скудости казенного питания и недоедании.

В то же время преувеличивать оппозиционность Добролюбова начальству в первый год учебы у нас нет никаких оснований. Студент был полностью погружен в учебу, налаживание связей с однокурсниками и полюбившимся профессором Срезневским, чтение, создание кружка единомышленников.

Разочарование Добролюбова в педагогическом институте, его профессорском составе и преподавании началось на втором году обучения, в конце 1854-го, уже после внутреннего перелома, драматически перевернувшего мировоззрение студента.

Главный педагогический институт с 1816 года готовил учителей для гимназий и принимал в основном разночинцев, большинство которых, в том числе Добролюбов, учились за казенный счет. Специализаций было две — историко-филологическая и физико-математическая. На каждом курсе учились 60 студентов, многие из них по окончании

института отправлялись преподавать в училища и гимназии в самые разные уголки огромной империи. Мало кто из воспитанников института сделал завидную карьеру; известнее Добролюбова стал лишь учившийся на курс старше Дмитрий Иванович Менделеев.

Атмосфера в педагогическом институте, по воспоминаниям студентов, была удушливая, а уровнем науки и преподавания учебное заведение в те годы похвастаться вряд ли могло. Хотя в нем работали такие крупные ученые, как уже упомянутый Измаил Срезневский и историк Николай Устрялов, на экзаменах у которых Добролюбов получал «пятерки», это всё же не был передовой край российской науки. Директор института, член Императорской Санкт-Петербургской академии наук, известный филолог Иван Иванович Давыдов, прозванный студентами Ванькой, в 1830-е годы был перспективным историком словесности, но в 1850-е его филологические работы устарели, а консервативные взгляды и отсталая методология не вызывали у научного сообщества ничего, кроме усмешки. На старших курсах Добролюбов стал понимать это особенно отчетливо и постоянно иронизировал над уровнем лекций многих преподавателей. Сохранился, например, добролюбовский конспект лекций профессора С. И. Лебедева по русской словесности, в котором едко высмеиваются консервативные взгляды преподавателя на историю русской литературы[121].

Невозможность получить в институте знания в желаемом объеме побуждала студентов самостоятельно искать их в книгах. Известно, что Добролюбов уже во время учебы читал запрещенные издания, например Герцена и Фейербаха. Сведения об этом просочились даже в Нижний через Галаховых — родителей мальчика, с которым занимался Добролюбов. Дядя Василий Иванович предупреждал племянника в письме от 13 мая 1856 года:

> «Еще в прошлом годе Галахова говорила мне, что ты занимаешься непозволенными книгами, могущими тебе повредить, если это дойдет до начальства, что об этом тебе говорил Алексей Сергеевич, но что ты не отстаешь от этих дурных книг»[122].

Добролюбов, конечно же, не встал на путь истинный — продолжал не только читать запрещенные книги, но и нарушать институтские правила внутреннего распорядка,

протестуя таким образом против злоупотреблений институтского персонала.

В мемуарах добролюбовских однокурсников описано множество случаев неповиновения и бойкотирования недовольными студентами решений институтской администрации. Будущие учителя «бурлили», как бурлила вся общественная жизнь России с началом Крымской войны и особенно после смерти Николая I в феврале 1855 года. Для кружка Добролюбова история протеста началась в конце 1854-го, когда будущий критик сочинил жалобу на инспектора, объявившего студентам выговор за то, что они постоянно выкидывали окурки в печную трубу[123]. В последующие годы студенты неоднократно конфликтовали с начальством и лично с Давыдовым, протестуя против плохого питания (тухлой говядины и прокисшей капусты). Жалобы и петиции дошли даже до Петра Андреевича Вяземского, товарища (заместителя) министра народного просвещения. Михаил Шемановский описал в воспоминаниях, как тот, наконец, приехал в институт с ревизией как раз во время обеда, однако к «пробному обедному столику не подходил... делал стойки над мисками супу, но попробовать не решился»[124]. Ревизия не привела к улучшению быта студентов, Давыдов торжествовал.

Хотя Добролюбов и играл в этих историях ведущую роль, ему удавалось избегать личного противостояния с директором. Оно возникло по другому поводу. Первый зафиксированный конфликт с Давыдовым разгорелся в самом конце 1854-го — начале 1855 года, уже после роковых событий в жизни Добролюбова. В январе 1855 года весь институт был переполошен обнаружением сатирического стихотворения на юбилей Николая Ивановича Греча. Расследование привело к Добролюбову, которого обыскали и посадили в карцер. Только заступничество профессора Срезневского и С. П. Галахова, отца ученика Добролюбова, спасло его от исключения и более суровых мер. Взыскание ограничилось снижением годового балла по поведению[125]. Что же опасного было в сатире Добролюбова?

Судя по рукописной тетради, сатира на Греча — первое стихотворение, написанное в Петербурге, после почти годового перерыва. Сатирический тон и до этого возникал в ранних, юношеских текстах, но носил скорее характер иронии. Стихотворение же на юбилей Греча демонстрирует новый для Добролюбова тип сатиры — эпиграмматический, продолжающий традиции неподцензурной поэзии

Автограф стихотворения «На 50-летний юбилей его превосходительства Николая Ивановича Греча». *1854 г. ОР РНБ*

декабристов, эпиграмм Пушкина и текстов лондонской «Полярной звезды» Герцена. Можно предполагать, что поводом к сочинению сатиры стало объявление в газетах, сообщавшее о высочайшем разрешении императора праздновать пятидесятилетие литературной деятельности Греча.

Современному читателю трудно представить, почему для праздника требовалась санкция высшего лица государства, однако в середине XIX века в России только формировалась традиция отмечать даты, связанные с деятельностью писателей, ученых, композиторов; литературное поле только приобретало необходимую для подобных мероприятий степень автономии от политики; писатели, особенно здравствующие, только начинали восприниматься наравне с государственными мужами, достойными публичного чествования. Отмечали тогда лишь кратные десяти годам юбилеи — но не возраста, а профессиональной деятельности. Греч, видный литератор и журналист пушкинской эпохи, отмечал литературные полвека уже после того, как отгремел юбилей «дедушки» Крылова (1838) — первый, отпразднованный публично, поскольку вокруг автора знаменитых народных басен уже к 1830-м годам сложился настоящий культ. Затем должен был состояться юбилей Жуковского, но поэт, живший в Германии, отказался от чествований. Из литературных деятелей ушедшей эпохи едва ли не один Греч мог претендовать на такое торжество. Понятно, почему Добролюбов выбрал своей мишенью именно его.

Греч, начинавший литературную карьеру как издатель патриотического «Сына отечества» и автор первых в истории русской журналистики годовых обозрений русской словесности, составитель первой истории русской литературы (1822) и одной из самых популярных учебных хрестоматий, — безусловно, значимая фигура в истории русской культуры. Но таким он видится сегодня. Тогда же престарелый Греч воспринимался молодым поколением прежде всего как компаньон и соиздатель одиозного журналиста и писателя, осведомителя Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии Фаддея Булгарина, о чем Добролюбов и пишет в своем «пасквиле». Учебные пособия Греча к 1854 году, конечно же, устарели и давно были вытеснены более современными и методически продвинутыми хрестоматиями Алексея Галахова и многих других.

В каком-то смысле можно сказать, что Добролюбов стрелял из пушки по воробью, поскольку никто из крупных журналистов и писателей в 1854 году уже всерьез не воспринимал Греча и если толковал о нем, то с исторической точки зрения — как о литературном деятеле ушедшей эпохи 1810—1830-х годов. Агрессивность добролюбовского текста объясняется юношеским максималистским задором, стремлением выбрать наиболее удобный объект, легче всего поддающийся травле. Цели своей автор, безусловно, добился, потрафив как молодежи, так и профессорам. В сатире подвергалась сокрушительному уничтожению вся учебная, журнальная, критическая и литературная деятельность юбиляра, досталось ему и за немецкое происхождение, и за сотрудничество с доносчиком Булгариным, и за архаичные взгляды на словесность.

Если присмотреться к риторике добролюбовской сатиры, бросается в глаза ее русофильский пафос. Сознательно или бессознательно следуя декабристским куплетам против засилья немцев в русской армии, правительственных кругах, а главное — на троне, Добролюбов «нажимает» на эту тему, обострившуюся к середине 1850-х годов, особенно в связи с национальным подъемом во время Крымской войны:

Скажи нам, немец обруселый,
Что для России ты свершил?
Когда и в чем ты в век свой целый
Любовь свою к ней проявил?

В те дни, как русские спасали
Родную Русь от чуждых сил,
В патриотическом журнале
Ты лишь ругался или льстил.

....
Поляк* и немец, — вы судили
О русском слове вкривь и вкось —
И патриотами прослыли,
Хваля Россию на авось.

....
Твоя почетная известность
Решеньем тех утверждена,
Кому вся русская словесность
Есть незнакомая страна[126].

---

* Имеется в виду Ф. В. Булгарин.

Из сатиры совершенно очевидно, что все претензии Добролюбова сводятся в конечном счете к немецкому происхождению Греча: с самого начала, с 1812 года, его деятельность описывается как совершенно чуждая русским национальным интересам, потом неверная оценка Гречем Пушкина и Гоголя также оказывается производной от его иностранного происхождения, и т. д. Нельзя не заметить, что такое суждение о литературной деятельности Греча не просто исторически необъективно, но тенденциозно и предвзято. С тем же успехом можно было травить, например, в 1812 году М. Б. Барклая-де-Толли за его остзейское происхождение. В конце 1850-х Александр Герцен опубликовал в лондонском «Колоколе» серию статей «Русские немцы», где рассуждал в том же духе о засилье остзейских баронов в высших эшелонах российской политики, не говоря уже о самой императорской фамилии.

Таким образом, Добролюбов был не одинок в развертывании такой риторики. Это была тенденция, имевшая глубокие корни и сложные причины возникновения. Современные историки называют это «этнизацией национализма», имея в виду существенный сдвиг в восприятии и осознании интеллектуальной элитой России сущности и природы своей национальности. Если в 1820—1830-е годы на волне романтического национализма собственно этническая принадлежность автора или героя, чиновника или монарха была не так важна и уходила на второй план, в тень «духа нации», то к середине века, в короткий промежуток между Крымской войной и отменой крепостного права, в общественном сознании происходит резкий поворот в сторону подчеркивания более глубоких различий между великороссами, малороссами, белорусами, поляками, немцами и инородцами, населявшими огромную империю. Ярким примером поворота к «этничности» может служить критик Аполлон Григорьев, как раз в эти годы придумавший и пустивший в ход знаменитую формулу «Пушкин — наше всё». Но мало кто помнит, что цена рождения этой пророческой формулы была высока: Григорьев, до этого боготворивший Гоголя и ставивший его на первое место в русской литературе, в 1854 году, под влиянием национального подъема в связи с Крымской войной, вдруг пересмотрел свои взгляды и начал критиковать Гоголя за «хохляцкое» происхождение и провинциальность взглядов. Именно в таком идейном ландшафте рождалась пушкинистская формула Григорьева — на волне отрицания малоросса Гоголя

и признания «русскости» и «всемирности» Пушкина (отсюда — прямая дорога к Пушкинской речи Достоевского 1880 года).

В русле этого широкого национального течения находится и стихотворение Добролюбова, если называть вещи своими именами — шовинистическое, так как этническое происхождение становится в нем инструментом для манипуляции мнением и дискредитации человека, безотносительно к его реальным поступкам и заслугам. Подчеркнем, что мы не пытаемся оправдать Греча; речь идет о том, какую риторику использует Добролюбов и какова логика дискредитации адресата его сатиры.

Другие сатирические стихотворения Добролюбова 1855—1856 годов (именно в этот период он, «ожесточенный» и озлобленный, пишет почти исключительно политическую сатиру) насыщены ксенофобской риторикой. Так, сатира на смерть Николая I «18 февраля 1855 года» по той же схеме обвиняет покойного императора, что он, «немецкое отродье», грабил Русь и «немцам передал на жертву наш народ». Здесь, очевидно, имеются в виду не реальные «немецкие» немцы, а остзейские (прибалтийские) бароны, занимавшие высокие административные посты.

Но грехи, приписываемые поэтом Николаю, конечно же, не сводятся к его этнической принадлежности. Многие стихотворения этих лет рисуют конкретную картину социального зла, которое должно быть уничтожено. В первую очередь это неограниченная самодержавная власть, которая кодируется Добролюбовым как «тиранство» (в том же стихотворении на смерть Николая I):

Не правь же, новый царь, как твой отец ужасный,
Поверь, назло царям, к свободе Русь придет.
Тогда не пощадят тирана род несчастный
И будет без царей блаженствовать народ[127].

Смысл этих строк, как и сатиры Добролюбова в целом, двойствен. С одной стороны, сатирик призывает вступающего на престол Александра II не повторять ошибок отца и провести реформы, с другой (и тут поэтическая логика «проседает») — рисует смену власти, не поясняя, впрочем, каким образом она должна произойти. В ходе переворота царская семья должна погибнуть, но о том, как это произойдет, говорится неясно, с использованием неопределенно-

личной формы глагола — «не пощадят» (кто? почему?). Такой же туманный сценарий освобождения от тиранства начертан в «Думе при гробе Оленина» (1855):

О Русь! Русь! Долго ль втихомолку
Ты будешь плакать и стонать
И хищного в овчарне волка
«Отцом-надеждой» называть?

Когда, о Русь, ты перестанешь
Машиной фокусника быть?
Кода проснешься ты и встанешь,
Чтобы мучителям отмстить?

Проснись, о Русь! Восстань, родная!
Взгляни, что делают с тобой!
Твой царь, себя лишь охраняя,
Сам нарушает твой покой.

Здесь нет никакой политической конкретики — только тираноборческая риторика, почерпнутая из вольнолюбивой неподцензурной поэзии Радищева, Пушкина, декабристов, Николая Огарева и Петра Лаврова.

Второй объект сатиры — крепостное право. «Дума при гробе Оленина» рисует многовековую историю рабства на Руси, которое, согласно поэту, зародилось с самого призвания Рюрика и продолжается в ужасных формах до сего дня.

Третий постоянный объект — социальное неравенство, нищета и нежелание богатых улучшать положение бедных. Об этом — стихотворение «Перед дворцом», переделанное позже в зарисовку «Встреча». Его лирический герой встречает нищего мальчика, которого обогревает любовью, но по своей бедности ничем не может помочь горемыке, а между тем по соседству, во дворце, продолжается царский пир.

Наконец, последний наиболее частый объект добролюбовского обличения — идущая тогда Крымская война и военные амбиции России. Антивоенной риторикой пронизаны сатиры «Газетная Россия» и «Не гром войны...», написанные в 1855 году, в переломный момент кампании, после сдачи Севастополя и зарождения в общественном сознании критического (взамен ультрапатриотического) восприятия войны и действий правительства. В этот момент Добролюбов перепевает «Поэта и гражданина» Некрасова с его диалектикой любви и ненависти, утверждая:

Не буду петь я нашу славу,
Победы наши величать...
....
Не льстивый бард, не громкий лирик,
Не оды сладеньких певцов,
А вдохновенный, злой сатирик,
Поток правдивых, горьких слов
Нужны России. Пусть увидят
Ее чужие и свои,
И пусть, оставив ненавидеть,
Жалеют с горестью любви.

По мнению автора, милитаристские интересы ставятся заведомо ниже необходимых реформ, провозвестником, а затем летописцем которых должен стать поэт-гражданин.

Как показали советские исследователи, политическая лирика Добролюбова вышла за пределы педагогического института и разошлась в списках, несколько стихотворений были напечатаны в лондонских изданиях Герцена. Собственно литературное ее значение чрезвычайно скромно. По сути, тексты свидетельствуют только о радикализации политических взглядов их автора, его склонности к пропагандистскому жанру и посредственных версификаторских способностях. Страсть к политической сатире через несколько лет будет реализована Добролюбовым в «Свистке» — сатирическом приложении к «Современнику», где она станет более завуалированной, а порой и изощренной.

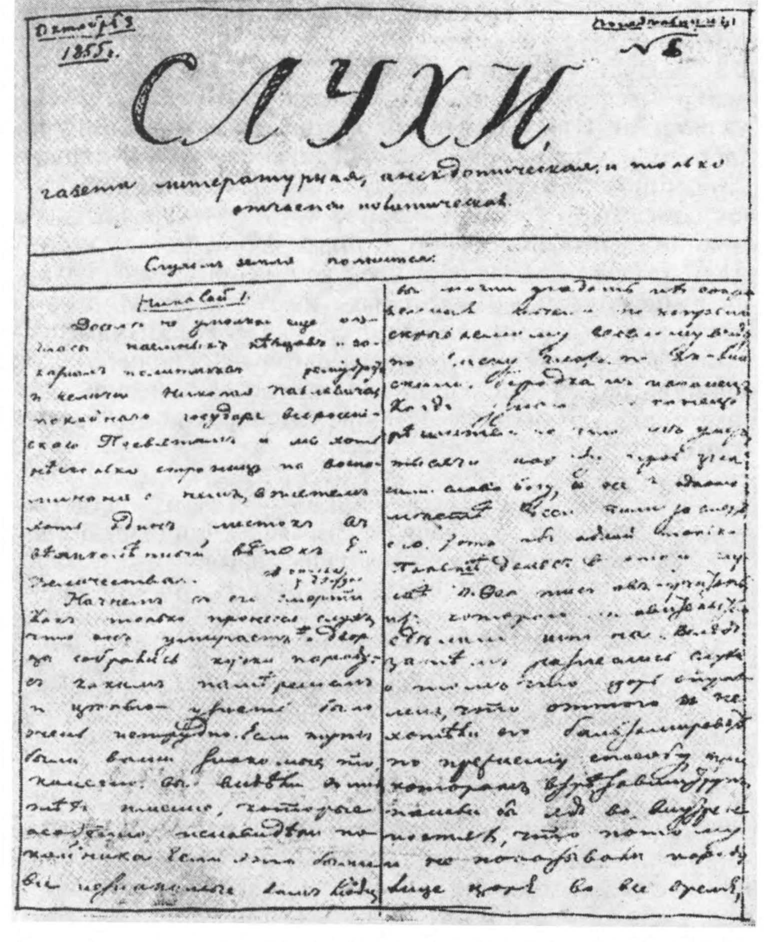
Пока же следует обратить внимание на другой политический пласт жизни Добролюбова середины 1850-х годов, который может много сказать о том, как наш герой постепенно двигался с периферии в центр литературной и политической жизни страны.

Весной 1855 года Добролюбов начал работать над произведением смешанного жанра — «Закулисные тайны русской литературы и жизни». Можно предполагать, что этот текст — то ли статья, то ли собрание слухов и анекдотов — предназначался, с одной стороны, для институтского пользования (чтения в кружке ради развлечения и обсуждения), с другой — для издаваемой Добролюбовым институтской рукописной газеты «Слухи». В нем соседствуют упоминания о значимых подцензурных литературных новинках 1855 года (например, о «Севастопольских рассказах» Толстого), эпиграммы на Николая I и Булгарина, известие о выходе диссертации Чернышевского и более мелкие новости.

В дневниках 1856 и 1857 годов Добролюбов продолжил собирание курьезов и слухов, которые чем дальше, тем будут становиться всё более откровенными и даже скандальными. Так, дневник 1856 года наполнен сплетнями, услышанными от разных лиц и вычитанными в газетах и книгах (с 1854 года студенты педагогического института в складчину выписывали основные журналы и газеты[128]), о взяточничестве крупных чиновников, о наследнике, о нелепых случаях с императором на прогулке. В одной из историй о Николае I, наказавшем встреченного на улице старичка за его странное одеяние, комментаторы видят параллель к знаменитому «Сну Попова» Алексея Константиновича Толстого[129]. Фиксация слухов и курьезов отсылает к давней традиции записывать остроты и анекдоты о великих людях, наиболее полно воплощенной в «Записных книжках» Петра Андреевича Вяземского. Но запись Добролюбовым слухов, сплетен и анекдотов имеет совсем другую прагматику: это своего рода компенсация гласности, удачная попытка молодого студента запустить механизм публичного обсуждения. Добролюбов не просто коллекционирует казусы — он проводит расследование (вспомним его изучение сплетен вокруг архиепископа Иеремии в 1851 году).

Из «Закулисных тайн» черпался материал для институтской рукописной газеты «Слухи», выходившей с сентября по декабрь 1855 года. Добролюбов почти единолично наполнял материалами все номера газеты. Их темами становились события на крымском фронте, анекдоты о главнокомандующем в Крыму князе А. С. Меншикове, скандальные студенческие дела в разных концах страны, слухи о последних днях жизни Николая I и о его любовных похождениях («Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев»), наконец, истории из жизни известных писателей и поэтов — Полежаева и особенно Пушкина. Исследователи до сих пор не могут установить, каким образом Добролюбову мог стать известен ответ Пушкина великому князю Михаилу Павловичу, записанный поэтом в дневнике и опубликованный лишь в 1880 году, а 1850-е годы известный только П. В. Анненкову и близким друзьям Пушкина[130].

«Слухи» были первой платформой, на которой Добролюбов испытал, что значит быть редактором периодического издания. При этом газета издавалась не ради собственного удовлетворения, а для распространения в сложившемся кружке демократически настроенных единомышленников.


Октября 3
1855 г.

№ 8

СЛУХИ,

газета литературная, анекдотическая и только отчасти политическая.

Слухом земля полнится.

Николай I.

Нелегальная рукописная газета «Слухи», выпускавшаяся Добролюбовым во время учебы в Главном педагогическом институте

Кружок Добролюбова сложился в педагогическом институте в 1854 году, когда он учился на втором курсе. К 1856-му в его состав входили уже 20—25 человек. Владимир Александрович, Иван Бордюгов, Александр Златовратский, Николай Михайловский, Иван Паржницкий, Александр Радонежский, Борис Сциборский, Николай Турчанинов, Михаил Шемановский, Дмитрий Щеглов — вот самые важные имена, которые будут встречаться на страницах этой биографии[131], поскольку и после окончания института Добролюбов кое с кем из приятелей поддерживал переписку, а с некоторыми и встречался. Многие из них оставили воспоминания о кружке, в которых рассказали о том, как их притягивала фигура Добролюбова, об общих интересах, оппозиции начальству, юношеском максимализме и радикализме. Борис Сциборский в 1862 году вспоминал:

> «Правда, нас было немного — человек десять, преданных делу будущности, сознавших, что сухие лекции большей части наших почтенных профессоров и деспотические требования начальства в исполнении самых мелочных формальностей должны стать у нас далеко на втором плане и что нам нужен самостоятельный труд и прежде всего работа над самими собой — поверка прежних наших впечатлений. В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Николай Александрович был самым решительным, самым энергическим и чрезвычайно влиятельным деятелем»[132].

Воспоминания Сциборского подтверждаются мемуарами других членов кружка: центральная роль Добролюбова, протестные настроения, чтение запрещенной литературы (как русской, изданной Герценом в Лондоне, так и европейской), конфликты с начальством, политическая сатира (газета «Слухи»). Однако жизнь Добролюбова в годы учебы к этому не сводилась. Самое интересное в ней происходило вне институтских стен.

Чернышевский и «Современник»

«Добролюбова я любил, как сына»[133] — в этом признании Чернышевского в письме своему кузену, литературоведу Александру Николаевичу Пыпину из Вилюйской ссылки нет преувеличения. Чернышевский, как хорошо известно

из лучших исследований о нем и мемуаров наиболее проницательных современников, был человек бесстрастный и целиком погруженный в книжную культуру, в которую он верил, как в Бога. Именно через дидактическое и утилитарное чтение, по Чернышевскому, должно произойти освобождение человека от предрассудков и превращение его в «нового человека». Отсюда следует, что интеллектуальные привязанности были для Чернышевского важнее любых иных и занимали в его ценностной иерархии гораздо более высокое положение, нежели родственные связи или любовные отношения. На втором году знакомства взаимная приязнь Чернышевского и Добролюбова уже была настолько сильна, что вылилась в следующее признание старшего в письме младшему*:

> «Мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах... В Вас я вижу как будто своего брата... Я могу только сказать, что каковы бы ни были Вы, Вы всё-таки гораздо лучше меня. <...> Мы с Вами... берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами»[134].

История этой дружбы будет рассказана во всех подробностях, когда пойдет речь о роли, которую Чернышевский сыграл в личной жизни Добролюбова. Пока же следует описать, при каких обстоятельствах состоялось их знакомство и как два бывших семинариста признали друг в друге родственные души.

О существовании литератора Чернышевского Добролюбов знал еще в начале 1855 года, когда под заголовком «Закулисные тайны русской литературы и жизни» записывал в дневнике всевозможные литературные сплетни и новости, среди которых было известие о выходе магистерской диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (студент купил ее в 1856 году за 75 копеек[135]). Однокурсник Добролюбова Николай Турчанинов и вовсе был учеником Чернышевского в

* В свое время к юному Чернышевскому было обращено такое же пророчество его наставника Василия Лободовского. «...Говорил мне, чтобы я был вторым Спасителем, о чем он не раз и раньше намекал»; «Мы, наконец, стали говорить о переворотах, которых должно ждать у нас; он (Лободовский. — *А. В.*) воображает, что он будет главным действующим лицом» (*Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 1. М., 1939. С. 281, 363).

МОСКВИТЯНИНЪ.

1851.

ВЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ КНИГАХЪ.

ч. 4

№ 15.

АВГУСТЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Юный Добролюбов безуспешно пытался опубликовать стихи в журнале «Москвитянин»

СОВРЕМЕННИКЪ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и (съ 1859 года) ПОЛИТИЧЕСКІЙ

издаваемый съ 1847 года

И. ПАНАЕВЫМЪ и Н. НЕКРАСОВЫМЪ

ТОМЪ LXXIV

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФІИ КАРЛА ВУЛЬФА

1859

С 1856 года Добролюбов сотрудничал в журнале «Современник»

саратовской семинарии, поддерживал с ним связь в Петербурге и, очевидно, поставлял Добролюбову все более или менее значимые новости о делах своего учителя.

Весной 1855 года Добролюбов предпринял попытку опубликоваться в «Современнике» — отнес в редакцию рукопись какого-то рассказа (предположительно «Провинциальной холеры»). В тот день начинающего литератора принял соредактор журнала Иван Панаев, который, по воспоминаниям его супруги Авдотьи Яковлевны, рукопись отверг из-за ее низких литературных достоинств[136]. Однако когда Добролюбов стал постоянным сотрудником журнала, то по настоянию Некрасова всё же напечатал в нем свои рассказы «Донос» и «Делец». Оба были написаны еще в педагогическом институте в духе модной во второй половине 1850-х годов «обличительной литературы» — течения беллетристики, сосредоточенного на критическом описании злоупотреблений столичных и провинциальных властей. Родоначальником направления современники считали Николая Щедрина (под таким псевдонимом в 1857 году Михаил Салтыков опубликовал свои «Губернские очерки», получившие громкий резонанс). В том же русле писали Илья Селиванов («Записки чудака»), Алексей Потехин и другие забытые ныне беллетристы, стиль которых копируют рассказы Добролюбова.

В обоих рассказах Добролюбова действуют коррумпированные чиновники — Петр Ошарский и Александр Щекоткин, которые обогащаются на волне борьбы со злоупотреблениями, умудряясь извлекать прибыль и одновременно выполнять поручения начальства. Ошарский, сочинив подлый донос, подсиживает секретаря гражданской палаты и занимает его место. История Щекоткина из «Дельца» еще острее: будучи чиновником особых поручений при губернаторе, он расследует ограбление почтовой кареты (реальное происшествие в Нижнем Новгороде), перевозившей 100 тысяч рублей. В ходе блестяще проведенной операции ему удается обнаружить около 90 тысяч, однако весь город судачит, что чиновник положил себе в карман около пяти тысяч. Два рассказа Добролюбова так и остались бледным упражнением в популярном жанре. Уже в 1859 году он сам начал критиковать «обличителей».

Судя по всему, с 1855 года Добролюбов регулярно читал «Современник» и «Отечественные записки», окончательно укрепившись в мысли, что они принадлежат к наиболее ярким русским журналам либерально-демократического

толка. Это была разительная перемена: еще за три-четыре года до этого, живя в Нижнем, Добролюбов мечтал послать свои статьи в «Сын отечества», а стихи — в «Москвитянин» — так плохо он тогда ориентировался и в журналистике, и в идеологии.

«Современник», основанный Пушкиным в 1836 году, собрал лучшие писательские силы тогдашней русской литературы. В начале 1840-х годов журнал сдал свои позиции и утратил внимание широкой читательской аудитории, переключившейся на «Отечественные записки». Лишь в 1847-м, когда Николай Некрасов и Иван Панаев перекупили «Современник» у бывшего издателя Петра Плетнева, он постепенно становится ведущим русским либеральным журналом. В таком статусе его и застал молодой Добролюбов.

В апреле 1856 года, наконец, произошло знакомство усердного читателя «Современника» с ведущим сотрудником журнала Чернышевским, который описал это событие в воспоминаниях. Николай Турчанинов принес ему для публикации рукопись статьи Добролюбова «Собеседник любителей российского слова». Как только Чернышевский прочел «две-три страницы», он понял: «...статья написана хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие излагались тогда в “Современнике”, и читать дальше нет надобности»[137]. Статья была принята к печати, а Добролюбов получил приглашение побывать у Чернышевского. За первым разговором последовали другие — до позднего вечера, до часу ночи: старший выспрашивал у младшего его мнение по самым разным вопросам. Так Чернышевский, по его признанию, прощупывал, годится ли молодой человек для постоянного сотрудничества в журнале. Он был вполне удовлетворен услышанным, но принял решение отложить регулярное сотрудничество до окончания Добролюбовым института, чтобы не усугублять и без того острый конфликт студента с директором Давыдовым[138].

Первого августа 1856 года Добролюбов сообщил саратовскому ученику Чернышевского Турчанинову:

> «С Николаем Гавриловичем я сближаюсь всё более и всё более научаюсь ценить его. Я готов бы был исписать несколько листов похвал ему... Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях,

и высказанной просто, без фразерства, столько ума, строго-последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но никогда и не предполагал найти»[139].

Их сближение произошло стремительно. Уже к концу 1856 года, то есть через несколько месяцев после знакомства, они стали приятелями, хотя и обращавшимися друг к другу на «вы» (так будет всегда), но тем не менее постепенно обретавшими всё большую откровенность в долгих разговорах. Их роднило многое. Во-первых, оба были поповские сыновья, порвавшие со своим сословием, чтобы сделать светскую карьеру в столице. Во-вторых, оба вначале намеревались действовать на научном поприще, но постепенно оказались в журналистике, где их ждало признание. В-третьих, оба — Чернышевский раньше, еще в 1849—1850 годах, а Добролюбов в 1855-м — в силу разных обстоятельств утратили веру в Божественный Промысел и «воскресение из мертвых», перейдя к новой, как им казалось, самой прогрессивной системе взглядов. В-четвертых, оба обладали типичными качествами разночинцев: верой в собственную избранность, замкнутостью, принципиальностью, мирским аскетизмом и т. д. Более того, по меткому замечанию И. Паперно, «Чернышевский видел в Добролюбове своего двойника, реализовавшего многие стремления, которые сам Чернышевский, по разным причинам, не мог осуществить»[140].

Но эти сходства не могли скрыть от более опытного Чернышевского существенное различие: он был напрочь лишен страстности и ригоризма своего младшего друга[141]. Забегая вперед намекнем, что старший был поражен тем, насколько интенсивной оказалась приватная жизнь Добролюбова, когда тот в 1858 году открыл ему, что происходит у него на сердце. Чернышевский, лишенный внутренних противоречий, колебаний между «духом» и «плотью», потратил много времени и усилий, чтобы осмыслить эту особенность добролюбовского темперамента и отобразить ее в своих романах, а главное — в «Материалах для биографии Добролюбова» и воспоминаниях о нем.

Совершенно очевидно, что Чернышевский сменил однокашника Щеглова в деле врачевания ожесточенной души Добролюбова и стал для него главным «авторитетом»[142]. В январе 1857-го Добролюбов подведет итог своей дружбы и расхождения во взглядах с Щегловым, формулируя свое политическое кредо:

«Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество с равными правами и общим имуществом всех членов; а он — революционер, полный ненависти ко всякой власти над ним, но признающий необходимым неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества и восстающий против власти только потому, кажется, что видит ее нелепость statu quo и признаёт себя выше ее. Идеал его — Северо-Американские штаты. Для меня же идеал на земле еще не существует, кроме разве демократического общества, митинг которого описал Герцен*. Я — полон какой-то безотчетной, беспечной любви к человечеству и уже привык давно думать, что всякую гадость люди делают *по глупости*, и следовательно, нужно жалеть их, а не сердиться»[143].

Первые наброски доктрины Герцена появились в статьях начала 1850-х годов, после разочарования в идеях и ходе европейских демократических революций 1848 года. Под влиянием герценовских идей Добролюбов находился уже с 1855 года, в беседах с Чернышевским эти идеи обсуждались, конкретизировались, тестировались и, возможно, критиковались.

В задушевных разговорах приятели проводили поздние вечера и ночи, так что Добролюбов даже оставался ночевать у Чернышевского. Говорено было обо всём: в первую очередь о сомнении в вере, о новых убеждениях, о самостоятельности разума, направленного на уничтожение неравенства, нищеты, коррупции:

«С Н. Г. мы толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. <...> Я бы тебе (Турчанинову. — *А. В.*) передал, конечно, всё, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно»[144].

Очевидно, что в этих беседах, как следует из умолчания, обусловленного опасностью перлюстрации, речь шла о новых течениях в философии — Фейербахе, последователем которого уже был Чернышевский, о французских социалистах Луи Блане, Пьере Жозефе Прудоне, об особой русской интеллектуальной традиции кружкового философствования, выпукло и не без иронии описанной в «Былом и ду-

---

* Имеется в виду брошюра «Народный сход в память переворота 1848 года» (Лондон, 1855).

мах» Герцена и «Гамлете Щигровского уезда» и «Рудине» Тургенева. Конечно же, обсуждался прочитанный Герцен: в цитированном письме далее речь идет о его известной книге «О развитии революционных идей в России» (1850), основной риторический прием которой — описание своеобразной антиправительственной «эстафеты», прославленного литературного мартиролога, в котором каждый писатель, поэт или мыслитель, задушенный самодержавием (на деле или в воображении Герцена), умирает как будто для того, чтобы передать преемнику «революционные идеи». Отсюда и в письме Добролюбова появляется эта цепь — «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и т. д.

В беседах весны и лета 1856 года стремительно формировалась новая система взглядов Добролюбова, те философские и этические, теоретические и практические принципы, которые, с одной стороны, лягут в основу его критических статей для «Современника», а с другой — предопределят его бытовое поведение и с коллегами по цеху, и с аристократами, и со студентами, и с падшими созданиями, обитавшими в «петербургских углах».

Упоминаниями Чернышевского по самым разным поводам пестрит дневник 1857 года: Добролюбов постоянно соотносит с ним встреченных людей, регулярно читает его статьи в «Современнике», дает знакомым прочесть его «Очерки гоголевского периода русской литературы», приносит Чернышевскому свои стихотворения для прочтения и возможной публикации в журнале (и открывает в друге «поэтический талант»[145]). Наконец, всё это закономерно приводит Добролюбова к формулированию собственной «теории эгоизма» — скорее всего, под прямым воздействием Чернышевского: «Если умственные и нравственные интересы расходятся, уважение и любовь к родным слабеет и может и вовсе исчезнуть... В самом деле: умри теперь Чернышевский, я о нем буду жалеть в сто раз больше, чем о своем дядюшке, если бы он умер»[146]. В 1857 году духовное родство между ними настолько окрепло, что Добролюбов не стеснялся упоминать об этом, «читать панегирик» умственным качествам друга уже не только своим однокурсникам, но и более далеким знакомым — например, брату драматурга Островского Михаилу Николаевичу, с которым встречался в салоне отца своей ученицы Натальи Татариновой. Во время спора, произошедшего 7 февраля 1857 года, Добролюбов защищал концепцию Чернышевского об искусстве как суррогате действительности (из недавно прочи-

танной магистерской диссертации)[147]. Несмотря на то что круг чтения Добролюбова в это время был достаточно обширен (Герцен, Фейербах, Чаадаев, Белинский и др.), разговоры с Чернышевским и его статьи оставались главным источником, из которого черпались представления о том, как нужно говорить и думать о литературе.

Бюджет и досуг студента

После смерти отца Добролюбову удалось попасть в Нижний лишь летом 1857 года. Он так долго не приезжал, потому что был стеснен в средствах и каждым летом старался заработать денег для сирот — братьев и сестер. Ситуация была тяжелая. Тетки Добролюбова по материнской линии Фавста Васильевна и Варвара Васильевна старались пристроить детей в разные руки. Дела велись параллельно по всем фронтам. Главная стратегическая забота легла на Николая. Во-первых, нужно было оформить закрепление отцовского прихода за старшей сестрой Антониной для получения хотя бы какого-то дохода после ее брака, разумеется, только со священником, который бы унаследовал приход. Во-вторых, Добролюбов попытался добиться списания долгов отца по займу из строительной комиссии, однако сразу это сделать не удалось. В феврале 1855 года он получил официальный отказ от главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий графа Петра Андреевича Клейнмихеля (того самого, который фигурирует в эпиграфе «Железной дороги» (1864) Некрасова и в добролюбовских «слухах» о «разврате» Николая I[148]), и лишь в 1856 году, при новом главноуправляющем, Константине Владимировиче Чевкине, долг был списан[149].

Деньги студенту теперь присылать было некому, и он был вынужден искать заработки, чтобы не только прокормить себя (питание в институте было скудным, даже чай нужно было пить свой), но и посылать братьям и сестрам. К маю 1855 года работа была найдена — репетиторство. Оно-то и останется главным источником добролюбовского дохода вплоть до окончания института и официального прихода в редакцию «Современника». В мае Добролюбов давал первые уроки по рублю серебром, но всего месяц, так как с наступлением каникул ученицы разъехались по дачам. Но с июля ему посчастливилось найти хорошего ученика — сына Александра Яковлевича Малоземова,

крупного чиновника, начальника отделения Особенной канцелярии Министерства финансов. Учитель прожил два летних месяца на загородной даче и получил за них 30 рублей серебром — сумму для начала неплохую, учитывая выгоды пребывания за городом, недурной хозяйский стол и пр. С сентября Добролюбов наладил постоянные уроки и теперь получал восемь рублей серебром в месяц (два урока в неделю по рублю за урок)[150].

В начале 1856 года нашлась еще подработка — занятия арифметикой с шестью-семью девочками в Семеновском полку. Вместе с прочими уроками ежемесячный доход составлял теперь 25 рублей. С марта того же года Добролюбов заполнил уроками и воскресенья, ранее остававшиеся свободными, доведя репетиторский заработок до 32 рублей в месяц[151], из которых он стал не только откладывать на летнюю поездку в Нижний, но и регулярно посылать сестрам небольшие суммы. Наконец, к этому нужно прибавить первый гонорар (100 рублей), который начинающий критик получил за напечатанную в «Современнике» статью «Собеседник любителей российского слова». Вскоре за ней последовали другие — так началось постоянное сотрудничество в журнале Некрасова, которое также стало приносить постоянный доход, позже превратившийся в основной.

Пока же небольшой, но стабильный приток денег позволил Добролюбову улучшить условия жизни: в дурную погоду, чтобы не идти по грязи, он нанимал извозчика; сапоги теперь ему чистил институтский сторож. Добролюбов покупал книги (в 1856 году — на 30 рублей), иногда посещал театр[152]. А к концу 1856 года студент даже стал тратить немалые суммы на развлечения, не подобающие будущему педагогу...

В следующем году доход Добролюбова снова вырос, пополнившись новыми и более крупными заработками — платой за занятия с детьми князя Александра Куракина и чиновника Александра Татаринова. Например, с января по май он таким образом получил 175 рублей. В это же время при посредничестве Чернышевского начинается сотрудничество Добролюбова с издателем «Журнала для воспитания» Александром Александровичем Чумиковым, от которого было получено три рубля, и с издателем и книгопродавцем Александром Ильичом Глазуновым: который заказал ему для издания сочинений Кольцова большую статью о поэте, принесшую автору 100 рублей. За составление указателей к томам «Записок Академии наук» он получил

37 рублей 50 копеек; наконец, от Чернышевского за рецензии и статьи для «Современника» — 38 рублей 25 копеек[153]. Изучение скрупулезной записи расходов и доходов Добролюбова за первые пять месяцев 1857 года показывает, что всего он заработал 358 рублей 75 копеек. Расходы при этом были однотипные: извозчик (в среднем 25 копеек за поездку), чай и сахар (2 рубля 25 копеек в месяц), булки (по шесть копеек), необходимая одежда (мы помним, что в это время Добролюбов еще жил в институте на казенном довольствии). Только раз в месяц Добролюбов позволял себе покупать сыр или колбасу, на которые уходило от 12 до 30 копеек.

Из этих копеечных расходов выделяются величиной только покупка книг, журналов (например, двухтомник «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина обошелся ему в два рубля с полтиной), одежды и визиты к неким женщинам — Машеньке, Саше и Оле, которые требовали больших трат. В январе Добролюбов потратил на два визита к Машеньке восемь рублей (более четверти месячных расходов), в феврале восемь рублей было уплачено Саше и Оле, в марте — три рубля Машеньке за один визит, в апреле — ей же шесть рублей за два визита, в мае потрачено на два визита к Машеньке пять рублей[154].

Кто же такие эти Машенька, Оля и Саша?

Машенька и Тереза

«Добролюбов был очень влюбчив. Пассий у него было много». Эту фразу, сказанную Чернышевским отбывавшему вместе с ним каторгу Сергею Стахевичу[155], в 1930-е годы выхватил меткий глаз Набокова и сделал значимой характеристикой Добролюбова в четвертой главе романа «Дар». Установка Набокова на развенчание мифов, насаждаемых вокруг радикалов 1860-х, проявилась и в несколько утрированном, без пиетета, изображении Добролюбова, влюбленного в проститутку. Но и проницательному Набокову, с карандашом штудировавшему в Берлинской государственной библиотеке «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», изданные Чернышевским в 1890 году, многие сведения о Добролюбове были неизвестны, поскольку не вся его переписка до сих пор опубликована. Взгляд биографа-историка побуждает, конечно, к более взвешенному, чем у Набокова, подходу к «приватному», которое в творчестве и

поведении Добролюбова и Чернышевского сложно соотносится с «публичным» и дает ключ к пониманию психологических посылок и прагматики многих их текстов.

Чернышевский тщательно отбирал письма и факты из жизни друга для публикации в 1862 и 1890 годах материалов для его биографии. Добролюбову «разрешалось» любить только мать и сестер, а глухие упоминания о некоей девушке «В. Д.» при публикации писем затушевывались. Н. А. Некрасов в предисловии к публикации стихотворений Добролюбова и в собственном стихотворении «Памяти Добролюбова» (1864) создал освобожденный от всего плотского и земного аскетический образ юноши-гения, принесшего личную жизнь в жертву общественному служению.

Неудивительно, что в полувековую годовщину смерти Добролюбова в 1911 году исследователи его жизни в один голос заявили, что его подлинная жизнь сильно отличается от легенды, сотворенной его первым биографом Чернышевским. Были предприняты попытки реконструировать цепь сердечных увлечений критика, составить эдакий «донжуанский список» на основе частично опубликованного в 1909 году дневника Добролюбова. В него вошли шесть женщин: Феничка Щепотьева, Тереза Грюнвальд, Анна Сократовна Васильева, некая Клеменс, Эмилия Телье, Ильдегонде Фиокки. Разумеется, привязанности разной глубины оставили неравноценные следы в жизненной и — важнее — творческой биографии критика.

Видимо, главной его любовью осталась Тереза Карловна Грюнвальд, непростая судьба которой ярче всего прослеживается в ее письмах «Колиньке», как она неизменно называла Добролюбова*. Известные исследователям с 1910-х годов, они, однако, оказывались табуированными в советское время. Даже в 1930-е годы, когда без купюр публиковался откровеннейший дневник Добролюбова и провозглашалось снятие антагонизма между эротической страстностью его натуры и революционностью взглядов (наиболее последовательно — в трудах главного «добролюбоведа» Валериана Лебедева-Полянского[156]), письма Грюнвальд не были изданы. В 1950—1960-х годах, во время подготовки собрания сочинений Добролюбова, письма были упомянуты в примечаниях[157], использованы в комментарии, но так и не опубликованы, хотя содержат ценнейшие сведения об отношениях Грюнвальд с Добролюбовым в 1858—1861 го-

* Ответные письма Добролюбова погибли в пожаре в доме Терезы.

дах. Известный биограф Добролюбова и комментатор собрания его сочинений Б. Ф. Егоров сообщил нам в письме от 5 июня 2016 года, что при подготовке издания дневников цензоры и руководство издательства «Художественная литература» заставили вырезать наиболее откровенные места, опубликованные в 1931 году, отчего и появились купюры, обозначенные угловыми скобками. 4 января 1964 года Борис Федорович записал в своем дневнике: «Недавно был любопыт[ный] разговор о рев[олюционерах-] демократах — в связи с дневником Добролюбова (кот[орый] в Гослитиздате собираются издавать с купюрами: на днях было бурное собрание в Гослитиздате, где все 5 членов редколлегии + Бухштаб + я доказывали вред — особенно политический — купюр, но Гослитиздат[ское] начальство — Щипунов — стойко стоял на своем. 5 членов решили писать в ЦК письмо»[158]. Ханжеский дух 1960—1970-х годов не только блокировал полное, без купюр, издание дневников Добролюбова, но и делал невозможным публикацию писем Терезы Грюнвальд.

Показательно, что сам критик предвидел подобную реакцию на чрезмерную интимность своих излияний. В дневнике 1857 года, описывая испытанный им приступ сексуального возбуждения и «истерики» после прочтения рассказа Тургенева «Три встречи» и мыслей о Машеньке, Добролюбов как будто обращался к потомкам:

> «Ну, зачем я написал эти строки? Ведь, может быть, их прочтет кто-нибудь и, полный целомудренного идеализма, с отвращением сделает гримасу и пожалеет о человеке, у которого не могло остаться чистым даже одно из святейших, высоких, редких мгновений — мгновение сердечного увлечения искусством... Ну, пусть строгие ценители и судьи найдут неприличным мое замечание; физиологический факт всё-таки остается. Кстати, вспомнил я слова Разина (журналист и педагог, знакомый Добролюбова. — *А. В.*), который уверял меня, что стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..." написано в минуты самого гадкого разгула в одном из мерзких домов... Прежде я не хотел верить этому, но теперь не вижу в этих двух вещах особенной несовместимости»[159].

Подобных судей Добролюбова в XX веке нашлось немало. Но важно другое: как он оправдывает себя, какие доводы для этого использует. В этой цитате встает в полный рост центральное противоречие короткой добролюбовской

жизни — разрыв между «духом» и «плотью», идеями и желаниями, идеалом и действительностью, литературой (Лермонтов) и жизнью (разврат).

Рассказывая об отношениях Добролюбова и Терезы, мы будем постоянно цитировать небольшие записочки и более пространные письма, уникальные не только потому, что повествуют о любовной и бытовой стороне жизни критика, но и потому, что для русской литературы и истории середины XIX века это единственный документ такого рода — личные письма проститутки, в подробностях описывающей повседневный быт, нехитрые увеселения, болезни и хвори, эмоции, попытки изменить свою жизнь, горькие мытарства и нужду, фантазии и мечтания. Всё это читатель хорошо представляет себе по колоритным героиням романов Достоевского — Сонечке Мармеладовой из «Преступления и наказания» и Лизе из «Записок из подполья». Когда читаешь наиболее эмоциональные страницы писем Грюнвальд, невозможно не увидеть ее сходства и в то же время различия с героинями Достоевского. Тереза Карловна, конечно же, не обладала столь сильной натурой и характером. Скорее это была несчастная, но прагматичная женщина, отчаянно стремившаяся при помощи Добролюбова любыми способами (даже прибегая ко лжи) вырваться из затянувшего ее круга, но реализовавшая эту возможность лишь отчасти.

В самом конце 1856 года в жизни Добролюбова произошло событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую короткую жизнь. Судя по дневнику 1857 года (дневник за предыдущий год не сохранился), в ноябре—декабре 1856-го студент четвертого курса стал минимум раз в месяц посещать некую «Машеньку» — проститутку, предлагавшую свои услуги на частной квартире. Уже к середине 1857 года Добролюбов регистрировал в дневнике сильное, перерастающее в любовь чувство к ней. Именуя ее в дневниках Машенькой, в переписке с Чернышевским Добролюбов называет ее Терезой Карловной Грюнвальд, и по ее чудом сохранившимся письмам к «Колиньке» мы знаем, как писались ее имя и фамилия на родном ей немецком языке: Therese Grünwaldt.

Почему же она Машенька, если из документов мы знаем, что ее имя Тереза Грюнвальд? Еще А. П. Скафтымов, комментируя в 1936 году роман Чернышевского «Пролог», в котором прототипом Левицкого с его многочисленными возлюбленными был Добролюбов, небезосновательно предположил, что Машенька и Тереза — одно и то же лицо.

Грюнвальд, следуя широко распространенной как среди посетителей, так и среди обитательниц домов терпимости практике, придумала себе подставное имя и первое время, до того, как между ней и Добролюбовым возникло сильное чувство, не сообщала «клиенту» настоящее; вероятно, это продолжалось до конца 1857 года или начала 1858-го, пока они не стали жить вместе. Кроме того, в дневнике Добролюбов упоминает, что Машенька называла его «Васенькой» — именем также вымышленным, конспиративно-игровым. Да и другие студенты «ходили к ней... по обыкновению скрывая свое имя»[160].

Их встречи были нечастыми, но регулярными уже в январе 1857 года, за полгода до окончания Добролюбовым педагогического института. Так, ночь на 6 января Добролюбов провел у Машеньки и 7-го числа оставил в дневнике первую пространную и весьма рефлексивную запись, которая заслуживает быть приведенной почти полностью:

> «Но нельзя не согласиться, что плохое ремесло публичной женщины у нас в России. Они все необразованны, с ними говорить о чем-нибудь порядочном трудно, почти невозможно, и вот заходят к ним франты на полчаса... кончат свое дело и уйдут... Обращение при этом гораздо хуже, конечно, чем с собакой, которую заставляют служить, и подходит разве к обращению с извозчиками, крепостными лакеями и т. п. И всего ужаснее в этом то, что женский инстинкт понимает свое положение, и чувство грусти, даже негодования, нередко пробуждается в них. Сколько ни встречал я до сих пор этих несчастных девушек, всегда старался я вызвать их на это чувство, и всегда мне удавалось. Искренние отношения устанавливались с первой минуты, и бедная, презренная обществом девушка говорила мне иногда такие вещи, которых напрасно стал бы добиваться я от женщин образованных. Большею частью встречаешь в них горькое сознание, что иначе нельзя, что так их судьба хочет и переменить ее невозможно. Иногда же встречается что-то вроде раскаяния, заканчивающегося каким-то мучительным вопросом: что же делать? Признаюсь, мне грустно смотреть на них, грустно, потому что они не заслуживают обыкновенно того презрения, которому подвергаются»[161].

В этом размышлении Добролюбова просвечивает не только личный опыт общения с «падшими созданиями», но и литературно-культурный миф о спасении образованным человеком проститутки, пришедший в Россию в 1840-е годы

из французской культуры и отразившийся в таких знаменитых и скандализировавших публику текстах, как «Когда из мрака заблужденья...» Н. А. Некрасова и «Записки из подполья» Достоевского. «Тогда писатели выказывали большое сочувствие к женскому вопросу тем, что старались опоэтизировать падших женщин, “Магдалин XIX века”, как они выражались», — вспоминала Авдотья Панаева, которая состояла в открытой связи с Некрасовым, будучи супругой Ивана Панаева.

Добролюбов также отдал дань этому мифу, сначала теоретически — в дневнике и стихотворениях, потом — пытаясь претворить его в реальность. Но для начала нужно было полностью оправдать проституцию и вывести ее из запретного поля:

> «Собственно говоря, их торг чем же подлее и ниже... ну хоть нашего учительского торга, когда мы нанимаемся у правительства учить тому, чего сами не знаем, и проповедовать мысли, которым сами решительно не верим? Чем выше этих женщин кормилицы, оставляющие собственных детей и продающие свое молоко чужим, писцы, продающие свой ум, внимание, руки, глаза в распоряжение своего секретаря или столоначальника, фокусники, ходящие на голове и на руках и обедающие ногами, певцы, продающие свой голос, то есть жертвующие горлом и грудью для наслаждения зрителей, заплативших за вход в театр, и т. п.? И здесь, как там, вред физиологический, лишение себя свободы, унижение разумной природы своей... Разница только в членах, которые продаются... Но там торговля идет самыми священными чувствами, дело идет о супружеской любви!.. А материнская любовь кормилицы разве меньше значит?.. А чувство живого, непосредственного наслаждения искусством — разве не так же бессовестно продавать? Певец, который тянет всегда одинаково, всегда одну заученную ноту, с одним и тем же изгибом голоса и выражением лица — и притом не тогда, когда ему самому хочется, а когда требует публика, актер, против своей воли обязанный смешить других, когда у него кошки скребут на сердце, — разве они вольны в своих чувствах, разве они не так же и даже еще не более жалки, чем какая-нибудь Аспазия Мещанской улицы или Щербакова переулка? Эти по крайней мере не притворяются влюбленными в тех, с кого берут деньги, а просто и честно торгуют... Разумеется, жаль, что может существовать подобная торговля, но надобно же быть справедливым... Можно жалеть их, но обвинять их — никогда!»[162]

Впечатление о добродетельности и благородстве Добролюбова в этом отрывке создается за счет искусной риторики[163]; и напрасно думать, что он всегда испытывал к «падшим созданиям» описанные здесь эмоции. Частые контакты критика с «девушками из разряда Машенек», отразившиеся в дневниках и письмах, показывают, как мы увидим далее, что Добролюбов мог быть грубым, эгоистичным, вероломным и лишь для самого себя выстраивал сложную систему этических оправданий. Ему было необходимо идеологически и психологически снять конфликт между низменностью плотских желаний, находящих удовлетворение в объятиях проститутки, и тщеславным ощущением своего высокого призвания, чистоты помыслов. Добролюбов проходил типичный путь бедного провинциала в столице, которому практически негде познакомиться с благородной девушкой, потому что он учится в закрытом учебном заведении. Дневники критика пестрят упоминаниями о знакомых студентах, регулярно посещающих женщин легкого поведения и, вероятно, подсказавших ему, куда следует поехать.

Тем не менее в процитированном отрывке впервые проявляется приверженность Добролюбова новой этике любви. Показательно, что она была глубоко выстраданной и новой для него самого, потому что за два года до этого он придерживался совсем иных, традиционно-консервативных взглядов на падших женщин. Об этом он писал двоюродному брату Михаилу Благообразову, отговаривая его жениться на женщине с сомнительной репутацией:

> «Неужели готовится тебе прочное семейное счастие с той, которая недавно еще *нанималась* расточать свои ласки каждому приходящему? <...> Можешь ли ты ожидать, что тебе верна будет та, которая уже решилась продать свою невинность чужим и, между прочим, тебе самому? <...> Я не скажу тебе, что бесчестно жениться на солдатке... не буду утверждать, что всякая б... есть чудовище человеческого рода. Но я тебе говорю, что она не может верно хранить супружеских обязанностей. <...> С сокрушением сердца я тогда отрекусь от тебя, как отречется и всё общество»[164].

Стараясь внешне соблюсти принцип гуманности и милосердного отношения ко всем без исключения «падшим», Добролюбов тем не менее крайне агрессивно отстаивал в этом письме традиционные социальные и гендерные роли,

которые предписывают женщине не иметь связей до брака. Тем же представлением пронизана дневниковая запись следующего дня:

> «Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо. Беда, если я встречу теперь хорошенькую девушку, с которой близко сойдусь (разумеется, не из разряда Машенек), — влюблюсь непременно и сойду с ума на некоторое время. Итак, вот она начинается, жизнь-то... Вот время для разгула и власти страстей... А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что уже я пережил свои желания и разлюбил свои мечты...»[165]

Вспоминая в финале пушкинские строки, Добролюбов противопоставлял свой книжный опыт осязаемому богатству реальных любовных ощущений, которые принесла в его жизнь Тереза. Но эти чувства в его сознании всё равно оказываются лишь суррогатом, временной заменой «настоящей» любви к женщине благородной, с хорошей репутацией, с которой только и возможен полноценный брак. Хорошо видно, как противоречиво мировоззрение Добролюбова в «женском вопросе» и как медленно происходят в нем изменения в сторону доктрины эмансипации — освобождения от предрассудков, чего он так страстно желал.

Словно бы реализацией мечты Добролюбова полюбить чистую девушку выглядит его впечатление от новой ученицы — пятнадцатилетней Натальи Татариновой, которой он как раз в это время начал давать уроки словесности, грезя о «чистых» любовных отношениях с ней, как бы компенсируя свой «плотский» роман с Терезой[166]. Для Добролюбова, судя по дневникам, была характерна постоянная тяга к особому, аристократическому типу женской красоты, но из-за недоступности идеала критик был вынужден удовлетворять свои желания с такими женщинами, как Тереза. Как заметила литературовед Ирина Паперно, «страсти новых людей делились между миром падших женщин, которых они пытались спасать и перевоспитывать, и обществом светских женщин — блестящих, соблазнительных и недоступных»[167]. Это мучившее Добролюбова раздвоение привело к тому, что в какой-то момент он стал идентифицировать себя с Чулкатуриным — героем тургеневского «Дневника лишнего человека» (1850):

«А в самом деле — какое ужасающее сходство нашел я в себе с Чулкатуриным... Я был вне себя, читая рассказ, сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история. Чувства, подобные чувствам Чулкатурина, на бале мне приходилось не раз испытывать»[168].

Хотя по сюжету Чулкатурин и не ездил к «Машенькам», он страдал от трагической неудовлетворенности из-за того, что героиня предпочла ему князя, а после его бегства — невзрачного княжеского протеже Бизметенкова. Типологически образ Чулкатурина предвосхищает многие черты «подпольного человека» — героя «Записок из подполья» Достоевского, в которых тема спасения падших женщин будет полемически подвергнута критике и переосмыслена.

Дневниковые записи о «чистой» красоте Татариновой соседствуют со «скабрезными» деталями добролюбовских визитов к Грюнвальд. Дневник хранит откровенные записи о том, как Тереза принимала его и других «клиентов» (бывало, те ее били) на квартире «тетки» — мадам Битнер, собравшей под одной крышей сразу несколько девушек (помимо Терезы — Сашу и Олю) и, очевидно, взимавшей с них неплохой процент. Добролюбов откровенно описывает свое влечение не только к Терезе, но и к Саше:

«Машенька бывала удивительно хороша в ночном наряде или вовсе без наряда, особенно когда нега сладострастия показывалась на ее обычно скромном лице...»

«Ее (Саши. — *А. В.*) красота принадлежит к разряду аппетитных, и я действительно не мог противиться ее прелестям. Если бы со мной были деньги, я бы, может быть, теперь же остался у ней. К счастью, судьба меня избавила от искушения»[169].

Похождения Добролюбова продолжались до февраля 1857 года, когда произошел драматический переход Терезы в дом терпимости — «бардак», как Добролюбов именует его в дневнике (это слово, купированное во всех советских изданиях, восстановлено по оригиналу[170]). Чтобы вернуть Битнер долги за квартиру, она вынужденно поступила в публичный дом мадам Бреварт, располагавшийся в доме Михайлова на Екатерингофском проспекте и слывший известным местом на карте петербургской проституции[171].

Добролюбову пришлось приложить изрядные усилия, чтобы отыскать Терезу на новом месте. Их свидание было напряженным и даже мелодраматичным. Он настаивал, чтобы Грюнвальд как можно скорее покинула дурной дом:

> «"Здесь ты должна идти с тем, с кем мадам прикажет..." Сказавши это, я отвернулся к окну и стал разглядывать занавеску... Вдруг слышу — мне на руку падает горячая слеза, потом другая, третья... Я взглянул Машеньке в лицо — она неподвижно смотрит на дверь и плачет... Этому уж я, конечно, не в состоянии противиться, хотя и знаю очень хорошо, что на эти слезы смотреть нечего, что это так только — одна минута... Я принялся утешать Машеньку словами и поцелуями и наконец начал упрашивать, чтобы она не сердилась на меня, на что она отвечала мольбами ходить к ней... "А то я совсем опущусь, — говорила она каким-то сосредоточенно-грустным тоном, — пить стану..." <...> Я решился во что бы то ни стало помириться с ней и спасти ее, если возможно»[172].

Добролюбов, однако, не стал чаще ездить к Терезе: в начале февраля он почувствовал симптомы заболевания, как ему казалось, вызванного отношениями с подругой. После консультаций со знакомым студентом-медиком Добролюбов несколько успокоился, так как болезнь либо «оказалась вздором», либо быстро прошла[173].

По косвенным данным, можно предполагать, что худшие условия у Бреварт и возраставшее взаимное чувство привели к тому, что в середине 1857 года произошло никак не документированное «спасение» Грюнвальд: Добролюбов, возможно, выкупил ее из дома терпимости (то есть оплатил ее долг «хозяйке»); возможно также, что они начали совместную жизнь, как Добролюбов обещал ей в мае: «Дошло до того, что я решился с сентября месяца жить вместе с ней и находил, что это будет превосходно. Я даже сказал ей об этом, и она согласилась с охотой...»[174] В письме приятелю Александру Златовратскому в июне 1857-го Добролюбов намекал, что ему крайне нужны деньги, поскольку от них зависит теперь его «прочное счастие, которого достанет, может быть на несколько лет моей жизни»[175]. Чернышевский не без основания полагал, что речь в этих строках идет об уплате мадам Бреварт долга Терезы. Как бы то ни было, как протекала их совместная жизнь на раннем этапе, сказать трудно, ибо никаких источников конца 1857 года не сохранилось.

Судьба «спасенной» Грюнвальд нетипична для падшей женщины середины XIX века. Судя по записи в дневнике Добролюбова («...недавно промышляет»[176]), Тереза стала заниматься проституцией в 17—18 лет, в 1857 году ей было около девятнадцати. Отсюда можно предполагать, что родилась она в 1838 или 1839 году, то есть была чуть младше Добролюбова. Происходила девушка, судя по всему, из петербургских немцев, так как неплохо знала русский язык и в своих письмах 1860 года из Дерпта (современный Тарту, Эстония) ни разу не обмолвилась о каких бы то ни было связях с Остзейским краем. Более того, по свидетельству Чернышевского, в судьбе Терезы поначалу ничего не предвещало печального поворота:

> «Ее история (кстати) романична: до 12 лет она хорошо воспитывалась, изобильно жило ее семейство, потом стало [беднеть]. Расспрашивать ее об этом не годится — это больно ей: родные мерзко поступали с ней — очень, очень. Это я знаю не по ее только рассказам, а также и от Добролюбова, который мне никогда не лгал»[177].

Следы воспитания Грюнвальд проявляются в том, что она часто читала, хорошо знала немецкий: большинство ее писем написано на нем довольно гладко, без грубых ошибок. Кроме того, Тереза обладала вполне развитым внутренним эмоциональным миром, была склонна к рефлексии и к обсуждению в письмах своих переживаний. Согласно статистике известного дореволюционного исследователя проституции доктора Петра Евграфовича Обозненко, 48,8 процента проституток были грамотны, но лишь 0,8 процента имели среднее образование[178]. На фоне этих показателей случай Грюнвальд выглядит совершенно нетипичным. Ситуация чуть меняется, если посмотреть на Терезу с учетом этнического и сословного происхождения (немка и, по-видимому, мещанка). По статистике, приводимой Михаилом Григорьевичем Кузнецовым, в 1853—1858 годах среди проституток Петербурга мещанки составляли 16,63 процента, а большинство принадлежало к крестьянкам; доля немок достигала примерно 20 процентов[179]. В таком контексте немка Грюнвальд более органично вписывается в столичный фон.

Поскольку первые сохранившиеся письма Терезы датируются летом 1858 года, то ранний этап ее отношений с Добролюбовым (1857 год) отразился лишь в дневниках

(последняя из сохранившихся дневниковых записей, связанная с Машенькой, относится к 13 июля 1857 года) и стихотворениях Добролюбова. По ним-то нам и придется их реконструировать.

Роман в стихах

У Тютчева был «денисьевский» цикл стихотворений, у Некрасова — «панаевский». У Добролюбова — «грюнвальдский». Слово «цикл» здесь — не более чем метафора, взятая для удобства. В строгом понимании термина никакого скомпонованного самим автором цикла стихотворений, обращенных к Терезе, не существует. Между тем можно с уверенностью утверждать, что около тринадцати стихотворений так или иначе связаны с Грюнвальд:

«Я пришел к тебе, сгорая страстью...» (31 января 1857 года);

«Многие, друг мой, любили тебя...» (14 апреля 1857 года);

«Напрасно ты от ветреницы милой...» (27 мая 1857 года);

«Не диво доброе влеченье...» (2 июня 1857 года);

«Сделал глупость я невольно...» (3 июня 1857 года);

«Я знаю всё: упала ты глубоко...» (15 июля 1857 года);

«Я к милой несусь по дороге большой...» (26 июля 1857 года);

«Тоской бесстрастия томимый...» (4 июля 1858 года);

«Ты меня полюбила так нежно...» (31 июля 1858 года);

«О, как безумен я в своих капризах странных...» (31 июля — 1 августа 1858 года);

«Рефлексия» (13 августа 1858 года);

«Пала ты, как травка полевая...» (13 августа 1858 года);

«Не в блеске и тепле природы обновленной...» (1860—1861 годы).

«Около тринадцати», потому что зачастую сложно определить адресата стихотворений. Отсюда — повод для множественных интерпретаций. В таком случае любовное стихотворение может заключать обобщенный образ, вбирающий личности сразу нескольких реальных «подруг» Добролюбова, а в перечень текстов, которые потенциально могут быть навеяны чувствами к той или иной женщине, вовлекается большое количество стихотворений, где отыскивается хотя бы один намек на конкретное лицо.

Задаваясь вопросом, какие стихотворения адресованы именно Грюнвальд, биограф сразу же сталкивается с не-

возможностью однозначной интерпретации некоторых текстов. Так, например, первое заявленное в цикле стихотворение «Я пришел к тебе, сгорая страстью...» представляет собой интересный случай, когда без биографического комментария произведение становится непонятным и может получить неверное прочтение (курсивом мы выделили двусмысленные строки):

Я пришел к тебе, сгорая страстью,
Для восторгов неги и любви...
Но тобой был встречен без участья,
И погас огонь в моей крови.

Мне в глаза лукаво улыбаясь,
Равнодушно ты сказала мне:
«Я гостей сегодня дожидаюсь,
Нам нельзя побыть наедине...»

Слов твоих я скрытый смысл увидел,
На тебя с презреньем посмотрел...
В этот миг тебя я ненавидел,
Знать тебя я больше не хотел...

Но с улыбкой нежною и ясной
Ты сказала: «Завтра ты придешь?..»
И призыв ласкающий и страстный
Бросил в краску вдруг меня и в дрожь.

Я приду, приду, о друг мой милый,
Для восторгов неги и любви...
Голос твой какой-то чудной силой
Вновь огонь зажег в моей крови[180].

Дневниковая запись от 31 января 1857 года объясняет подоплеку этого текста. Добролюбов повествует о своем визите на квартиру, где жила Машенька с еще двумя «падшими» подругами — Сашей и Юлией. Машеньку автор в этот раз не застал и в ожидании ее завел разговор с Сашей, или Александрой Васильевной, тоже оказавшейся немкой. Однако Саша неожиданно была позвана на «визит»:

«...в это самое время пришла посланная от Машеньки, что она прийти не может и просит зайти в другое время, а Саша мне сказала как-то особенно ласково: “Так приходите, пожалуйста, к нам. Когда вы придете?..” Меня это ужасно взволновало... Я обещал прийти к ней и вместе с

ней сошел с лестницы... На прощанье мы пожали друг другу руки и поцеловались. Всё это было необыкновенно глупо и пошло. Тем не менее я не чувствую ни малейшего следа раскаяния и даже сочинил потом доро́гой стихи:

Я пришел к тебе, пылая страстью,
Для восторгов, неги и любви.

Это уж из рук вон... <...> Что за пошлый разговор вели мы с ней!.. Это ведь хоть в гоголевскую повесть»[181].

Здесь всё указывает на то, что в стихотворении говорится о беседе с Сашей. Однако если мы исключим из нашего знания эту дневниковую запись, никакие детали в тексте самого стихотворения не указывают именно на Сашу, а не на Машеньку. Без знания дневникового контекста трудно понять, о каком «скрытом смысле» («Слов твоих я скрытый смысл увидел, / На тебя с презреньем посмотрел») идет речь и почему ожидание гостей («Я гостей сегодня дожидаюсь...») вызывает презрение у лирического героя. Таким образом, ситуация, в которой часто оказывался Добролюбов, приходя как клиент на квартиру Машеньки, становится «обобщенной», а стихотворение, адресованное, казалось бы, совершенно определенному лицу, вбирает в себя опыт общения с несколькими проститутками.

Парадоксальность ситуации еще и в том, что Добролюбов, как явствует из дневниковой записи, втягивается в эти отношения «купли-продажи» женского тела; как он пишет далее, если бы у него были в тот момент деньги, он бы воспользовался приглашением Саши. Эта возможность представилась ему 3 февраля. Дневник повествует, что Добролюбов, воспользовавшись приглашением Саши, провел одну из ночей в квартире, где она жила с Юлией, Олей и со своей «хозяйкой». Ночью Добролюбов не мог заснуть и пошел к Оле, но она сначала не захотела провести с ним ночь и стала жаловаться Саше, уединившейся с «купчиком» в соседней комнате:

«Саша упрашивала его остаться, уж я не знаю, *из чистой ли любви к нему*, из боязни ли, чтобы я чего-нибудь не наделал ей в сердцах, по его уходе... Одну минуту хотелось мне поднять гвалт, и поссорить Сашу с ее любовником, но это было только на минуту... Я скоро проникся гуманными побуждениями... и успокоил себя таким резо-

нерством: что ж, ведь она живет им; она мне сказала *о нем заранее; я знал, что она торгует собой, а не увлекается каким-нибудь чувством...* Какое же я имею право сердиться и предъявлять свои претензии?.. <...> Между тем *страсть томила меня*, несмотря на резонерство; *за перегородкой раздавались поцелуи*, Оля представлялась мне очень, очень свеженькой и хорошенькой»[182].

Этот эпизод через год нашел отражение в стихотворении Добролюбова «Рефлексия»:

Вдруг донеслися до меня
Из-за перегородки тонкой
И речи, полные огня,
И поцелуй, и хохот звонкий.

Потом всё стихло. Свет потух.
Лишь напряженное *дыханье*,
Да *шепот* проникал в мой слух,
Да заглушенное *лобзанье...*

Я знал их. Как я с ней, сошлись
Они случайно, но влеченью
Сердец беспечно предались,
Без дум, без слез, без опасенья[183].

Описанное в этом стихотворении свидание двух влюбленных, лексически во многом восходящее к фетовскому стихотворению «Шепот, робкое дыханье...» с пушкинской реминисценцией («Без дум, без слез, без опасенья...»), отличается яркими подробностями, скорее всего, навеянными реальными впечатлениями.

Это стихотворение, наряду с еще одним — «Напрасно ты от ветреницы милой...» — редкий для Добролюбова случай, когда содержание произведения находит пояснение в дневнике.

Напрасно ты от ветреницы милой
Ответа ждешь на гордое письмо:
Она знакома с собственною силой,
Бессилие ж твое сказалось ей само.

Поверь, твои отчаянные строки
Она с улыбкою небрежною прочтет,
И жалобы твои, угрозы и упреки —
Спокойно всё она перенесет.

Она увидит в них порыв любви несчастной,
Порыв отчаянья и ревности твоей,
И будет ждать, когда с мольбою страстной
За примиреньем сам ты явишься пред ней...

И ты придешь с тоской своей влюбленной,
К ногам прекрасной робко ты падешь,
И, ласковой ее улыбкой оживленный,
Забывши всё, к груди ее прильнешь...

Двадцать шестого мая случилась ссора, которую Добролюбов описал в дневнике. Тереза попросила Николая подарить ей фотографический портрет, который он собирался отослать сестре в Нижний, а после отказа обиделась, устроила сцену, и гость ушел. На следующий день он не выдержал и послал ей примирительное письмо; не получив ответа, он бросил всё и побежал к Терезе[184].

Если же смотреть на стихотворения 1857 года как на свидетельства первого и, очевидно, наиболее страстного и счастливого этапа отношений Добролюбова с Грюнвальд, то бросается в глаза ключевой мотив — спасение. Набирающее силу чувство аранжируется шаблонными метафорами страсти и огня: «Я пришел к тебе, сгорая страстью, / Для восторгов неги и любви... / Но тобой был встречен без участья, / И погас огонь в моей крови».

Инструментом, движущей силой «спасения» героини выступает любовь, а не жалость и сострадание:

Но ты, мой друг, мой ангел милый,
На мой призыв отозвалась;
Любви таинственною силой
Ты освятилась и спаслась.

(«Не диво доброе влеченье...»)

Стихотворения 1857 года завершаются словами о «гибельной любви», которая получит неожиданное развитие через год, когда отношения любовников достигнут кульминации. Огонь и страсть в крови героя уступят место тоске, смирению, томлению. Кратковременное чувство, охватившее его, быстро исчерпает себя. Лирический герой обнаружит пропасть между плотским и духовным началами, считая себя порочным и развратным (вспомним процитированное в первой главе юношеское стихотворение «Дух и плоть»).

Гейне и свободная любовь

Любовь Добролюбова к Грюнвальд вполне ожидаемо отразилась на направлении его поэзии. Рефлексивная, сатирическая и политическая лирика, о которой шла речь выше, в 1857 году внезапно отходит на второй план, уступая место любовной. Однако, прежде чем Добролюбовым был выработан собственный язык описания сильной страсти, ему нужны были посредники: по его стихотворениям конца 1856-го — начала 1857 года хорошо видно, что таким посредником в лирическом осмыслении его романа с Грюнвальд стал едва ли не самый популярный немецкий поэт той эпохи Генрих Гейне, поэтическая слава которого после его смерти в 1856 году достигла апогея, особенно в России, где его переводили еще в 1840-е годы Фет, Григорьев, Огарев, Миллер и др. С 1858 года русские издатели начинают выпускать самые известные сборники поэта — «Книгу песен» и «Новые стихотворения»[185].

Не остался в стороне и Добролюбов, также взявшийся переводить Гейне. По воспоминаниям поэта и переводчика Петра Исаевича Вейнберга, критик «обнаружил гораздо больше любви к лирическим произведениям Гейне, чем к социально-публицистическим. <...> Это обстоятельство как нельзя лучше опровергает довольно распространенное мнение относительно Добролюбова, будто бы совершенно отрицавшего чувство»[186]. При этом нужно иметь в виду, что сведения записаны со слов семидесятилетнего Вейнберга и отражают укоренившиеся к этому времени представления об аскетизме Добролюбова. Какую же роль на самом деле сыграла немецкая поэзия в его интеллектуальной жизни?

Переводы Добролюбова не всегда точны и удачны; если он и входит в историю русской «гейнианы», то совсем по другой причине — как поэт, увидевший в опытах Гейне подходящее средство для осмысления своих отношений с падшей женщиной. В таком контексте и следует рассматривать добролюбовские переводы, которые делались не для публикации, а по велению сердца. Добролюбов вообще не предполагал печатать свою лирику; тем более что не был переводчиком и, кроме Гейне, никого никогда не переводил.

Посмотрим, как это происходило.

За два года (1856—1857) Добролюбов перевел 24 стихотворения немецкого поэта. Первый толчок произошёл

еще в феврале 1856 года, когда были переведены два стихотворения из цикла «Лирическое интермеццо»: «Когда тебя схоронят, друг мой милый...» («Mein süßes Lieb, wenn du im Grab...») и «Из слез моих родится много...» («Aus meinen Tränen sprießen...»). Потом последовал годовой перерыв, а с января по июнь 1857 года Добролюбов переложил на русский еще 22 текста — преимущественно из «Книги песен». Однако первое проявление интереса к Гейне можно отодвинуть на первую половину 1850-х годов, когда Добролюбов переписал в специальную тетрадь пять стихотворений Гейне: «Гренадеры» (перевод М. Н. Каткова), «Друг, не смейся над лукавым...», «Месяц ведал, морей волны...», «Выбор» (все в переводе Ф. Б. Миллера), «Наша жизнь знойный день...» (перевод А. Я. Кульчицкого)[187]. Тексты были скопированы из журнала «Отечественные записки» (1842) и газеты «Московский городской листок» (1847) и находятся среди переписанных рукой еще семинариста Добролюбова стихотворений Пушкина, Некрасова, Баратынского, Беранже.

Подлинный же интерес к Гейне проснулся у Добролюбова только в 1857 году и сразу же подвергся рефлексии в дневниковой записи от 30 января:

> «Несколько дней уже я ношусь с Гейне и всё восхищаюсь им. Ни один поэт еще никогда не производил на меня такого полного, глубокого, сердечного впечатления. Лермонтова, Кольцова и Некрасова читал я с сочувствием; но это было, во-первых, скорее согласие, нежели сочувствие, и, во-вторых, там возбуждались все отрицательные... чувства... <...> Гейне не то: чтение его как-то расширяет мир души... У Гейне есть и... страшные, иронически-отчаянные, насмешливо-безотрадные пьесы... Но теперь не эти пьесы особенно поразили меня. Теперь с особенным, мучительным наслаждением читал и перечитывал я "Intermezzo". <...> Я чего-то жду страстно и пламенно и даже нахожу особенное удовлетворение в том, чтобы себя экзальтировать»[188].

В этой записи Добролюбов предстает отнюдь не рациональным юношей, но как будто бы читателем романтической эпохи, проецирующим литературные сюжеты на свой опыт ради усиления переживаний («чтобы себя экзальтировать»). Из отрывка ясно, что он перечитывает по-немецки «Книгу песен», куда входит «Интермеццо» (поскольку первый выборочный перевод вышел отдельным издани-

ем только в 1858 году[189]). Такой сильный эффект от стихов Гейне, конечно же, был связан с любовью к Грюнвальд, первые дошедшие до нас записи о которой датированы как раз январем 1857-го. Собственно, Добролюбов и ждал от этого романа большой страсти, новых и ярких переживаний, которые предвосхищались чтением Гейне («я чего-то жду страстно»).

Трудно однозначно определить, по какому принципу Добролюбов выбирал стихотворения из того или иного цикла. Из «Лирического интермеццо» переведено слишком мало (только четыре из шестидесяти пяти стихотворений), чтобы говорить о какой-то тенденции. Единичные переводы сделаны также из циклов «Новая весна», «Северное море» и «Страдания юности» (по одному). Из цикла «Возвращение на родину» переведено значительно больше — семнадцать из восьмидесяти восьми стихотворений. Видимо, этот цикл привлек Добролюбова неоднозначностью интонации и усложнением лирического сюжета, по сравнению с предшествующими «Страданиями юности» и «Лирическим интермеццо». В целом же переводы Добролюбова носили спонтанный характер, и их трудно свести к какой-то определенной переводческой стратегии, однако можно проследить некоторые закономерности.

Любовь, пережитая Добролюбовым зимой—весной 1857 года, тематически и эмоционально «освежила» его стихи. В уже цитированной дневниковой записи обозначены три поэта, определявшие в это время тематику и тональность его лирики — Лермонтов, Кольцов и Некрасов. Если в ранних текстах (1849—1853) Добролюбов в основном подражает первым двум, то к середине 1850-х годов его язык и образы всё больше определяются поэзией Некрасова, создавшего в эти годы целый ряд знаменитых стихотворений, вошедших в сборник 1856 года, разошедшийся мгновенно. Однако в 1857 году уже Гейне стоит у Добролюбова на первом месте и противопоставляется Лермонтову, Кольцову и Некрасову. Это «освежающее» действие сильных любовных переживаний отрефлексировано Добролюбовым в стихотворении «Еще недавно я неистовой сатирой...», написанном 17 февраля 1857 года — через три недели после дневникового признания в любви к немецкому поэту. Лирический герой решает отказаться от «неистовой сатиры», утомленный «цепным, бесплодным лаем» (отзвук его псевдонима «Лайбов»):

Я понял красоту! Душа полна любовью,
И места нет для ненависти в ней.
Мой стих запечатлен теперь не свежей кровью,
А разве тихою слезой любви моей.

....

Проклятий нет... Но подождите, братья!
Забывшись от любви, горя в ней, как в огне,
Прекрасную к груди своей стремлюсь прижать я...
Но — эти цепи видите ль на мне?..

Лишь только протяну я к ней мои объятья,
Как эти цепи страшно загремят...
Пугливо отбежит она... И вновь проклятья
На землю и на небо полетят[190].

Стихотворение — явный перепев знаменитого некрасовского «Замолкни, муза мести и печали...» (1855) с его финалом: «То сердце не научится любить, / Которое устало ненавидеть». У Некрасова стихотворение проникнуто мрачной элегической интонацией, не оставляющей места надежде. У Добролюбова все попытки лирического героя выработать гармоничный взгляд на мир в обнадеживающем зачине дискредитируются финалом. Прорыв, казалось бы, осуществленный под влиянием Гейне, снимается некрасовской интонацией. Однако в тот же день 17 февраля 1857 года, когда было написано это стихотворение, Добролюбов делает перевод стихотворения Гейне «Когда я вам вверял души моей мученья...» («Und als ich euch meine Schmerzen geklagt...»), где ощутим ключевой прием поэтики «Книги песен» — ирония:

Когда я вам вверял души моей мученья,
Вы молча слушали с зевотой утомленья.
Но в звучное я их излил стихотворенье,
И вы рассыпались в хвалах и восхищеньи[191].

Здесь слышится как самоирония, так и ирония над романтической ситуацией поэтического признания в любви, когда за восторженной реакцией героини на изысканные стихи скрываются фальшь и безразличие.

Более явственна ирония в добролюбовском стихотворении «Очарование» (5 апреля 1857 года). Здесь снова присутствует некрасовская ситуация борьбы ненависти и любви в душе лирического героя, причем любовь как будто побеждает:

Нигде мой взгляд не примечает
Пороков, злобы, нищеты,
Весь мир в глазах моих сияет
В венце добра и красоты.

Все люди кажутся братьями герою, который готов уже раскрыть им объятия, как вдруг

Мне говорят, я вижу плохо,
Очки советуют носить,
Но я молю, напротив, Бога,
Чтоб дал весь век мне так прожить[192].

Ироническая концовка содержит и конкретные биографические коннотации: Добролюбов был близорук, по поводу чего он рефлексировал в дневниках и что часто обыгрывалось в мемуарах о нем.

Помимо оригинальных текстов, в эти же дни, 5 и 6 апреля, Добролюбов сделал два перевода из Гейне: «В мраке жизненном когда-то...» («In mein gar zu dunkles Leben...») и «Стоял в забытьи я тяжелом...» («Ich stand in dunkeln Träumen...»). Можно привести еще ряд примеров того, как в один или ближайшие дни Добролюбов переводит очень разные по тематике и интонации тексты. Таким образом, связи между стихотворениями, заданные у Гейне их соотнесением внутри цикла, оказываются разрушенными. Эти переводы хорошо вписываются в «цикл» стихотворений, навеянных отношениями с Терезой, и начинают играть новыми отражениями. Так, например, коллизию «Очарования» и уже цитированного перевода «Когда я вам вверял души моей мученья...» находим в переводе «Кастраты все бранили...» (7 апреля 1857 года). Здесь обнажено противопоставление поэта, тонкого знатока чувства, искренне его выражающего, и певцов-кастратов, которым оно неведомо, но от песен которых дамы приходят в восторг.

В цикле «Возвращение на родину» Добролюбова привлекла не только ирония, направленная на разрушение романтических условностей. Он нашел здесь то, что искал, — пунктирно намеченную идею свободных отношений между мужчиной и женщиной. Именно этот пласт лирики Гейне не был принят многими русскими переводчиками и стал осваиваться только к концу 1850-х годов. Для Добролюбова в 1857-м этот вопрос стоял остро: он постоянно — в дневниках и стихотворениях — рефлексирует над своими «беззаконными» и рискованными отношениями с Терезой

Грюнвальд. Оправдание самого факта связи с проституткой потребовало от Добролюбова серьезных интеллектуальных и риторических усилий. Из приведенной выше дневниковой записи видно, что, по его мнению, «они (женщины легкого поведения. — *А.В.*) не заслуживают того презрения, которому подвергаются: «...их торг чем же подлее и ниже... ну хоть нашего учительского торга?»[193]

В стихотворениях, связанных с Терезой, наблюдается иная картина: созданный Добролюбовым лирический сюжет о спасении «падшей» развивается нетривиально — спаситель оказывается порочнее, чем спасаемая. Дневниковая и поэтическая реальности у Добролюбова не тождественны, но взаимодополняемы.

Таким образом, в контексте размышлений о Терезе и чувстве к ней открывается еще одна возможная причина пристального интереса Добролюбова к лирике Гейне — идея раскрепощения любви. У Гейне она присутствует, но не является доминантой. Наиболее явно она выражена в цикле «Разные» (1834) из книги «Новые стихотворения». Здесь любовь представлена во всём многообразии: по формам воплощения — платоническая, плотская и страстная; по возрасту — юношеская и зрелая; любовь вне норм — к куртизанке, к нескольким женщинам сразу. Добролюбов читал этот сборник, о чем свидетельствует его перевод стихотворения «Die holden Wünsche blühen...» («Цветут желанья нежно...») из цикла «Новая весна». У Гейне цикл «Разные» в целом продолжает поэтические принципы «Лирического интермеццо» и «Возвращения на родину», но ирония усиливается. Для примера приведем одно из самых иронических стихотворений сборника (перевод Поэля Карпа):

Всё выпито. Ужин окончился наш.
Изрядно хлебнули вина мы.
Задорно глядят, распуская корсаж,
Мои захмелевшие дамы.

Прекрасные груди и плечи у них, —
От страха мне холодно стало.
А дамы в постель забираются вмиг
И прячутся под одеяло.

И обе красавицы сладостно так
Одна за другой захрапели,
А я, озираясь, стою как дурак
У полога пышной постели[194].

Фривольность присутствует и у Добролюбова в «грюнвальдских» стихотворениях января—июня 1857 года: уже цитированного «Я пришел к тебе, сгорая страстью...» (31 января) и «Многие, друг мой, любили тебя...» (14 апреля), причем в трактовке очень щекотливых ситуаций.

Добролюбов сразу заметил тему раскрепощения любви в цикле Гейне «Возвращение на родину», где она намечена только в двух стихотворениях: № 73 («An deine schneeweiße Schulter...») и № 74 («Es blasen die blauen Husaren...»), образующих микроцикл. Оба они были переведены, соответственно, 4 и 6 февраля 1857 года:

№ 73

Ко груди твоей белоснежной
Я голову тихо прижал,
И — что тебе сердце волнует,
В биеньи его угадал.

Чу, в город вступают гусары;
Нам слышен их музыки звук.
И завтра меня ты покинешь,
Мой милый, прекрасный мой друг.

Пусть завтра меня ты покинешь;
Зато ты сегодня моя.
Сегодня в объятиях милой
Вдвойне хочу счастлив быть я.

№ 74

От нас выступают гусары,
Я слышу их музыки звук,
И с розовым пышным букетом
К тебе прихожу я, мой друг.

Тут дикое было хозяйство, —
Толпа и погром боевой...
И даже, мой друг, в твоем сердце
Большой был военный постой.

Сюжет двух взаимосвязанных стихотворений перекликается с сюжетом еще одного — «Многие, друг мой, любили тебя...» — и строчками «Я гостей сегодня дожидаюсь, / Нам нельзя побыть наедине». Впрочем, не только это указывает на повышенный интерес переводчика к этим текстам. Лишь они из всех двадцати четырех переводов Добролюбова были опубликованы им самим — вставлены в текст его статьи «Песни Беранже» (Современник. 1858. № 12), основной пафос которой состоял в закреплении взгляда на Беранже как на истинно народного поэта, а не только певца гризеток и политического памфлетиста. Для подтверждения прогрессивности взглядов Беранже на увлекающихся женщин Добролюбов приводит указанные

стихотворения Гейне в собственном переводе как прекрасную иллюстрацию полной свободы женщины в своем выборе:

> «В этом отношении на нас всегда производили сильное впечатление два стихотворения Гейне, составляющие, собственно, одно целое... Мы, кстати, приведем их здесь в переводе, который находится у нас под руками и который не был еще напечатан»[195].

Лирика Гейне, к которой Добролюбов проявлял устойчивый интерес, стала моделью для осмысления его переживаний, но не вызвала последовательного усвоения поэтических образов. Добролюбов усвоил лишь знаменитую иронию Гейне. И это не случайно. Поэтический язык для оригинальных текстов Добролюбов заимствовал у Некрасова, так как поэтический язык Гейне, специфика которого, по наблюдению Юрия Тынянова, состоит в игре взаимных отражений[196], оказался далеким от той степени рефлексивности, которая присуща добролюбовским автобиографичным текстам. Добролюбову это и было нужно: он искал подходящий способ «переработать» опыт своего «падения», переживая его полусерьезно и иронически. Так лирика Гейне снабдила русского подражателя и переводчика необходимыми для этого «ресурсами».

В восприятии же Добролюбова противоречия между разными ипостасями Гейне не было. Мысли и чувства, выражаемые в интимной лирике, были составной частью комплекса радикальных идей: Гейне как «барабанщик воинственного легиона молодых деятелей юной Германии» (так назван поэт в рецензии Добролюбова на его стихи, переведенные Михаилом Михайловым) должен был во всех смыслах «уснувших от сна пробудить». В приватной сфере в то же самое время Добролюбов-читатель оказывается страстным обожателем любовных повестей Тургенева, а Добролюбов-лирик пользуется поэтической фразеологией Фета, подражает Некрасову и вдохновляется Гейне.

История с Терезой Грюнвальд, возможно, не стоила бы столь подробного описания, если бы не повлекла за собой существенные изменения в мировоззрении Добролюбова. Столкнувшись с миром «дам полусвета» и обитатель-

ниц домов терпимости, Добролюбов очень быстро сменил брезгливое и дидактически-суровое отношение к ним на апологию проституции, которая в его глазах становится теперь символом социальной несправедливости и уравнивается с любой иной «продажей» себя — своего таланта или интеллекта. Новая концепция «падших», разумеется, полностью вписывалась в демократические воззрения начинающего критика и, более того, была подготовлена и чтением Фейербаха, и разговорами с Чернышевским конца 1856-го — начала 1857 года. Добролюбов неуклонно и очень быстро двигался к всё более радикальным взглядам, которые не отставали от передовой европейской повестки. Если внимательно прочитать публицистику и критику Добролюбова 1857—1861 годов, то в ней легко заметить следы новой концепции свободной любви, которую он начинает исповедовать во время романа с Терезой. Например, в статье «Песни Беранже» (1858) Добролюбов разделяет прогрессивные взгляды французского песенника на свободу выбора для женщины: «Это... гуманное признание того, как нелепы и бессовестны всякого рода принудительные меры в отношении к женскому сердцу. Беранже... не может унизиться до того, чтобы позволить себе презирать и ненавидеть женщину за то только, что она, переставши любить одного, отдалась другому»[197].

В более поздней статье «Луч света в темном царстве» (1860), о которой речь еще впереди, Добролюбов, споря с писателем и критиком Николаем Филипповичем Павловым, назвавшим героиню «Грозы» А. Н. Островского Катерину «падшей» и «безнравственной», доказывает обратное: она не падшая, а, наоборот, утвердившая естественную потребность своей натуры в любви и освобождении от насилия. Так от первого серьезного романа с Терезой протягивается нить к наиболее значимым статьям критика.

Свободная профессия

С конца июня до конца июля 1857 года Добролюбов был в Нижнем Новгороде, куда в следующий раз приедет только в 1861 году, незадолго до смерти. Три недели, проведенные на родине, были потрачены на общение с близкими, знакомство с Владимиром Далем, переписку с однокурсниками. По письмам этого времени хорошо видно: теперь мало что удерживало Добролюбова в родном городе,

где он квартировал у двоюродного брата Михаила Благообразова[198].

А в Петербурге его ждали Тереза (на обратном пути он даже написал стихотворение «Я к милой несусь по дороге большой...»), Чернышевский, многочисленные ученики и знакомые от литературы, которая составляла теперь смысл его жизни. «Я теперь довольно близок к некоторым литературным кругам»[199], — сообщил Добролюбов Благообразову еще в апреле 1857 года, а из Нижнего он писал своему наставнику профессору Измаилу Срезневскому: «...мне теперь уже, через неделю по приезде, делается страшно скучно в Нижнем. Жду не дождусь конца месяца, когда мне опять нужно будет возвратиться в Петербург. Там мои родные по духу, там родина моей мысли, там я оставил многое, что для меня милее родственных патриархальных ласк»[200].

Однако необходимо было еще побороться, чтобы остаться в Петербурге и иметь возможность работать на «Современник». Дело в том, что в выпускных документах, подготовленных инспектором института, Добролюбов характеризовался следующим образом: «...не сочувствует распоряжениям начальства, холоден в исполнении религиозных обязанностей, заносчив, склонен к ябеде, подвергался аресту»[201]. Директор института Давыдов полностью одобрил это (скорее всего, им и инспирированное) заключение, поскольку давно таил злобу на Добролюбова и ждал только повода отомстить ему за скандальную историю 1856 года: тогда Добролюбов с друзьями послал в газету «Санкт-Петербургские ведомости» анонимную заметку, что директор Давыдов был высечен своими студентами за казнокрадство и подлость; записка дошла даже до Александра II и наделала много шума в Петербурге[202].

Интриги Давыдова привели к тому, что, несмотря на высокие выпускные оценки Добролюбова, конференция Главного педагогического института на совещании вынесла решение определить его учителем в Тверскую гимназию, так как по правилам он должен был в течение восьми лет отработать свое бесплатное обучение[203]. Добролюбов, чтобы поправить дело, по совету своего наставника Срезневского добился разговора с Давыдовым, прося о назначении в петербургскую Ларинскую гимназию. Директор соглашался дать направление в 4-ю Петербургскую гимназию с условием, что выпускник изменит свое поведение. Добролюбов промолчал, а через день весь его курс был по-

ражен решением итоговой конференции; когда студенты узнали, что около десяти человек вместо звания старших учителей получили звание младших, «поднялся гвалт»[204]. Добролюбов по просьбе однокурсников сочинил протест на имя министра, за что снова был вызван к директору и отчитан, а среди его однокурсников Давыдов распространил слухи о бесчестье и ренегатстве Добролюбова, который якобы «валялся у него в ногах и просил прощения», выторговывая себе место в обмен на лояльность. Эта история дорого стоила Добролюбову: несколько прежде близких однокурсников отвернулись от него, поверив словам Давыдова; вплоть до 1859 года Добролюбов слал письма Николаю Турчанинову и Александру Златовратскому, снова и снова излагая мельчайшие детали этой истории и уверяя их в своей честности[205].

Параллельно скандалу с Давыдовым Добролюбов был вынужден вести и другую игру: чтобы обойти решение конференции и волю директора, ему пришлось нарушить субординацию и воспользоваться связями с крупными и благоволившими ему чиновниками. Еще 13 июня он подал просьбу товарищу министра народного просвещения князю П. А. Вяземскому прикрепить его сверх штата к любой из петербургских гимназий. Однако решающую роль в судьбе выпускника в тот момент сыграл гофмейстер князь А. Б. Куракин, который 14 июня также ходатайствовал перед министром А. С. Норовым и его заместителем П. А. Вяземским за учителя своих детей, прося оставить его при них для дальнейших занятий. Сразу же по возвращении в Петербург 30 июля Добролюбов дублирует просьбу Вяземскому разрешить ему остаться в столице и быть сверх штата причисленным к одной из гимназий «для занятий с учениками филологическими предметами»[206]. Только в середине августа дело разрешилось — в пользу Добролюбова: вместо распределения в Тверь выпускник был назначен домашним наставником к детям князя Куракина, о чем Вяземский уведомлял всех участников этой истории[207]. Служба эта, разумеется, была фиктивной, но позволила Добролюбову остаться в столице и заняться литературной деятельностью. У Куракиных он числился до мая 1858 года[208].

В начале августа Добролюбов нанял квартиру на Итальянской улице и принялся систематически писать рецензии для «Современника». Как происходило вхождение критика в состав редакции, мы рассмотрим в следующей главе.

Послесловием же к истории конфликта с Давыдовым стала статья Добролюбова в «Колоколе» 1858 года «Партизан Давыдов во время Крымской войны». Там в саркастической манере рассказывалось о подлостях директора института, который из желания выслужиться перед министром объявил, что студенты якобы настолько исполнены чувства патриотизма, что желают отправиться на театр военных действий. Так это было или нет, сейчас установить трудно. Зато по источникам достоверно известно, что в институте назревали другие проблемы: в 1855—1857 годах из-за некачественных продуктов и скудости питания смертность студентов существенно выросла. В итоге в 1859 году Главный педагогический институт был расформирован, а его воспитанники переведены в Санкт-Петербургский университет.

Глава третья

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА, «РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА»

«Современник» как «настоящее дело»

В 1857 году заработок Добролюбова существенно увеличился. В ноябре по протекции Чернышевского он стал постоянным сотрудником отдела библиографии и рецензий в «Современнике» и гарантированно получал от Некрасова 150 рублей в месяц, а иногда и сверх того[209]. Но и работы с этой осени сильно прибавилось — для каждого номера журнала Добролюбов писал сразу по несколько рецензий, а чуть позже — больших статей. В январе 1858 года Чернышевский добился для Добролюбова еще одной работы: по договору тот обязался вычитывать вторые корректуры журнала за 50 рублей в месяц. Несмотря на то что поначалу молодой корректор столкнулся с непредвиденными трудностями (не знал, например, как правильно транслитерировать на русский английские имена собственные[210]), дело спорилось. Начиная с 1858 года ежемесячный доход Добролюбова от работы в «Современнике» был около 200 рублей, а иногда достигал и трех сотен; кроме того, он продолжал давать уроки до самого отъезда за границу[211]. Более того, с 1859 года Добролюбов, будучи полноправным членом редакции, получил возможность брать из кассы журнала необходимые суммы в долг или в счет будущих гонораров. Так, в феврале ему было выдано 200 рублей. Эти суммы шли на самые разнообразные нужды: на покупку мебели для квартиры, на помощь Терезе Грюнвальд, на содержание перевезенных из Нижнего двоих младших братьев, на лечение в Старой Руссе, а потом в Европе. Всего за 1859 год из кассы «Современника» ему было выдано 4362 рубля 50 копеек. Возвратил он далеко не всё: к концу 1861 года, перед его смертью, долг журналу составлял около трех тысяч рублей[212], даже с учетом того, что финансовая ситуация в Нижнем постепенно улучшалась: летом 1856 года все

долги с отцовского дома были списаны, братья и сестры начали получать небольшой доход от сдачи его внаем[213].

Пока Добролюбов не печатал крупных статей в отделе критики, он болезненно воспринимал себя как литературного поденщика, вынужденного работать ради того, чтобы прокормиться и содержать многочисленную родню. Это самоощущение хорошо видно в письме Елизавете Никитичне Пещуровой от 7 мая 1858 года: «Я вовсе не стою в ряду писателей, приобретающих себе имя. Я принадлежу к тому безыменному легиону, на котором лежит черная журнальная работа, безвестная для публики. Я из числа тех, которые поставляют в журналы балласт, никогда и никем даже не разрезываемый, не только не читаемый. Мои статьи имеют *интерес* только для меня, потому что доставляют мне деньги»[214]. Если пользоваться современной терминологией, предложенной социологами культуры, Добролюбов разводит здесь экономический и символический капиталы. Его имя (символический капитал) пока оказывается отделенным от финансовой стороны его работы и не приносит ему дивидендов.

Журнальная карьера критика складывалась так, что до самой смерти он не мог подписываться полным именем и слава начала закрепляться за его псевдонимами «-бов» или «Лайбов», которые постепенно стали известны читающей публике. Иными словами, имя всё же начало приносить доход — но лишь потому, что Добролюбов быстро вошел в состав редакции «Современника» и имел «дивиденд» от прибыли журнала (например, за 1861 год он составлял пять тысяч рублей — сумму по тем временам довольно большую). Анонимность, судя по всему, переживаемая Добролюбовым довольно драматично, стала проблемой для его последователей и близкого круга. После смерти критика многие из них приложили немало усилий, чтобы конвертировать псевдонимы в репутацию и слить ее с фамилией Добролюбов. Для этого понадобилось в первую очередь издать собрание его сочинений, о котором речь пойдет ниже. Пока же вернемся к истории о том, как Добролюбову удалось занять основательное положение в редакции «Современника».

Еще в сентябре 1857 года Некрасов, довольный рецензиями молодого сотрудника, написал Тургеневу: «Читай в Современнике “Критику”, “Библиографию”, “Современное обозрение”, ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек

очень даровитый»[215]. Тургенев в ответном письме никак не прореагировал на пожелание друга, но о Добролюбове и его статьях в журнале он уже знал — заметил их еще в 1856 году: «Кто этот Лайбов? Статья весьма недурная». То же самое он сообщил Ивану Панаеву: «Статья Лайбова весьма дельна»[216]; осведомлялся у своих петербургских корреспондентов, литераторов братьев Колбасиных, по поводу первой большой статьи Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» (Современник. 1856. № 8/9). Другой же сотрудник «Современника» и приятель Некрасова, тонкий эстетический критик Василий Боткин, нашел статью о «Собеседнике» «сухой»[217].

В 1856 году редакторы журнала Некрасов и Панаев заключили с четырьмя писателями — Львом Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем — «обязательное соглашение» о их «исключительном сотрудничестве» в «Современнике»: те должны были публиковать свои сочинения только в нем, получая за это «дивиденд» — долю от чистой прибыли, остававшейся после покрытия всех расходов на издание журнала[218]. Так редакция «Современника» пыталась гарантировать бесперебойную поставку первоклассных текстов для отдела словесности. С началом царствования Александра II журнальная жизнь оживилась; каждый год открывалось сразу несколько журналов, и конкуренция значительно выросла. Новые журналы «Русский вестник» Каткова, «Русская беседа» славянофилов, не говоря уже о продолжающих издаваться «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения», требовали от одних и тех же авторов лучших произведений.

Действие «обязательного соглашения» не распространялось на отдел критики и библиографии. Там продолжали сотрудничать старые авторы «Современника» Василий Боткин, Александр Дружинин, Павел Анненков, сам Некрасов, Чернышевский. Последний всё больше выдвигался в глазах Некрасова. К концу 1855 года Анненков и Дружинин прекратили печататься в «Современнике», и только Боткин в 1855—1857 годах, в момент особенного сближения с Некрасовым, время от времени предоставлял журналу переводы и критику.

Уход «эстетов» был связан с тем, что заведование критическим отделом было поручено Чернышевскому. Отстаиваемая им предельно радикальная эстетическая позиция не вызывала у давних сотрудников журнала ничего, кроме раздражения. «Воняющий клопами господин», «Чер-

нушкин» (герой памфлетной пьесы Григоровича «Школа гостеприимства»), «семинаристская мертвечина»[219] — так презрительно именовался Чернышевский, а между тем в основном его статьи в 1855—1856 годах наполняли отдел критики. В 1856 году Боткин и Толстой предприняли попытку заменить Чернышевского на Аполлона Григорьева, что привело бы к радикальной смене эстетического направления журнала[220]. «Рокировка» не состоялась: и Некрасов, и даже Тургенев выступили с поддержкой курса Чернышевского. Тургенев писал Дружинину 30 октября 1856 года: пусть Чернышевский «плохо понимает поэзию» — «это еще не великая беда», «но он понимает... потребность действительной, современной жизни, в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования»[221]. В 1857 году, уезжая на лечение в Европу, Некрасов передал свой голос в обсуждении дел редакции Чернышевскому, несмотря на мелкие разногласия по тактическим вопросам. В вопросах же стратегии расхождений у них не было.

Как показал современный исследователь Константин Ключкин, решение Некрасова и Панаева сделать ставку именно на Чернышевского и Добролюбова, а не на эстетическую критику Боткина или Дружинина объясняется не столько их личными симпатиями или антипатиями или даже политическими убеждениями (Некрасов и Панаев не были радикалами и социалистами), сколько логикой развития журналистики и публичной сферы в ситуации гласности после Крымской войны. Еще с конца 1840-х годов, когда Некрасов выступил издателем «Физиологии Петербурга», «Петербургского сборника» и обновленного «Современника», многие друзья Белинского (например Тимофей Грановский и Константин Кавелин) обвиняли поэта в «торгашестве», неумении вести журнальное дело, непонимании того, как нужно выстраивать редакционную политику. Но в том-то и дело, что и тогда, и во второй половине 1850-х годов Некрасов, во-первых, заботился о подборе крепкой команды, позволившей бы ему не вникать в суть каждого материала, но полагаться на членов редакции. Во-вторых, избранная редактором демократическая идеология обладала в его глазах необходимыми гибкостью, подвижностью, повышенной полемичностью, критичностью по отношению к социальным недостаткам, научностью, которые ассоциировались в то время с представлением о самом передовом общественном течении и привлекали

весьма широкую аудиторию. Наконец, демократическая идеология оказалась крайне выгодна и с чисто экономической точки зрения, поскольку предполагала понижение статуса авторского имени критика или публициста на страницах журнала (анонимность) и, как следствие, уменьшение гонорарной ставки. Чтобы прокормиться, критик должен был писать для каждого номера очень много, чем Чернышевский с Добролюбовым и занимались[222].

Споря с Тургеневым, Некрасов (по словам Панаевой) объяснял свой выбор так: «Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то — сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего»[223].

Выбор Некрасова и Панаева принес «Современнику» множество подписчиков (в 1860 году его тираж достигал 6600 экземпляров, что было рекордом для толстого журнала того времени) и репутацию самого радикального ежемесячника[224].

С августа 1858 года Добролюбов оказался в самом центре литературной жизни России — в буквальном смысле, ибо переехал на квартиру главного редактора «Современника» Некрасова в дом Краевского на углу Литейного и Бассейной, где прожил почти два года, до конца июня 1859-го. Некрасов присоединил к своей квартире еще одну, трехкомнатную, и две ненужные ему комнаты предложил Добролюбову всего за 15 рублей в месяц при рыночной цене в 25 рублей. По воспоминаниям Чернышевского, это предложение Некрасов сделал после того, как побывал на съемной «сырой» и «дрянной» квартире критика и ужаснулся: «Так жить нельзя»[225].

Теперь, для того чтобы оказаться в редакции «Современника», Добролюбову достаточно было перейти в соседнюю квартиру. «Вот и я попал на литературное подворье», — шутил он, по воспоминаниям Панаевой[226].

По утрам Добролюбов приходил пить чай к рано встававшей Авдотье Яковлевне, которая потчевала молодого золотушного критика «чем-нибудь мясным». Затем Добролюбов и Некрасов обсуждали корректуры и рукописи, проводя вместе почти каждое утро, а иногда и вечер. Кроме

того, к 1859 году Некрасов постепенно вовлек Добролюбова в редактирование материалов отдела словесности, не допуская туда Чернышевского[227]. Это подтверждается многочисленными фактами: письмами Добролюбова начинающему прозаику Степану Славутинскому, рассказы которого критик продвигал в редакции, или, например, письмом Некрасова Островскому с похвалой его пьесе, понравившейся и Добролюбову[228]. Наконец, они вместе сочиняли пародии для «Свистка» — сатирического приложения к «Современнику». Важная роль Добролюбова в редакции выявилась летом 1859 года, когда Некрасов уехал на охоту, Панаев — на дачу, а Чернышевский — в Лондон: именно Добролюбов вел тогда все дела редакции[229].

Неудивительно, что в письме институтскому приятелю Ивану Бордюгову от 28 июня 1859 года Добролюбов с гордостью отмечал: «...он («Современник». — *А. В.*) для меня всё более становится настоящим делом, связанным со мною кровно. Ты понимаешь, конечно, *почему*...»[230] Кровная связь с изданием выражалась прежде всего в том, что Добролюбов стал иначе понимать смысл журнальной работы. Если в 1857 году он жаловался Пещуровой на «отчужденный» характер литературного труда, то к 1859-му убедился в том, что журнальное поприще и есть то «общее» и единственное верное дело, которое он должен делать ради достижения всеобщего блага. Важную роль в выработке такого понимания сыграл Чернышевский. Мы уже говорили, что эстетические и политические взгляды младшего коллеги складывались под воздействием статей старшего, но решающее значение имело, конечно же, живое общение.

Несмотря на тесную связь Добролюбова с Чернышевским, их переписка дошла до нас далеко не полностью: из писем Добролюбова сохранились лишь одно послание 1858 года и несколько 1861-го. Можно предполагать, что Чернышевский, собирая материалы для биографии друга после его смерти, уничтожил слишком откровенные письма. Другое объяснение подобрать трудно, поскольку Чернышевский, как правило, сохранял всю входящую корреспонденцию. Впрочем, можно предположить, что эпистолярий Добролюбова мог быть изъят при аресте Чернышевского в 1862 году.

Сразу же после знакомства Чернышевский распознал в Добролюбове человека не только той же социальной траектории, что и он сам: сын священника, делающий свет-





Усадьба Добролюбовых в Нижнем Новгороде

Столовая в доме Добролюбовых



Детский акварельный рисунок Николая Добролюбова.
Музей Института русской литературы

Комната Николая



Добролюбов-семинарист с отцом Александром Ивановичем. *Лето 1854 г. Музей ИРЛИ*



Младшие братья Добролюбова Володя и Ваня. *Фото А. Эйхова. 1861 г. Музей ИРЛИ*



Архиепископ Нижегородский Иеремия.
Фото второй половины XIX в.

В Нижегородской духовной семинарии Добролюбов учился с 1848 по 1853 год.
Фото конца XIX в.





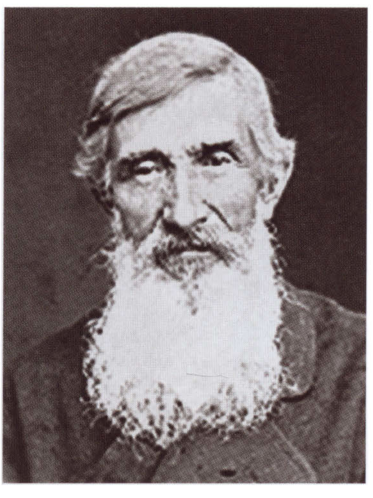
Добролюбов-студент.
Нижний Новгород, лето 1854 г.

В 1853 году, нарушив родительскую волю, Николай не стал поступать в Санкт-Петербургскую духовную академию





Профессор Иван Иванович Давыдов, директор Главного педагогического института. *Литография середины XIX в.*



Лингвист Измаил Иванович Срезневский, научный наставник Добролюбова в Главном педагогическом институте. *Фото А. Карелина. 1870-е гг.*

В правой части Санкт-Петербургского университета располагался Главный педагогический институт. *Открытка конца XIX в.*

Писательский круг журнала «Современник». Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский; стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. *Фото С. Левицкого. 1856 г.*

Дом на Литейном проспекте, где располагалась редакция «Современника». *Фото начала XX в. Музей ИРЛИ*

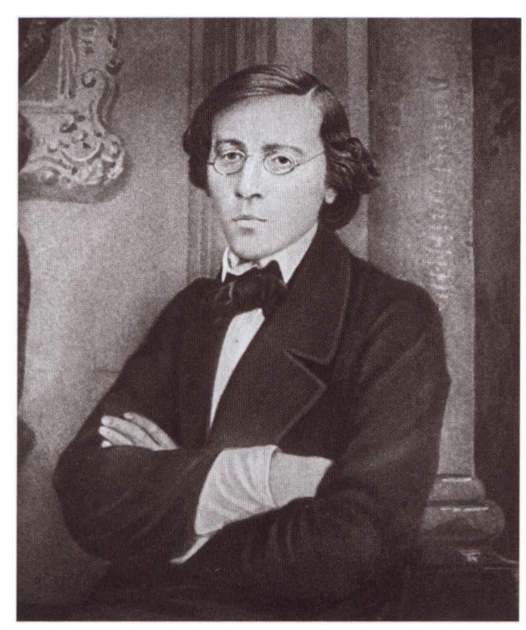




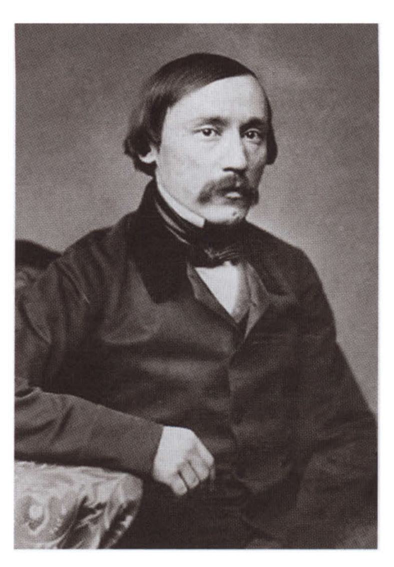


Жена Николая Гавриловича Чернышевского Ольга Сократовна. *Фото 1860-х гг.*

Свояченица Чернышевского Анна Сократовна Васильева. *Фото 1850-х (?) гг.*



Чернышевский. *Фото В. Лауфферта. 1859 г.*



Редактор «Современника» Николай Алексеевич Некрасов. *Фото С. Левицкого. 1856 г.*



Редактор «Современника» Иван Иванович Панаев. *Фото С. Левицкого. 1850-е гг.*

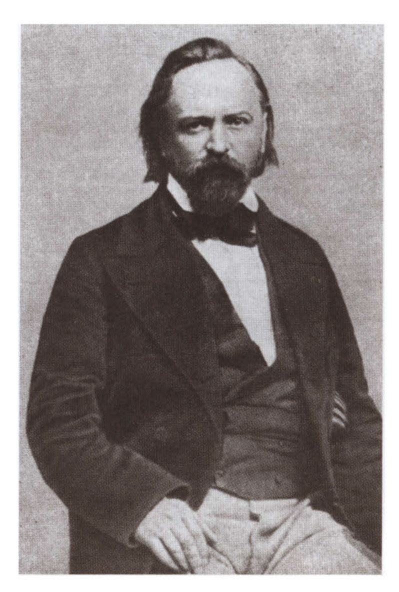
В кабинете Некрасова на Литейном проспекте собиралась редакция «Современника»

Авдотья Яковлевна Панаева. *1840-е гг. Государственный художественный музей Республики Татарстан*



Гостиная квартиры Некрасова на Литейном





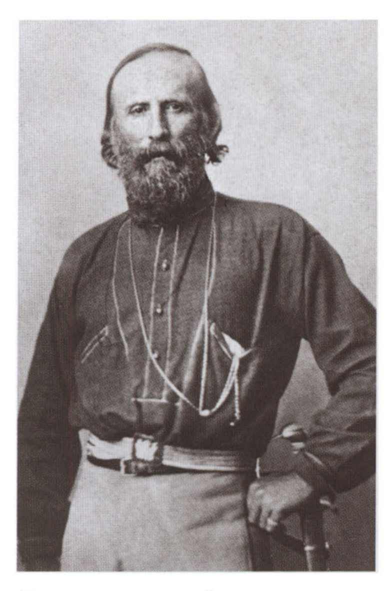
Во время поездки в Европу Добролюбов следил за публицистикой политэмигранта Александра Ивановича Герцена. *Фото 1860-х гг.*



Парижский спутник Добролюбова Николай Николаевич Обручев. *Фото 1877 г.*

Париж, рю де Константин. *Фото Ш. Марвиля. 1865 г.*





Один из лидеров объединения Италии Джузеппе Гарибальди. *Фото 1861 г.*



Первый премьер-министр объединенной Италии Камилло Кавур. *Гравюра Л. Каламатта. Около 1860 г.*

Неаполь. *Фото середины XIX в.*





Добролюбов в Неаполе.
Фото Ж. Грилле. 1861 г. Музей ИРЛИ



На Волковом кладбище Санкт-Петербурга
Добролюбов покоится на Литераторских мостках рядом с великим предшественником — Виссарионом Григорьевичем Белинским



Первый памятник Н. А. Добролюбову, открытый в Петрограде 27 октября 1918 года (погиб в 1924 году при наводнении). *Скульптор К. Залита. Фото из музея ИРЛИ*

скую литературную карьеру, — но и того же душевного и ментального склада (по крайней мере ему так казалось). Он видел в младшем коллеге «как будто своего брата»[231], наделенного одинаковыми достоинствами и недостатками. Молодому публицисту Максиму Антоновичу запомнилось, как они относились друг к другу: «[Для Чернышевского] Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Чернышевский восхищался Добролюбовым, удивлялся ему, чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора — сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивая себя с ним не в свою пользу, ставил его во всём выше себя, считал его своим учителем и просветителем»[232].

Чернышевский разглядел в собрате мессианский тип личности, которой суждено было особое общественное призвание:

> «Мы с Вами, сколько теперь знаю Вас, люди, в которых великодушия или благородства, или героизма, или чего-то такого гораздо больше, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами и т. д. Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх»[233].

Вера в мессианское предназначение друга была одной из причин отрицательного отношения Чернышевского к возможному браку Добролюбова. Надо думать, старший товарищ опасался, что младшего затянут семейный да к тому же несчастный быт и рутина, не совместимые с масштабом его личности. Далее мы увидим, как Чернышевский представлял себе судьбу Добролюбова, проживи тот дольше: она была зашифрована в двух его сибирских романах — «Прологе» и «Повестях в повести». Пока же укажем на важное противоречие в высказываниях Чернышевского о Добролюбове: если в письмах Добролюбову 1858—1861 годов преобладал мотив братства, необычайного сходства между ними, то в сибирских воспоминаниях громче стал звучать другой мотив — патернализма по отношению к Добролюбову, которого он воспринимает как сына. Вот как, например, старший товарищ вспоминает о планах младшего же-

ниться: «Он и до приезда знал, что не женится без моего согласия. Это не всякий сын сделает такую уступку воле отца»[234].

Отеческая опека выражалась еще и в неукоснительном отстаивании интересов Добролюбова перед Некрасовым. К примеру, Чернышевский защищал его от упреков А. Д. Галахова, критиковавшего статью «Собеседник любителей российского слова», и в письме Некрасову сообщал, что вступается не только за Тургенева, Островского и Григоровича, с которыми было заключено обязательное соглашение, но и за безвестных сотрудников, например Лайбова (один из добролюбовских псевдонимов)[235]. Хорошо видно, что в основе корпоративного единства лежал принцип полного доверия. «Статей его я никогда не читал, — утверждал Чернышевский, подразумевая, конечно же, чтение в рукописи. — Я всегда только говорил Некрасову: “Всё, что он написал, правда. И толковать об этом нечего”. <...> Я только всегда говорил одному (то есть Некрасову. — *А. В.*) о другом (то есть Добролюбове. — *А. В.*): “Вы не правы; он прав”, а о чем был у них спор? Я не знал. По первому слову жалобы я решил: “Он прав, вы не правы”»[236].

Вторым ближайшим человеком в кружке «Современника» стала для Добролюбова Авдотья Яковлевна Панаева, чьи воспоминания хотя и не отличаются большой фактической точностью, но очень верно передают атмосферу, сложившуюся в 1856—1860 годах в редакции журнала. Панаева сохранила в памяти многочисленные эпизоды, в которых проявилась дистанцированность Добролюбова от старших членов редакции. В ее воспоминаниях он предстает одиноким молодым человеком, скучающим в обществе Тургенева, Панаева, Анненкова и других «людей 40-х годов». Когда дело происходило на даче в Петергофе, Добролюбов часто отказывался идти на прогулку, а если шел, то веселил всех тем, что, будучи близорук, не замечал больших грибов[237].

Характер критика обусловливал его замкнутость на частых литературных сборищах. Добролюбов презирал праздное времяпрепровождение, предпочитал работу и мало участвовал в литературных обедах, устраиваемых в редакции «Современника», а если и присутствовал на них, то, как правило, хранил молчание, старался сесть рядом с Панаевой, спокойно и бесстрастно наблюдал за собравшимися через очки. Когда же он получал приглашение на чьи-нибудь обеды, то отвечал отказом. Однажды, вспоминает

Панаева, получив снисходительное приглашение на обед от Тургенева («приходите и вы, молодой человек»), Добролюбов из гордости отказался ехать, несмотря на уговоры Некрасова и Панаева[238]. Он, кажется, так и не посетил ни одного литературного застолья, быть может, кроме обеда «памяти Белинского», о котором речь пойдет ниже. Уклад и ценности кружковой жизни были ему абсолютно чужды, и он стремился демонстрировать это старшему поколению. Тургенев, по словам Панаевой, не выдержав, однажды резко охарактеризовал такой тип поведения:

> «В нашей молодости, — сказал он Панаеву, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды»[239].

Слова Тургенева обнажали конфликт между внешней бесстрастностью и даже сухостью, которую Добролюбов демонстрировал в общении с посторонними людьми, и внутренней страстностью, предназначенной для «своих» — самых близких приятелей и возлюбленных. Офицер Николай Новицкий, близко общавшийся с Добролюбовым с 1859 года, выходец из совсем другой среды, проницательно подметил, что критик держался в стороне от увеселений и светской жизни — но «не по нелюдимости или застенчивости, которых у него вовсе не было в натуре, а скорее по увлечению, с каким он отдавался литературным занятиям, составлявшим его призвание», и из-за большой загруженности работой. В самом деле, если ранние дневники всё же содержат признания в застенчивости, то чем взрослее становился Добролюбов, тем больше он работал над своим характером и учился им управлять, преодолевая изначальный разночинский комплекс. Новицкий вспоминал, что ему однажды удалось вытащить Добролюбова в театр, а Некрасову — в Английский клуб[240].

Фантастическая работоспособность Добролюбова поражала редакционный круг «Современника». Панаева удивлялась, когда он «успевал перечитывать все русские и иностранные газеты, журналы, все выходящие новые книги,

массы рукописей, которые тогда присылались и приносились в редакцию». При этом Добролюбов всегда прочитывал рукопись начинающих авторов к сроку, не заставляя их ждать. При таком режиме писать приходилось по ночам, и критик часто засиживался за столом до четырех часов утра[241]. Уговорить Добролюбова пойти отдохнуть или провести время в семье кого-то из знакомых было невозможно. Александр Пыпин вспоминал о потрясающем случае: статью «Пассаж в истории русской словесности», занимавшую около двадцати страниц, Добролюбов написал за одну ночь, чтобы успеть сдать ее в готовящийся к печати номер журнала[242].

Панаева одна из немногих умела скрашивать спартанский быт Добролюбова приятными мелочами: посылала чай, убеждала перевезти в Петербург младшего брата Володю, а потом и Ваню[243]. С осени 1858 года Володя жил на квартире у Добролюбова в доме Краевского, так что Панаева, судя по всему, имела постоянную возможность проявлять заботу о нем. Когда же Добролюбов уехал на лечение в Европу, «Авдотья Яковлевна нянчи[лась] с [его] братьями так, как могла бы заботиться разве очень добрая сестра»[244]. Панаева постоянно упрекала молодого критика, что он слишком много работает и не щадит себя. «Вы не можете жить без работы, как пьяница без водки»[245], — шутила она. Мало кто выдерживал такой ритм; вся история русской критики показывает, что жизнь людей этой профессии была короткой: Николай Полевой, Виссарион Белинский, Добролюбов, Аполлон Григорьев — все они страдали от изнуряющей необходимости прочитывать, рецензировать и писать по несколько авторских листов в месяц.

Социальная демократия

Добролюбов вышел из педагогического института с вполне оформившимися политическими убеждениями («Мой характер уже сложился», — писал он Златовратскому 9 июля 1857 года[246]). Знакомство и регулярное общение с Чернышевским лишь расширило его представления о политике и истории.

Прежде чем говорить о критических статьях Добролюбова и его взглядах на литературу, нужно выяснить, какую позицию в политическом спектре он занимал, как мыслил и каких ценностей придерживался. Без этого мы не пой-

мем, как устроены его статьи, их логику, смысл тех намеков, которые в силу цензурных условий он был вынужден делать, заменяя вполне устоявшиеся западные понятия и термины русскими парафразами.

В какие политические ценности верил Добролюбов? В советской историографии его и Чернышевского называли «революционными демократами» и противопоставляли либералам того времени. Разумеется, эта антитеза отчасти восходит к самоопределению и самоописанию героя этой книги: начиная с 1858 года публицисты «Современника» критиковали «либералов» (сторонников постепенных реформ при сохранении существующей монархической формы правления) типа историка и правоведа Бориса Николаевича Чичерина и тем самым четко обозначили свою политическую программу. Другое дело, что Чернышевский и Добролюбов не называли себя «революционными демократами» — подобного рода ярлыки были придуманы позже, в конце XIX — начале XX века в марксистской критике Г. В. Плеханова, Ю. М. Стеклова, В. И. Ленина, а в 1930—1950-х годах закреплены в идеологизированной советской науке. Говоря о конфигурации политических сил в 1830—1860-е годы и о политическом языке той эпохи, следует помнить, что широко распространенная ныне теория «либеральной демократии» тогда находилась в процессе становления (после выхода в 1835 году этапной книги Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке»), а доктрина классического либерализма, существовавшая с XVIII века, в глазах многих ее сторонников в Европе и США была несовместима с демократическим принципом правления[247].

Антитеза «либерал—демократ» получила широкое распространение во время Июльской монархии во Франции 1830—1840-х годов. «Демократическое» же движение развивалось внутри утопического социализма, где и оформилась идея «социальной демократии», которая только во второй половине XIX века приобрела знакомые нам очертания социал-демократии. Таким образом, политическая терминология эпохи Добролюбова находилась в процессе становления. Конец 1850-х — начало 1860-х годов как раз и стали временем, когда в России оформились две конкурирующие идеологии — либерализм и демократия[248]. Поэтому идеологию, которой придерживался Добролюбов, мы будем именовать социальной демократией, а под критикуемым им либерализмом будем понимать именно классиче-

ский либерализм, не обязательно предполагающий демократию. Такое значение слова «либерализм» максимально приближено к тому, которое в него вкладывал сам критик, например в статье «Из Турина», описывающей заседания первого итальянского парламента.

Что же касается идеи революции, то, будучи убежденным и последовательным сторонником республиканской формы правления и скорейшего перехода к ней, Добролюбов, однако, ни в письмах, ни тем более в подцензурных статьях ни разу не упоминает, каким именно способом следует реализовать те социалистические устремления, о которых он писал еще в дневнике 1857 года и в наброске «Проект социально-политической программы», датированном концом 1856 года и не предназначавшемся для печати, а потому содержащем все ключевые понятия, составляющие общественный идеал Добролюбова. В наброске он перебирает все возможные формы правления и институты гражданского общества, о которых необходимо задуматься, когда речь идет о проекте социального переустройства. Целью каждого мыслящего русского должна быть «свобода», реализованная в форме республики, управляемой демократическим способом — скорее всего, выборным президентом, как в Североамериканских Штатах. В такой республике должны быть всеобщее равенство в правах и перед законом, крестьяне получат землю, но условия наделения ею составляют крайне сложный вопрос, не поддающийся простому решению. Требуют обсуждения вопросы, что делать с бюрократией, как устроить разумное управление без коррупции; как создать систему воспитания, чтобы прививать республиканские ценности; как поступать с преступниками, стоит ли реформировать институт брака и на каких основаниях должна покоиться новая семейная мораль, стоит ли полностью перейти к новой «евангельской религии Христа»[249].

При этом в «проекте программы» не говорится, каким образом должен произойти переход от существующей в России монархической системы к новой республиканской и как осуществится строительство социальных институтов. Судя по переписке с кругом «своих», ближайших друзей, Добролюбов рассчитывал, что переход будет осуществляться благодаря «новым людям»: во-первых, через этическую трансформацию нового поколения (реформы давали к тому основания, но Добролюбов ратовал за ускорение процесса), в том числе через сознательное самовоспитание и пере-

устройство всей системы воспитания (об этом Добролюбов напишет несколько программных статей[250]); во-вторых, через проникновение «новых людей» во все сферы общества и управления и тем самым ускорение реформ, которые должны полностью изменить политический строй России. Представляется, что никакого революционного переворота, организуемого небольшой группой заговорщиков, Добролюбов не подразумевал. Советские интерпретаторы ретроспективно приписывали демократам-шестидесятникам мышление революционеров-большевиков. Это не означает, что Добролюбов не мыслил радикально. Но весь вопрос в том, насколько радикальным, с его точки зрения, должен был быть способ переустройства. Если это будет революция, то кто ее должен осуществить? «Народ», «народные массы» — вот самое большее, что можно почерпнуть из его статей и писем.

Характерно в этой связи свидетельство Алексея Карповича Дживелегова, известного историка, искусствоведа, члена партии кадетов, вспоминавшего, как в юности, в 1890-е годы, беседуя с приятелем Чернышевского и Добролюбова доктором Петром Боковым, он, наконец, понял, о чем на самом деле стихотворение Добролюбова «О, подожди еще, желанная, святая...», написанное в 1860 или 1861 году:

> О, подожди еще, желанная, святая!
> Помедли приходить в наш боязливый круг!
> Теперь на твой призыв ответит тишь немая,
> И лучшие друзья не приподымут рук.

По воспоминаниям Дживелегова, Боков спросил у него, кого имел в виду Добролюбов; не получив ответа, «старики переглянулись с улыбкой, и Боков, наклонившись ко мне, тихо сказал: “Оно обращено к революции”»[251]. Примечательно, как легендарная интерпретация передавалась от поколения к поколению. Но еще более характерно, что сам загадочный текст, поддающийся самым разным толкованиям, очень пессимистичен. Даже если действительно имеется в виду революция, получается, что ей нужно повременить с приходом, так как к нему никто не готов. Вспомним и фрагмент из дневника Добролюбова 1857 года, где он противопоставил себя как социалиста и демократа «революционеру Щеглову». Следовательно, понятие «революция» по-разному трактовалось Добролюбовым в 1857 году

и позже, в 1860—1861 годах, когда он одобрительно писал о революции в Италии.

Каковы были представления Добролюбова об историческом прогрессе?

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) Добролюбов выступает от имени поколения «новых людей», представляя себя носителем наиболее демократичных взглядов, находящихся на самом острие «современности». Подразумевая под этими взглядами в том числе воззрения своего наставника Чернышевского, Добролюбов здесь, пожалуй, впервые мыслил самостоятельно и предложил новый подход к истории русской литературы, которого не было ни у Чернышевского, ни у Белинского. Этот взгляд на литературу основан на новом понимании Добролюбовым категории «народность». В отличие от романтиков 1830-х годов, Белинского 1840-х и Аполлона Григорьева 1850-х, понимавших «народность» как некий живой организм, метафизическую сущность, воплощение духа нации через язык, образы и сюжеты*, Добролюбов вкладывал в это понятие отражение интересов простонародья (прежде всего крестьян). Он использует словосочетание «голос народа» и предлагает переписать всю историю России от Владимира до наших дней исключительно с точки зрения простого народа — крестьян, мещан, солдат. Не будет большой натяжкой утверждать, что позиция Добролюбова более всего близка современному направлению исторической науки, исследующему «угнетенных», то есть не имеющих голоса социальных групп (женщины, меньшинства, рабы и пр.). В самом деле, Добролюбов имел в виду именно эти безгласные группы, когда писал, что образованная публика плохо знает народ и всегда пишет свою историю, забывая о простонародье, которое либо не умеет читать, либо не читает их сочинений и не может выразить протеста. Учесть голос народа — для Добролюбова значит описать какой-то исторический период или момент с точки зрения простых людей с их нуждами и чаяниями, «пожить жизнью народа». Такая позиция предполагает тотальное переписывание истории русской литературы: Добролюбов утверждает, что, в сущности, от «Слова о полку Игореве» до Лермонтова и Гоголя в ней не было ни одного «народного» автора или со-

* Такие представления о народе и истории получили в науке название «органицизм».

чинения, в котором бы полноценно выразились интересы простого народа.

Современного читателя такая постановка вопроса вряд ли удивит, поскольку тот же принцип исследователи «угнетенных» уже давно реализуют и пишут об истории войн и расширениях империй (в том числе Российской) с точки зрения рядовых участников этих турбулентных процессов, наиболее драматично переживаемых именно «маленькими людьми». Для читателей же эпохи Добролюбова тезис, что Крылову, Гоголю и даже Пушкину не хватает «истинной народности» и что всю историю словесности нужно заново переписать, звучал скандально; он не только оспаривал традиционный исторический нарратив Карамзина (история государства), но и подрывал «Историю русского народа» Николая Полевого, у которого под народом подразумевалась нация — все сословия русского общества.

Те, кто не верил в правильность такого взгляда на историю и отстаивал старые убеждения, объявлялись Добролюбовым «квазипатриотами» (статья «Русская цивилизация, сочиненная Жеребцовым», 1859). Истинный патриотизм, по его мнению, имеет только одну цель — производство блага и пользы для людей безотносительно к нации или социальной группе. Ложный патриотизм, как правило, прославляет свои благие дела для «отечества», но на деле занимается лишь оправданием собственных антинародных действий — накапливанием богатств и присоединением чужих территорий[252]. Такая космополитичная концепция патриотизма была созвучна, например, популярной идеологии середины XIX века — марксизму, который тоже отменял традиционные представления о патриотизме как верности стране и правителю и апеллировал к человечеству (народу, пролетариату и т. д.) в целом. Об этом через несколько десятилетий будет писать Лев Толстой, как известно, выступавший против патриотизма, по его мнению, лишь прикрывавшего необходимость одним людям убивать других.

Добролюбов был искренне убежден в своей правоте и полагал, что появление написанной по его рецепту истории России послужит делу просвещения — распространению демократических представлений о правах человека как высшей ценности общества.

Представления о том, как совершается исторический прогресс и кто управляет ходом истории, изложены в другой программной статье 1858 года — «Первые годы царство-

вания Петра I» (Современник. 1858. № 6—8). Эта статья (по форме — рецензия на учебник истории Николая Устрялова, институтского преподавателя Добролюбова) поражает эклектизмом понятий и категорий, которыми оперирует Добролюбов. С одной стороны, он старается придерживаться демократического позитивистского взгляда на ход истории, рассматривая ее с точки зрения того, насколько в событиях участвует простой народ. С другой — облекая эту идею в слова, критик апеллирует к хорошо разработанной к тому времени органицистской модели исторического процесса, в которой народ предстает как организм, имеющий дух и тело. На пересечении этих двух концепций и строится проект будущей — правильно написанной — истории. Добролюбов отстаивает демократическую позицию и критикует русских историков (от Карамзина до Устрялова), всегда писавших историю страны с государственной, а не с народной точки зрения. Очевидно, что интересы государства часто расходятся с интересами народных масс: «Первое воззрение заключает в себе более отвлеченности и формальности; оно опирается на то, что должно было бы развиться и существовать; оно берет систему, но не хочет знать ее применений, разбирает анатомический скелет государственного устройства, не думая о физиологических отправлениях *живого народного организма*». Выходит, что «[государственный] скелет здоров», а «народный организм» — болеет[253]. «Органическая» метафора неминуемо приводит Добролюбова к позиции, чрезвычайно похожей на взгляды, изложенные десять лет спустя Толстым в романе «Война и мир». Рассуждая о роли личности и смотря на всё с точки зрения простого народа и его блага, Добролюбов приходит к выводу, что великие личности не определяют хода истории и должны оцениваться только по тому, обеспечили ли они благосостояние народа или обогатились сами. Более того, он считает:

> «История в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц... путь ее определяется свойством самих событий, а вовсе не программою, составленною тем или другим историческим деятелем. Напротив, деятельность всех исторических лиц развивается не иначе, как под влиянием обстоятельств, предшествовавших появлению их на историческом поприще и сопровождавших его. Поэтому приписывать замечательным двигателям истории ясное сознание отдаленных последствий их действий или все самые мелкие и частные их деяния под-

чинять одной господствующей идее... — значит ставить частный произвол выше, чем неизбежная связь и последовательность исторических явлений»[254].

Подчинение воли великих деятелей суммарной воле большинства и критика традиционного взгляда на историю, в котором множество равновероятных возможностей задним числом отменяется ради единой причинно-следственной связи, удивительно напоминают в своем роде радикальную историософию романа Толстого. Совпадение позиций Добролюбова и автора «Войны и мира» вряд ли обусловлено знакомством романиста со статьей критика о книге Устрялова (сочинения Добролюбова в библиотеке Толстого не числятся, хотя он мог читать его статьи в «Современнике»*) и объясняется каким-то общим источником из 1830—1840-х годов. Скорее всего, прав был Александр Скафтымов, считавший, что сложная диалектика свободы и необходимости в «Войне и мире» восходит к «Лекциям по философии истории» Гегеля, а не к историософии консерватора Жозефа де Местра, как полагал философ Исайя Берлин[255].

Органицистская метафорика не была случайностью в методологии Добролюбова. Он воспользовался ею в другой историко-публицистической статье — «Взгляд на историю Ост-Индии» (Современник. 1857. № 9) — сжатом, но концептуальном обозрении причин, приведших к восстанию сипаев против британского владычества в Индии. Понятийный язык этой статьи вновь заставляет вспомнить «Лекции по философии истории» или их русские «переложения» — статьи В. Г. Белинского и К. Д. Кавелина 1840-х годов, где гегелевский понятийный аппарат применялся для описания русской истории. Добролюбов рассматривает историю Индии как историю развития «духа индийской народности», но историю не гармоничную, а искаженную: буддизм, община и кастовый строй, а позже сохранение и поддержание этих культурных феноменов под властью сперва Великих Моголов, а потом британцев привели, по его мнению, к полному подавлению «личности», в результате чего главной чертой народности стала покорность.

В этой части статьи Добролюбов как будто намекает на аналогичный случай России, описанный в тех же категориях

* Примечательно, что Добролюбов не написал ни одной статьи о Толстом.

в знаменитой статье западника Константина Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), где история России рассматривается как история подавления свободного развития личности из-за общинного строя, который заблокировал или замедлил развитие гражданских институтов наподобие тех, какие сложились в Западной Европе. В объяснении же того, как нация покорных индусов смогла восстать против английских колонизаторов, Добролюбов утверждает, что просвещенные британцы, сумевшие выстроить в родной стране гражданское общество, намеренно злоупотребили властью в Индии и не обеспечили простому народу достойного состояния, при котором он мог бы постепенно идти по пути цивилизации и прогресса. Добролюбов прямо называет такой режим «деспотичным» и видит в восстании пробуждение личности индусов от тысячелетнего сна. «Индия должна быть управляема из Индии и *для Индии*», — заключает критик[256].

Проблемы колониализма Добролюбов коснулся еще раз в статье «О значении наших последних подвигов на Кавказе» (Современник. 1859. № 11), написанной по горячим следам пленения имама Шамиля — лидера горцев, которому удалось сплотить их под знаменем мюридизма и газавата — «священной борьбы против неверных». Усмирение горцев становится для Добролюбова поводом поговорить о том, что происходит на Кавказе и каким образом кровопролитная война с горцами была прекращена.

Конечно, статья пропитана едкой иронией по поводу политики правительства, но преувеличивать ее антиколониальный пафос, как это делали советские биографы критика, не стоит. Точно так же, как в статье об Индии, Добролюбов исходит из представления о благотворности цивилизаторской миссии империи в отношении стоящих на более низкой ступени развития кавказских народов. Добролюбов не ставит под сомнение саму колониальную политику, но призывает к радикальной смене методов управления. Он настаивает, что русское правительство должно создать горцам более благоприятные условия жизни, чем те, что были при Шамиле или в соседней Османской империи. И тогда, убежден Добролюбов, они сами не захотят быть ни с кем, кроме русских. Параллельно с развитием инфраструктуры будут меняться в лучшую сторону и нравы: русские власти должны в первую очередь развивать в чеченцах понятие о «благородстве, честности, правде»[257]. Добролюбов, как и подавляющее большинство

его современников, был убежден, что этические представления коренных жителей Кавказа неудовлетворительны, далеки от европейских норм, а потому и нуждаются в цивилизаторской коррекции. Как легко заметить, такая трактовка не похожа на антиколониализм. (Со схожей позицией Добролюбова мы встретимся, когда далее будем говорить о его отношении к украинскому национальному движению.)

Рассмотренные статьи дают вполне ясное представление о системе взглядов Добролюбова. Однако хорошо известно, что даже при гласности, наступившей в либеральные времена Александра II, прямо высказать в печати некоторые идеи всё равно было невозможно. Добролюбов пользовался эвфемизмами и часто что-то недоговаривал, поэтому для понимания наиболее сокровенных его мыслей логично обратиться к текстам, не рассчитанным на публику, — дневникам и письмам, отправленным с оказией, без боязни перлюстрации. С 1859 года в письмах Добролюбова ближайшим друзьям — Ивану Бордюгову, Михаилу Шемановскому и Борису Сциборскому — всё чаще появляются намеки на некое «общее дело», которые все советские биографы однозначно интерпретировали как «революцию». Справедливо ли так полагать?

Присмотримся к нескольким контекстам, где Добролюбов говорит об «общем деле». Например, он пишет Бордюгову: «Теперь нас зовет деятельность; пора перестать сидеть сложа руки и получая 300 руб. жалованья и т. п.»[258]. В письме Шемановскому, которого нужно было разбудить от обломовской апатии, Добролюбов уточняет, как он понимает деятельность:

> «Интересы эти заключаются не в чине, не в комфорте, не в женщине, даже не в науке, а в общественной деятельности. До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны *создать* эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и с Ваней, да решись эти люди и согласись между собой окончательно, — деятельность эта создастся»[259].

В следующем письме тому же адресату Добролюбов пояснил, как именно можно осуществить переход к общественной деятельности:

«Нет, теперь наша деятельность именно и должна состоять во внутренней работе над собою, которая бы довела нас до того состояния, чтобы всякое зло — не по велению свыше, не по принципу — было нами отвергаемо, а чтобы сделалось противным. Невыносимым для нашей натуры... тогда нечего нам будет хлопотать о создании честной деятельности: она сама собою создастся, потому что мы не в состоянии будем действовать иначе, как только честно»[260].

В конце этого письма Добролюбов, цитируя строки из некрасовского «Поэта и гражданина» «Не может сын глядеть спокойно / На горе матери родной...», призывал однокурсника вспомнить финал этой строфы:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром...

Логика Добролюбова предполагает здесь в первую очередь интенсивную внутреннюю работу над собой, которая становится необходимым этапом движения к высшей цели. Об этом идет речь в письме Борису Сциборскому:

«Я уже давно имею в виду другие основания, которые могли бы меня связывать с людьми, и надеюсь, что на этих основаниях наша дружба с тобою может быть крепче и чище, нежели просто по личным отношениям. Основания эти заключаются в единстве и общности начал нашей публичной деятельности. Ты знаешь, что это за начала, и ты можешь помочь их распространению... Конечно, мы можем покамест действовать только словами; но ведь слово есть выражение той же мысли, из которой рождается и самое дело»[261].

На основании этих высказываний С. А. Рейсер строил предположения о кружке сокурсников, которые во главе с Добролюбовым планировали некую совместную подпольную деятельность[262]. Другие советские литературоведы, например Ф. Я. Прийма, шли еще дальше и утверждали, что есть все основания говорить о центральном положении Добролюбова в подпольной революционной организации, которая с 1859 года сплотила не только выпускников Главного педагогического института, но и офицеров и профессоров Военной академии[263]. В самом деле, в этом году

критик через Чернышевского познакомился и стал тесно общаться с профессором Академии Генерального штаба Николаем Николаевичем Обручевым, офицерами Сигизмундом Сераковским (будущим деятелем Польского восстания 1863 года), Яном Станевичем, Николаем Новицким и Владимиром Добровольским[264]. Тем не менее никаких документальных подтверждений того, что все члены кружка занимались нелегальной агитацией и революционной пропагандой, до сих пор нет. Историки опровергли версию о причастности Николая Обручева к распространению прокламации «Великорусс» в 1861 году[265].

Думается, что «общее дело» в переписке Добролюбова и этого круга лиц понимается не как работа в подпольной организации, но как кружковое обсуждение политических вопросов, просветительство, распространение достойных книг, использование учительской или профессорской стези для приобщения аудитории к «верным» взглядам, наконец, писание статей.

Заложник реальности

Писать о критических статьях Добролюбова сложнее, чем о его публицистике. Во-первых, потому что они сопровождали взросление каждого советского школьника и до сих пор являются обязательным приложением при изучении русской классики — Тургенева, Гончарова и Островского; во-вторых, всегда есть риск выдать, как говорил тургеневский Базаров, «противоположное общее место», то есть не прийти к взвешенной оценке, а поменять плюсы на минусы. Если в советские годы публичные негативные суждения о критике Добролюбова были просто немыслимы, то в 1990-е стал, наконец, возможен спокойный и непредвзятый разговор не только об авторе «Луча света в темном царстве», но и о его коллегах по цеху А. В. Дружинине, П. В. Анненкове, Н. Н. Страхове и др. Сегодня мы можем внимательно всмотреться в то, как писал Добролюбов, какие понятия и аргументы использовал, на чьи эстетические и литературные взгляды опирался. Но есть и более сложные вопросы: почему Добролюбов анализировал тексты так, а не иначе? Почему отказывался рассуждать о литературных достоинствах художественных произведений? Почему его интерпретацию конкретных произведений многие считали неадекватной?

Добролюбов вошел в историю русской критики и эстетической мысли как создатель особого метода прочтения художественных произведений, названного им «реальной критикой». Она оформилась в его статьях 1859—1860 годов «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», «Луч света в темном царстве» — лучших образцах метода, суть которого заключалась в умении автора использовать литературное или драматическое произведение лишь как повод для разговора о социальных проблемах. Разумеется, метод сложился не сразу, но сравнительно быстро — в жизни Добролюбова все процессы протекали с высокой скоростью. Можно говорить, что во время работы над статьями 1857—1858 годов «"Губернские очерки" Щедрина», «О степени участия народности в развитии русской литературы», «Деревенская жизнь помещика в старые годы» (о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова) метод уже почти сложился, но еще не вылился в «теорию». Добролюбов пока не объясняет читателю, зачем и как он (да и каждый хороший критик) будет толковать текст. Не считая нужным подробно излагать здесь, как «складывался» и «оттачивался» добролюбовский метод, как «взрослело его перо», вместо этого укажем на некоторые важные противоречия, которые можно найти уже в ранних статьях критика и которые ярко проявились в самых известных его работах.

Речь идет о парадоксальном феномене, метко названном современным исследователем «прогрессивным реализмом»[266]. Дело в том, что в «литературных» статьях Добролюбова обнаруживается как минимум два серьезных противоречия. Первое, методологическое — сильное напряжение между убежденностью критика во второстепенной роли литературы (она для Добролюбова не более чем «отражение», копия реальности) и столь же очевидной страстной верой в ее трансформирующий потенциал — способность изменять реальность, предлагая «положительные» примеры и модели прогресса. Второе противоречие, психологическое — глубокая неудовлетворенность Добролюбова теми типами героев («лишними людьми»), с которыми он отождествляет себя в своих дневниках. Из этих противоречий и возникают, как нам кажется, высочайший эмоциональный градус и неконтролируемая страстность добролюбовских статей.

Конфликт между требованиями художественности и социальности существовал в русской критике и до Добро-

любова. Впервые он проявился у позднего Белинского, который под влиянием социалистических идей французских утопистов и немецких левогегельянцев пришел к выводу, что художественные тексты должны ощутимо влиять на реальность, а художники несут социальную ответственность не просто перед коллегами по цеху и читателями, но перед обществом и народом[267]. При этом автору не всегда удавалось примирять остающиеся для него важными сугубо эстетические критерии с требованиями социальной направленности искусства и критики в частности. В статьях 1846—1847 годов можно найти множество противоречащих друг другу пассажей. Белинский то утверждает, что только правдивое отображение язв общества может придать художественному тексту значимость, то оговаривается, относя это «правило» лишь к беллетристике, то есть сочинениям второразрядных авторов, а подлинно художественный текст свободен от любых требований к содержанию и несет заряд положительных социальных изменений.

Более того, Белинский еще в 1830-е годы отчетливо сформулировал мысль о ключевой роли критика не только в литературе, но и шире — в культурной жизни страны. «Неистовый Виссарион» стал ранжировать писателей, мог превозносить кого-то из них, а потом, разочаровавшись, объявлял об ошибке. Так произошло с Гоголем, которого Белинский в 1835 году назвал «главой русской литературы», а в 1847-м низринул с этого пьедестала. После Белинского идея о руководящей роли критики прочно укоренилась и в сознании его последователей, и в умах многих читателей.

Противоречия Белинского были по-разному восприняты критиками 1850-х годов. Чернышевский, например, постарался избавиться от них и предложил считать искусство «суррогатом действительности», не имеющим самостоятельной ценности. Неоднократно повторялось, что Добролюбов применил к анализу русской классики этот скандальный принцип, сформулированный Чернышевским в магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Это «общее место», однако, нуждается в проверке. Посмотрим, чтó Добролюбов берет из этой теории, чтó заимствует из других источников и к чему приходит в зрелых статьях.

Эстетика Чернышевского была весьма специфическим сплавом представлений позднего Белинского, отголосков философских идей Жан-Жака Руссо и Людвига Фейербаха (не всегда корректно понимаемого русским мыслителем).

Ключевыми понятиями в словаре Чернышевского были «действительность», «разум», «правда». Действительность, или «жизнь», представлялась ему единственной инстанцией, способной доставлять любому человеку эстетическое наслаждение. Поэтому смысловым центром его диссертации (и теории) стала знаменитая формула «Прекрасное есть жизнь». Велик соблазн увидеть в этом тезисе сходство с идеями Фейербаха. Поднимая вопрос, «в чем именно состоит наслаждение, доставляемое нам произведениями искусства», Чернышевский отвечал: оно состоит в том, что произведение искусства напоминает человеку о жизни и тем самым заставляет припомнить приятное чувство от реального объекта[268]. Это означает, что чувство и чувственность изгнаны из эстетики Чернышевского. У Фейербаха же восприятие действительности было опосредовано искусством, которое усиливает эмоции и концентрирует наслаждения.

Если собственно эстетика теперь важной роли не играла, то на первый план в концепции Чернышевского выдвигается ее противоположность — мир идей, идеология. Для обоснования принципа «идейности» в литературе критик радикализировал мысль позднего Белинского, что верные идеи способствуют повышению художественного уровня произведения:

> «Художественность состоит в соответствии формы с идеею; потому, чтобы рассмотреть, каковы художественные достоинства произведения, надобно как можно строже исследовать, истинна ли идея, лежащая в основании произведения. Если идея фальшива, о художественности не может быть и речи, потому что форма будет также фальшива и исполнена несообразностей. Только произведение, в котором воплощена истинная идея, бывает художественно»[269].

Представление о первичности идеи и вторичности формы предопределило взгляд не только Чернышевского, но и Добролюбова. Однако если первый четко не проговорил (в том числе по цензурным причинам), в чем заключается «правдивость» идей автора, то Добролюбов гораздо более последовательно старался растолковать читателю, какие социально-политические взгляды являются правильными, а какие нет, и, соответственно, какой писатель, приверженец этих взглядов, может рассчитывать на его одобрение, а какой — никогда. Так, в статье «Луч света в темном цар-

стве» об этом говорится наиболее прямо (мы сейчас имеем возможность читать восстановленный доцензурный текст обсуждаемых статей критика). Добролюбов утверждает, что «реальная критика» осуществляет анализ в два этапа: на первом необходимо выяснить, стоит ли автор вровень с лучшими стремлениями своего времени, на втором — насколько широко и глубоко он их понял и выразил в своем творчестве. Под лучшими стремлениями понимаются, конечно же, наиболее прогрессивные, с точки зрения Добролюбова, демократические взгляды. А литература, утверждает он, должна быть «пропагандой» (в подцензурной версии — «разъяснением жизненных явлений»[270]).

Что же означала прямая зависимость качества произведения от его идеологии? А то, что для Добролюбова только писатель-демократ мог рассчитывать на признание своего таланта. Критик делал исключение для тех авторов, которые интуитивно, благодаря своей «гениальной натуре», естественно тяготеющей к «здоровым», «нормальным» и гуманным стремлениям, воплощали в своих произведениях демократический взгляд на действительность. Из крупных русских писателей 1850-х годов в этот список попали Гончаров, Тургенев и Островский, произведения которых были истолкованы Добролюбовым как проводники демократических идей, хотя эти писатели демократами (в том смысле слова, в каком понимал его Добролюбов) никогда не были.

Почему же Добролюбов увидел симптомы грядущих радикальных изменений и торжества прогресса в текстах, которые никто из его коллег по перу в то время не воспринимал в столь радикальном ключе? Почему впервые описанная в романе Гончарова, но существующая испокон веков «обломовщина» трактуется Добролюбовым как верный знак новой фазы общественного развития, хотя знаменитая статья и оканчивается признанием, что положительного героя на сцене русской жизни еще нет и ни Штольц, ни Ольга не могут претендовать на эту роль? Почему, хотя Добролюбов констатирует превосходство болгарина Инсарова над всеми русскими героями романа «Накануне» и отсутствие подобного борца с «внутренним врагом», то есть системой, финал статьи «Когда же придет настоящий день?» всё же оптимистичен — вопреки скепсису автора, Добролюбов верит, что настоящий день уже недалек? Почему самоубийство Катерины Кабановой, большинством критиков и современных исследователей трактуемое как трагическое

свидетельство живучести «темного царства» и силы патриархальных убеждений для самой героини, воспринимается Добролюбовым как событие радостное, «освежающее и ободряющее», сулящее скорый конец домостроевскому миру Кабаних и Диких?

На первый взгляд никакого противоречия тут нет; но если присмотреться к статьям Добролюбова, то оно станет очевидным: в ранних работах 1857-го — первой половины 1858 года критик не испытывает трудностей в приложении теории Чернышевского к конкретным художественным произведениям, но чем более совершенные романы и драмы он берется интерпретировать, чем больше укрепляются его демократические воззрения, тем сложнее ему становится примирить «умеренность» и сбалансированность разбираемых текстов Гончарова, Тургенева и Островского со страстным желанием видеть результаты «общего дела»: отмену крепостного права, введение справедливой судебной системы, утверждение прав и свобод личности. Посмотрим, как постепенно нарастает этот внутренний конфликт «реальной критики» от 1857 года к 1860-му.

В ранних статьях Добролюбов, как правило, повторяет «зады» — применяет теории Белинского и Чернышевского при разборе творчества Пушкина (статьи «Пушкин», «Кольцов», «Сочинения графа Соллогуба», «“Губернские очерки” Щедрина» и др). Например, вся пространная статья «Пушкин» (написанная ради заработка для «Русского иллюстрированного альманаха» А. Т. Крылова) полностью воспроизводит всё то, что было сказано Чернышевским в цикле «Очерки гоголевского периода русской литературы», который, в свою очередь, повторил Белинского. Пушкин трактуется как поэт, занимавшийся лишь оттачиванием формы, не заботясь о содержании своих произведений, и, следовательно, как апологет чистого искусства, «чистый художник», главной заслугой которого было открытие русской народности, самобытности в некоторых «истинно народных произведениях» (например, в «Евгении Онегине»). Открыв статьи Белинского или Чернышевского о Пушкине, легко убедиться, что всё это в них уже сказано. По такому же «реферативному» принципу написана для заработка статья «Кольцов» (1857), вышедшая отдельной брошюрой для юношества. Здесь Добролюбов популярно изложил концепцию Белинского (выраженную в статье 1846 года) о роли и месте Алексея Кольцова в истории русской поэзии и культуры, пользуясь теми же категориями «народности»,

«правдивости», «верности действительности», «искренности», не предлагая никакой новой интерпретации.

Когда ранний Добролюбов начинает рассуждать о методологии критики, сделать это концептуально и последовательно ему удается далеко не сразу. К примеру, историко-литературная статья «Собеседник любителей российского слова» (Современник. 1856. № 8) содержит методологическое кредо автора: «Я хочу лучше служить для чтения, нежели для справок»[271]. Никак не называя свой метод, Добролюбов повторяет, как заклинание, что он противник «библиографической» критики, которая занимается выяснением ненужных исторических деталей вроде того, «какой табак курил известный писатель» (здесь невольно напрашивается параллель с заметкой пушкиниста Николая Осиповича Лернера 1913 года «Курил ли Пушкин?»). Претендуя не на последние позиции в пантеоне русских критиков, Добролюбов делает широковещательные заявления, но никак не сообразуется с контекстом: ни словом не упоминает о том, что его коллеги по цеху Аполлон Григорьев, Степан Дудышкин, Александр Дружинин и многие другие к 1856 году уже давно закрыли проблему «библиографической критики», предложив альтернативы — критику историческую, «органическую», эстетическую, о которых он наверняка знал, но не счел нужным упоминать.

Еще один пример не до конца осознанного подхода Добролюбова к разбору текстов — рецензия на «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Здесь, вопреки заветам Белинского, критик не объясняет, какие принципы кладет в основание интерпретации и оценки текста, хотя эти принципы — как эстетические, так и политические — очевидны. Добролюбов с самого начала смотрит на произведения Щедрина как на феномен реальности, то есть его текст и жизненный факт — явления одного порядка. К слову, эстетическая критика Анненкова и «органическая» критика Григорьева в этом вопросе гораздо более современны — они ни в коем случае не рассматривают текст как прямое отражение реальности. Добролюбов же, следуя теории Чернышевского, берет два типа персонажей «Губернских очерков» («талантливые натуры» и «современные герои») и анализирует их как реальные типы, существующие в русской жизни. Оба типа объявлены критиком «общественным балластом», теми же неудачниками, лишними людьми, наподобие тургеневского Рудина, которые не способны ни к какой позитивной деятельности ради общественного блага.

Можно возразить, что такую операцию с текстом проделывал еще Белинский, выхватывая «типы» и показывая их связь с тенденциями в реальности. Однако Белинский всегда учитывал эстетический фактор — влияние художественной формы, которая образует как бы стену, фильтр между текстом и реальностью. Добролюбова же не только не интересует форма — он идет дальше и вступает в полемику с «эстетической критикой» (имеются в виду Анненков и Дружинин, которые порицали «обличительную литературу» — направление, к которому принадлежали очерки Салтыкова, — за недостаток художественности). В более зрелых статьях Добролюбов стал осторожнее и начал объяснять, почему он не анализирует литературную форму и что дает его анализ произведений для понимания российской реальности. Но это будет через год-два; пока же он делает себя мишенью для других критиков.

Очередной шаг в следовании идеям Чернышевского Добролюбов сделал в двух статьях начала 1858 года: «Деревенская жизнь помещика в старые годы» и «О степени участия народности в развитии русской литературы». Здесь он уже не скрывал своих методологических и теоретических ориентиров, не стесняясь прямо излагать сущность той точки зрения, с которой он смотрит на художественные тексты.

В первой статье, анализирующей «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова и посвященной разбору негативного влияния крепостного права на социальное и нравственное устройство русской жизни, Добролюбов впервые заявляет, что эстетические достоинства текста его интересовать не будут (он демонстративно отказывается видеть в произведении Аксакова что-то большее, чем мемуары) и что он сосредоточится исключительно на содержании — жизни помещиков и крестьян при крепостном рабстве. Здесь же, кажется, впервые Добролюбов употребляет выражение «права человека» в современном смысле, как неотчуждаемые свободы каждой личности, гарантированные ей от рождения.

Статью «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов наконец-то открывает подробным изложением своей (то есть заимствованной у Чернышевского) литературной теории. В полном соответствии с концепцией «Очерков гоголевского периода» Добролюбов повторяет, что гоголевский период продолжается, литературных вождей, равных Белинскому или Гоголю, не

появилось. Причина проста: литература находится в русле развития общества, а оно при Николае I находилось в стагнации, поэтому ждать в литературе больших прорывов не следует. Социум только начал пробуждаться к новой жизни, постепенно распространяются новые естественно-научные знания, что, по Добролюбову, благотворно сказывается на понимании того, что литература, как и природа, подчиняется естественным, материалистическим законам бытия. Таким образом, вводная часть статьи утверждает приоритет реальности перед литературой, которая лишь отражает жизнь, но воздействовать на нее не может. Во второй части статьи Добролюбов развертывает совсем иную логику, о которой уже шла речь выше: предлагает переписать всю историю русской литературы (и общества) с точки зрения простого народа. Новая версия должна, по замыслу критика, ускорить распространение новых идей и «правильного понимания» справедливых законов, по которым нужно переустроить русскую жизнь. Парадоксальным образом литературе здесь отведена роль уже не просто «отражателя», но преобразующего фактора, хотя бы применительно к истории литературы. Перед нами очевидный случай противоречия между эстетическим и политическим компонентами теории Добролюбова. Желание приблизить правильно организованное будущее настолько захватывает критика, что он начинает корректировать эстетическую теорию Чернышевского, чтобы обнаружить в новой литературе признаки демократизации жизни.

В статьях 1859—1860 годов противопоставление идеи «отражения» и императива открытия грядущих перемен становится всё более ощутимым. Пока Добролюбов писал только о негативных явлениях, конфликт реализма и «трансформизма» не выходил на поверхность; но как только критик начал требовать от литературы прогнозировать социальные изменения, противоречие выявилось[272]. Добролюбов как будто ждал ярких литературных произведений, чтобы в посвященных им статьях заявить о своем политическом идеале. И такие произведения не заставили себя ждать: «Обломов» Гончарова, «Накануне» Тургенева и «Гроза» Островского стали тем материалом, из которого вырастало здание большой концепции Добролюбова — «реальной критики».

Его нетерпение, своеобразный «политический зуд» и даже «невроз» из-за чересчур медленного хода преобразований полнее всего отразился в заостренной до скандальности статье «Литературные мелочи прошлого года»

(Современник. 1859. № 1, 4), из-за которой разгорелся конфликт «Современника» с Герценом. В «Мелочах» Добролюбов торопит время: ему кажется, что общество отстает от власти, в свою очередь движущейся к реформам слишком медленно. Публицистике и литературе, считает он, следует более решительно воздействовать на общественное мнение и правительство. Поэтому Добролюбов требует от литераторов того, что показалось диким и невозможным либералам и даже Герцену: перейти к системным проблемам, больше говорить о перестройке всей системы. По цензурным причинам не говоря прямо, Добролюбов давал понять (и его поняли!), что обличительная литература бьет из пушки по воробьям: критикует взяточников, казнокрадов, коррупционеров, как бы не замечая крепостного права, отсутствия конституции, независимой судебной системы, народного представительства, полной свободы слова и т. д. Добролюбова особенно раздражает, что либеральная общественность гордится подготовкой реформ и постоянно указывает на благотворное влияние литературы на этот процесс. С завидной энергией критик разоблачает самоупоение либералов.

«Радикальное нетерпение» проявлялось не только на словах: письма и воспоминания современников свидетельствуют, что чем дальше, тем нетерпеливее и энергичнее становится Добролюбов во всём, что касалось «общего дела». Чернышевский в некрологе проницательно отметил, что «он торопил, торопил время»[273]. Это помогает понять тот пыл, с каким Добролюбов читал и перечитывал «Обломова»: в главном герое он сразу же увидел не только литературного персонажа, но жизненный тип, который потому и появился в романе Гончарова, что уже давно существует в реальности. Это тип фразера-либерала, зараженного болезнью целого поколения — обломовщиной, причина которой в крепостном праве, отсутствии свободы, судов (далее по списку). Именно в этом состоит основная идея статьи «Что такое обломовщина?». Обломовщина совершенно несовместима с задачами современного момента, которые требуют «новых людей» — с крепкими нервами, здоровыми потребностями и разумными желаниями личной и общественной выгоды. Добролюбов настолько увлечен разоблачением обломовщины, что идет прямо против текста романа — утверждает, что Штольц и Ольга глубоко заблуждаются, видя в Илье Ильиче «золотое сердце». Категорически отказываясь замечать в романе мощную ли-

рическо-апологетическую струю (о ней хорошо написал совсем другой критик — Александр Дружинин), Добролюбов полностью сосредоточился на негативной природе обломовщины, подчинив весь анализ романа доказательству «положительного» тезиса о том, что обломовщина будет уничтожена «новыми людьми», которых пока нет, но которые совсем скоро должны появиться. (О их появлении он писал в следующей крупной статье «Литературные мелочи прошлого года».)

Можно сказать, что Добролюбов обезоружил своих потенциальных оппонентов, заявив, что не касается художественной составляющей романа и авторского замысла, согласно которому Обломов — персонаж двойственный, но без сомнения пользующийся искренней симпатией автора. Добролюбова это не интересует, он использует роман как повод поговорить о социальных процессах. Но в том-то и дело, что на более глобальном уровне соотношения литературной теории Добролюбова и его публицистической практики противоречие легко заметно: если литература плетется за реальностью, то как роман может выражать то, чего в этой самой реальности еще нет? В ней для Добролюбова различима только разлагающаяся обломовщина, а рядом с ней Штольц да Ольга, которым критик отказывает в праве называться положительными героями.

Таким образом, такая трактовка «Обломова» показывает, что Добролюбов был убежден: будущее уже существует, но скрыто в ужасной реальности. Задача «реального критика» — распознать признаки грядущего и рассказать о них прогрессивной читающей публике. «Реальный критик» — это диагност-социолог, едва ли не санитар, который должен в большом количестве больных и трупов найти признаки спада эпидемии и на этом основании заявить о скором оздоровлении популяции.

Из тех же противоречий соткана и другая хрестоматийная статья — «Темное царство» (Современник. 1859. № 7, 9), целиком посвященная социологическому разбору причин и последствий «самодурства» русского купечества. Материалом для анализа стали все написанные к тому моменту пьесы А. Н. Островского — от «Своих людей...» (1850) до «Воспитанницы» (1858). Здесь Добролюбов отводит много места объяснению метода «реальной критики» и выводов, к каким он должен привести читателей.

Именно в этой статье появилось знаменитое признание Добролюбова, что он исследует не то, что *хотел сказать* ав-

тор, а то, что *сказалось*. Такая установка роднит метод критика с современными принципами анализа культуры, разработанными американскими и британскими учеными во второй половине XX века и позволяющими рассматривать произведения («культурные продукты») любого качества как равно принадлежащие сфере повседневной культуры.

В этой же статье Добролюбов вводит понятие «натуры» автора или героя — здоровых природных инстинктов, обеспечивающих интуитивный прорыв к правильному постижению феноменов действительности. Добролюбов видел достоинство автора в первую очередь в «силе непосредственного чувства», то есть в способности воспроизводить жизнь объективно и полно. Если Чернышевский считал, что славянофильские пьесы Островского («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок») слабы, потому что ложна сама идея, лежащая в их основе, то Добролюбов полагал, что «сила непосредственного художнического чувства не могла и тут оставить автора, и потому частные положения и отдельные характеры отличаются неподдельной истиною». А поэтому даже в этих пьесах, независимо от воли Островского, читатель должен расслышать приговор миру самодуров, который отживает свой век. Важно отметить, что в доцензурной версии статьи место слов «самодур» и «самодурный» занимали «деспот» и «деспотизм», имеющие более осязаемые политические коннотации[274].

Почему же Добролюбов обусловливает правдивость воспроизведения жизни не столько идеологией писателя, сколько его «натурой» — живым чутьем? Понятие «натуры» у Добролюбова отсылает к антропологической философии Фейербаха, которого он, как мы помним, читал в 1855—1856 годах; возможно также посредничество Герцена и Чернышевского[275]. Согласно антропологической философии немецкого мыслителя, изложенной в его «Сущности христианства», в человеческом индивидууме доминирует не культура и религия, а изначальная его природа — натура, естество, тело, — которой присущи несколько свойств: разумность, трудолюбие, социальность, стремление к счастью, выгоде (эгоизм) и свободе. Законы неразумно устроенного общества и испорченная среда искажают природные задатки человека, деформируя личность. Если исправить общество, исправится и человек. Таким образом, человеческая личность двойственна: природное дополняется общественным; второе на протяжении всей истории человечества воздействовало на первое негативно.

Рукопись статьи Добролюбова «Темное царство». *1859 г. ОР РНБ*

Именно поэтому, развивает идеи предшественников Добролюбов, в творчестве каждого писателя следует в первую очередь смотреть на «натуру», непосредственное чувство, не подчиняющееся законам среды и определяющее степень его дарования. Критика должна заниматься не идеологией автора — она вторична, — а созданными им художественными образами, в которых выражается миросозерцание художника (это понятие Добролюбов без объяснений почерпнул, скорее всего, из статей либо раннего Белинского, либо своего оппонента Аполлона Григорьева).

Осуществив своеобразную «натурализацию идеала», Добролюбов снял часть противоречий, но не избавился от них полностью. Он по-прежнему был готов искать идеал даже там, где его никто из критиков никогда не находил. Характерный случай — интерпретация пьесы Островского «Не в свои сани не садись» (1853), которую традиционно считают отражением увлечения драматурга русофильской идеологией молодой редакции журнала «Москвитянин», где она и была опубликована. В этой комедии благородный купец Русаков, носитель традиционных патриархальных начал, успевает спасти дочь Дуню, увлекшуюся западнически настроенным аферистом Вихоревым и сбежавшую с этим новым Хлестаковым — впрочем, только до ближайшей станции, где жених бросает девушку, узнав, что отец не даст ни копейки приданого. Вместо того чтобы видеть в пьесе прославление коренных русских здоровых начал, Добролюбов выворачивает смысл наизнанку и предлагает читателю рассматривать Русакова как «кроткого самодура», а сюжет пьесы как свидетельство кризиса самодурства, при котором подрастающее купеческое поколение не застраховано от ложных поступков, потому что в нем не воспитали критического мышления и свободы выбора. Такая интерпретация идет вразрез и с тем, что говорит текст, и с тем, что известно о тогдашнем миропонимании Островского. Этот факт идеально подтверждает заявленный в статье «Темное царство» принцип: не важно, каких теорий придерживается автор; критик всегда найдет в его произведении доказательства своей концепции или навяжет тексту свой смысл[276].

В следующей крупной статье Добролюбова «Когда же придет настоящий день» (Современник. 1860. № 10) описанная стратегия разворачивается в полную силу. Эта работа поразила публику — и понятно почему: анализа сюжета (не говоря уж о прочих компонентах рецензируемого тургеневского романа «Накануне») в ней было еще меньше,

чем в «Темном царстве», а политических импликаций в разы больше. Отчасти так произошло просто потому, что сюжет романа гораздо сильнее провоцировал на политическое прочтение, нежели пьесы Островского. В самом деле, история о поездке болгарина Инсарова на родину для участия в борьбе за независимость своего народа от угнетателей-турок должна была вызывать российские ассоциации. Роман настолько богат фактурой, отделкой и деталями, что критику было где развернуться; однако он не упустил шанс еще раз заняться социальным и политическим прогнозированием. Главным и наиболее интересным лицом романа он назвал не Инсарова, а Елену, которая единственная из всех персонажей символизирует скорое приближение «настоящего дня». В России, по Добролюбову, пока не может быть деятелей масштаба Инсарова, потому что нет национального сплочения против общего «внутреннего врага» — так Добролюбов иносказательно, но понятно именует самодержавие, ту систему, внутри которой развитие здоровой и правовой жизни невозможно[277].

Апогеем «реальной критики» считается последняя крупная добролюбовская статья «Луч света в темном царстве» (Современник. 1860. № 10), писавшаяся уже в Европе. Это и самая запоминающаяся, и наиболее уязвимая статья Добролюбова, где избранный им метод дошел до предела своих интерпретационных возможностей. Здесь Добролюбов сделал отчаянную попытку примирить реализм с «трансформизмом» и предложил красивую, но чрезвычайно рискованную интерпретацию «Грозы» Островского.

Идея Добролюбова заключалась в том, что в современной русской литературе должен, наконец, обнаружиться положительный герой. И он его нашел — в Катерине Кабановой. Пусть она воспитана в религиозной домостроевской среде, но натура героини обусловливает ее стремление к свободе и личному счастью. Именно такого героя и искал Добролюбов для завершения своей стройной теоретической модели. Самоубийство Катерины Добролюбов наделяет смыслом, которого в тексте нет, — оно становится знаком близкого крушения темного царства и радостного торжества свободы. На деле мало что в мрачной народной драме Островского дает повод для столь оптимистического прочтения. Скорее, пьеса эта (если рассматривать ее в социологическом ключе) о трудностях перехода России от архаики к современности. Никто из тогдашних разномыслящих интерпретаторов драмы — ни Анненков, ни Григо-

рьев, ни Писарев — не усмотрел в ней ничего похожего на социальный оптимизм, только Добролюбов ощутил в «Грозе» действие «освежающее и ободряющее». Он предпочел не обращать внимания на мощный религиозный подтекст драмы, на ее символику, на весьма вероятные отсылки к старообрядческой культуре семьи Кабановых и города Калинова в целом[278].

Катерина становится для Добролюбова символом новой фазы в национальной литературе и в общественной жизни, поскольку являет собой «органический» (словечко из лексикона Аполлона Григорьева), цельный, решительный русский характер»[279]. Ее уход из жизни трактуется как протест женщины против архаичной семейной морали. Примечательно, что религиозность, столь важную для понимания поведения героини, Добролюбов покрывает своим любимым понятием «натура». Именно «натура» заменяет Катерине «соображения рассудка и требования чувства и воображения». Этот риторический маневр позволяет больше не обращать внимания на проявления религиозности Катерины или трактовать их примитивно: в церкви, пишет Добролюбов, она «не находит уже прежних впечатлений: ее страшат лики святых, везде видит она угрозу»[280]. На самом деле Катерина стремится в церковь; в ней постоянно говорит голос совести, слитой с религиозностью, который не дает «неверной жене» спокойно предаться любви к Борису и свободно распоряжаться собой. Рискнем предположить, что в таком игнорировании религиозной составляющей драмы сказался опыт личной конверсии Добролюбова — опыт утраты веры, о котором мы говорили. Критик будто заставляет Катерину двигаться по пройденной им самим траектории. На него мучительно пережитая утрата веры подействовала в итоге ободряюще и освежающе; следовательно, убеждает себя Добролюбов, так должно быть и с Катериной.

Что ж, признаем, что критик ошибся в интерпретации «Грозы» и характера Катерины. Не ошибся Добролюбов в другом. Он понимал, что подобного рода статьи очень нужны таким же, как он сам, молодым разночинцам конца 1850-х годов, которые, читая их, укреплялись бы в ощущении своей принадлежности к быстрорастущей когорте «новых людей». Они готовили себя к жизни в пореформенных условиях, когда должны были открыться возможности для реальной деятельности. Именно об этом «общем деле» постоянно идет речь в переписке Добролюбова и его товарищей по педагогическому институту.

Говоря об автобиографическом контексте статьи Добролюбова, важно помнить и о его отношениях к самоубийцам. В феврале 1860-го, за полгода до написания статьи о Катерине Кабановой, Добролюбов, реагируя на известие о самоубийстве ученика одной из московских гимназий, болгарина Константинова, ригористично заметил в письме Славутинскому: «Что мальчик удавился — это, по-моему, очень хорошо; скверно то, что другие не давятся: значит, эта болотная ядовитая атмосфера пришлась как раз по их легким и они в ней благоденствуют, как рыба в воде. <...> Нужно было пожалеть его, нужно было волноваться и возмущаться в то время, когда он ступил на русскую почву, когда он поступал в гимназию. А теперь надо радоваться! И я искренне радуюсь за него и проклинаю свое малодушие, что не могу последовать его примеру»[281].

В этих отчаянных словах скрещиваются мотивы двух добролюбовских статей — «Когда же придет настоящий день?» и «Луч света в темном царстве»: свободолюбивому гимназисту-болгарину, как и Инсарову, чужд гнилой воздух русской жизни, и поэтому его самоубийство так же благородно, как и уход из жизни Катерины. Решение мальчика Добролюбов примеривает и к себе, с горечью констатируя собственную слабость. Есть соблазн усмотреть этот мотив и в статье о драме Островского.

Несомненная параллель между личными переживаниями Добролюбова и его статьями «работает» не только в этом случае и побуждает вспомнить и о втором, психологическом противоречии в статьях критика. Исследователи находят в статьях «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет настоящий день?» проекции его самых страстных желаний — активно действовать и в жизни, и в любви. В первой статье Добролюбов критикует тех самых литературных «лишних людей» (Печорина, Тамарина, Чулкатурина), с которыми отождествлял себя в дневниках. Разбор романа «Накануне» может быть истолкован в том числе как призыв к самому себе побороть «пошлость, мелочность и апатию» (как это сделал Инсаров) и начать действовать[282]. Пример с пристрастным толкованием Добролюбовым самоубийства Катерины также не оставляет сомнений, что неустранимые внутренние противоречия его натуры искали выхода в публицистическом творчестве и прорывались в самых неожиданных интерпретациях. Добролюбов заставлял себя искать и находить признаки улучшений и в себе, и в литературе. На поверку же оказывалось, что он сам, один

из когорты «новых людей», остается заложником собственного «я» — натуры, которая далеко не полностью освободилась ни от некоторых предрассудков, ни от воспитанного литературой взгляда на жизнь.

Что же касается метода, то как ни старался Добролюбов держаться теории Чернышевского, предполагавшей следование литературы за жизнью, на практике живой анализ русской классики деформировал, разрушал эту модель, заставляя критика делать всё более амбициозные социальные прогнозы на всё менее убедительном и шатком материале. Это была ловушка «реалистической» эстетики, в которую попал не только Добролюбов, но и многие его последователи. Его талант, интуиция, чувство слога позволили создать яркие публицистические тексты, на которых воспитывалось несколько поколений. А после первой русской революции 1905—1907 годов добролюбовские статьи стали входить в школьные хрестоматии — в качестве приложений к великим произведениям русских писателей, — где и пребывают до сих пор.

«-бов» и его читатели

Что мы сегодня знаем о первых читателях статей Добролюбова? За долгие годы изучения его деятельности накапливались в основном восторженные отзывы студентов и разночинцев, чаще всего из его ближнего окружения или знакомых «по касательной». И, конечно, в воспоминаниях деятелей демократического движения можно часто встретить ссылки на гимназическое «подпольное» чтение статей, подписанных «-бов».

Мы уже цитировали воспоминания семинариста Ивана Красноперова, который еще при жизни Добролюбова прочитывал все его статьи, впитывая радикальные воззрения. Таких молодых людей и подобных свидетельств 1860—1890-х годов существует немало. Например, в 1863 году восемнадцатилетняя Мария Селенкина, будущая известная народница, в дневнике признавалась, что законспектировала статью Чернышевского в «Современнике» «Материалы для биографии Добролюбова», чтобы лучше познакомиться с личностью известного критика, о котором она много слышала, но денег на покупку собрания его сочинений у нее не хватало. «Теперь я знаю всё, что хотела знать о Н. А. Добролюбове. <...> В Добролюбове нашла я

много родного своему сердцу; характер едва минувшего времени сблизил меня с ним сильнее всех прочих деятелей России»[283].

Поклонников и даже адептов Добролюбова, оставивших свидетельства своего восхищения, немало. Гораздо труднее найти среди «рядовых читателей» его оппонентов и противников, чьи мнения выразились письменно или известны в пересказах. Но и такие всё же сохранились и представляют два полюса мнений — критику Добролюбова «слева», с еще более радикальных позиций, и, наоборот, «справа», с традиционно-консервативных.

Из первого типа мнений до нас дошел один прижизненный отзыв, обращенный напрямую к критику. 19 марта 1861 года он получил письмо от некоего К. Маркова, имевшего с ним общих знакомых и, очевидно, пересекавшегося в каких-то кружках. Марков «ставил на вид», что Добролюбов не там ищет «залога счастия человека»: отвергая богословские бредни, предлагает взамен то же «бесплодное учение», потому что оно так же консервативно, как и прежнее. «Социалистические доктрины, борьба во что бы то ни стало, самопожертвование», утверждал Марков, — лишь «пародия христианства». Взамен он предлагал нечто «не новое», напоминающее учение Фейербаха об эгоизме — любви человека в первую очередь к самому себе, от которой производна (пропорционально) любовь к ближнему. Отсюда следует, что трудиться для будущих поколений и жертвовать собой — абсурд[284]. Вряд ли Добролюбов что-либо ответил на это послание, но сама ситуация характерна: человек, наиболее буквально и последовательно исповедующий учение Фейербаха, критикует литератора, постоянно опиравшегося на идеи философа и активно их продвигавшего.

Второй полюс мнений представлен более обильно — консервативно мыслящих читателей у Добролюбова было гораздо больше. Вот, например, письмо его однокурсника Михаила Шемановского от 10 июня 1859 года: «Здесь в Вятке читающие из духовных лиц негодуют на тебя, говоря: что это за человек, который всё отвергает, даже долг. Они очень удивляются, что такой человек мог выйти из семинарии. Я пишу это для того, чтобы сколько-нибудь польстить твоему самолюбию и вызвать на твое лицо самодовольную улыбку»[285].

Статьи критика воспринимались в штыки не только в глубинке и не только духовенством. В мае 1860-го на дверях его петербургской квартиры на Моховой была сделана

надпись: «Безнравственный семинарист». Дядя Добролюбова ее «целый день не стирал, чтобы не подумали, что струсили»[286].

Интересен короткий (и неожиданный) обмен мнениями между критиком и Марией Дондуковой-Корсаковой — дочерью бывшего вице-президента Императорской академии наук, адресата эпиграммы Пушкина «В Академии наук / Заседает князь Дундук...». Мария Михайловна приходилась родственницей Галаховым, у которых учительствовал Добролюбов, знала о его журнальной работе и следила за публикациями. После статьи о романе Гончарова критик получил от нее письмо от 27 июля 1859 года:

> «Я с горячим сочувствием прочла статью Вашу “Что такое обломовщина”, но в одном только с Вами не могу согласиться. Вы объясняете перелом Ольги страхом ее впасть в Обломовщину, а мне кажется, что этого страха у нее быть не может по ее направлению, характеру и, наконец, по самой обстановке ее жизни. Гончаров почти против воли напал на мысль, что полное развитие наших духовных сил невозможно на земле. Этой мысли он не хотел доказать и оставил читателю неясное впечатление, которое тревожило его пытливый ум»[287].

Мария Михайловна просила Добролюбова отбросить сословные предрассудки (нежелание общаться с дочерью камергера), чтобы продемонстрировать на деле веру «в сближение людей на правах общечеловеческих, без этой веры никакого нет простора в жизни». Критик ответил спустя месяц коротким сухим письмом: расхождение в их взглядах столь сильно, что делает дальнейшую переписку невозможной. Добролюбов, судя по всему, не желал тратить время на общение с религиозной и не менее принципиальной, чем сам он, читательницей. Не удовлетворившись этой отпиской, Дондукова послала критику второе письмо, содержание которого еще больше должно было отпугнуть Добролюбова. Мария Михайловна выражала опасение, что радикальные взгляды способны повредить молодым неокрепшим душам:

> «Стремления Ваши прекрасны, любовь к ближнему согревает Вашу душу, но Вы находитесь в переходном состоянии, в котором убеждения Ваши не могут быть непоколебимы. Увы, гордость Вам не позволяет в этом сознаться, и Вы способны распространять мысли, которые

отвергнуты будут Вами через несколько лет. Не напоминайте мне о материалистах, упорных в своих заблуждениях, они не были похожи на Вас, они не искали добросовестно истины в горячей деятельной любви к людям»[288].

Разумеется, никакого ответа на это послание не последовало. Между тем это единственный известный нам случай, когда глубоко религиозный читатель, будучи убежденным в добрых чувствах критика и всерьез относясь к его демократической позиции, пытался вступить с ним в диалог. Диалога, однако, не получилось.

Тост памяти Белинского: история одной легенды

Шестого июня 1858 года Добролюбов присутствовал на обеде памяти Белинского в день его именин[289]. Событие это обычно сопровождается комментарием: Добролюбов, возмущенный пустословием в адрес покойного, по возвращении домой написал сатирическое стихотворение «На тост в память Белинского» и анонимно разослал его участникам обеда, что вызвало их негодование. Все версии этой истории восходят к двум источникам — статье Максима Антоновича «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (1878) и воспоминаниям Александра Пыпина «Мои заметки» (1911).

Впервые стихотворение Добролюбова было опубликовано в статье Антоновича, который писал, что слышал историю об «обеденном» инциденте от покойного Некрасова:

> «В числе других это стихотворение получил и Николай Алексеевич и, по его словам, сразу же догадался, кто автор его; да притом Добролюбов не скрывался перед ним и сам признался ему во всём. Николай Алексеевич, конечно, и не подумал обидеться на присланное ему стихотворение; но другие известные литераторы сильно обиделись. <...> У нас есть одно рукописное стихотворение Добролюбова, писанное его собственною рукою и, *по-видимому* (здесь и далее в этой цитате курсив наш. — *А. В.*), относящееся к случаю, о котором рассказывал Николай Алексеевич, *хотя утверждать это наверное мы не решаемся*. Стихотворение озаглавлено так: “На тост в память Белинского. 6 июня 1858 г.”. *Вероятно,* 6 июня было днем именин Белинского, так как в этот день бывает

Св. Виссариона; и если обеды в память Белинского устраивались в этот день, то это еще более может подтвердить нашу догадку»[290].

Очевидно, у Антоновича не было полной уверенности, что стихотворение связано с обедом памяти Белинского. В рукописном фонде Антоновича в Пушкинском Доме сохранилась копия стихотворения Добролюбова, сделанная, по мнению комментатора Бориса Бухштаба, не критиком (если только почерк не был умышленно изменен)[291]. Название «На тост в память Белинского, 6 июня 1858 г.» приписано другой рукой — не исключено, что Антоновича или чьей-то еще позднее. Отсутствует название и в автографе стихотворения, находящемся в так называемой первой добролюбовской рукописной тетради. Более того, текст этот, располагающийся между стихотворениями «Напрасно» (май) и «Бедняку» (20 июня), не датирован[292]. Тем не менее Бухштаб, хотя и не уверенный, что копия из фонда Антоновича сделана Добролюбовым, всё же опубликовал стихотворение с названием, отсутствующим в автографе, однако указал, что основным текстом следует считать автограф в добролюбовской тетради. Такая непоследовательность заставляет еще раз обсудить историю создания и смысл загадочного стихотворения.

Итак, исходный текст в автографе не имеет заглавия, не соотнесен самим автором с каким-либо конкретным событием и не приурочен к определенной дате. Связь с трапезой появляется только в последней строфе, где упомянуты некие «пиры», но более внятной отсылки нет:

Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире подымал
И думал: только, только этим
Мы можем помянуть его,
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!..

Отсюда легко сделать вывод: копия Антоновича не может быть достоверным источником при реконструкции этого эпизода биографии Добролюбова, особенно если вспомнить, что исследователи обнаружили много недостоверного и в воспоминаниях публициста[293]. Примечательно, что стихотворение не вошло в четвертый том собрания сочинений Добролюбова, который Антонович редактировал

в 1862 году, хотя часть рукописей добролюбовских стихотворений хранилась в тот момент у него. Скорее всего, в редакции «Современника» решили не печатать неудобное стихотворение-упрек последователям Белинского, поскольку атмосфера в 1862 году и без того была накалена.

Второй источник информации — воспоминания Пыпина. Впервые он заговорил об этой истории в письме своему кузену Чернышевскому от 5 февраля 1884 года, надеясь получить уточнения к его написанным в ссылке воспоминаниям о разрыве Тургенева с «Современником»:

> «В Твоих воспоминаниях я не нашел двух вещей. Во-первых, относительно Добролюбова и Тургенева, того эпизода, случившегося без меня и о котором мне рассказывали: эпизода *об обеде в память Белинского (1858)* (здесь и далее в этой цитате курсив наш. — *А. В.*), обеде, на котором собралась обычная тогда компания “Современника” и также Добролюбов и после которого он на другой день послал *Некрасову и Тургеневу* безымянное стихотворение, очень раздражившее Тургенева. <...> ...(стихотворение говорило, конечно, о способе, каким чествовалась память Белинского, — *в ресторане Дюссо*)»[294].

Во-первых, Пыпин с полной уверенностью говорит о каком-то обеде памяти Белинского; во-вторых, добавляет к уже известному, что стихотворение было послано только Тургеневу и Некрасову, а также указывает, что встреча происходила в ресторане Дюссо. Неясно, кто рассказал Пыпину об этом инциденте; возможно, это был Некрасов или Антонович, близкий к нему в конце 1870-х годов. Очень вероятно, что именно публикация Антоновича 1878 года побудила Пыпина вспомнить эту историю*.

На письмо двоюродного брата Чернышевский ответил, что не помнит ни о каком стихотворении Добролюбова и, тем более об обеде памяти Белинского, оговорившись, правда, что мало интересовался обедами литераторов[295]. Это свидетельство тем более примечательно, что, как выяснится далее, Чернышевский всё же был на обеде 6 июня 1858 года.

---

* В 1911 году этот сюжет вошел в воспоминания Пыпина с оговоркой: «Я не был свидетелем того, что говорится далее, — потому что жил тогда за границей, но слышал из достоверных источников, а теперь об этом есть обстоятельное свидетельство М. А. Антоновича» (*Пыпин А. Н.* Мои заметки. Саратов, 1996. С. 240—241).

Рассмотрим, наконец, все известные нам печатные упоминания об этом странном событии. Главные источники — письма прославленного художника Александра Иванова и дневник цензора Александра Никитенко — немного «расходятся в показаниях». Из письма Иванова брату следует, что в пятницу 6 июня действительно состоялся обед — правда, не памяти Белинского:

> «Сегодня был у Мюллера, но не застал никого дома. <...> Потом поехал на обед, который литераторы давали отъезжающему Тургеневу — всех со мной было 14 особ. Первый тост был обращен ко мне[296].

Другое упоминание об этом же обеде сохранилось в дневниковой записи Никитенко от 7 июня:

> «Обедал в ресторане *Донона* (курсив наш. — *А. В.*) вместе с несколькими литераторами — Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и пр. Тут был также недавно приехавший из-за границы художник Иванов. Много было говорено, но ничего особенно умного и ничего особенно глупого. Пили не много»[297].

Речь у Никитенко и у Иванова, без сомнения, идет об одном и том же обеде (запись первого сделана на следующий день), но никто ни словом не упоминает о каком-либо чествовании памяти Белинского. Сличение всех письменных свидетельств дает следующий состав гостей: Некрасов, Тургенев, Панаев, Гончаров, Чернышевский, Писемский, Языков, Иванов, Никитенко. Вполне мог присутствовать на обеде и молодой сотрудник Добролюбов, который, как мы помним, летом 1858 года официально стал членом редакции «Современника».

Обеды между тем продолжались. 8 июня, в воскресенье, Иванов сообщил брату, что вчера «опять был на обеде, и в том же месте — у Донона... Общество литераторов из 14 человек давало его... князю Щербатову»[298]. В самом деле, обед по случаю отставки попечителя Санкт-Петербургского учебного округа князя Г. А. Щербатова состоялся в ресторане Донона 7 июня.

Итак, у Донона (а не у Дюссо, как считал Пыпин) 6 и 7 июня было дано два обеда. И Никитенко, и Иванов посетили оба, не оставив и намека о Белинском или Добролюбове. Тем не менее мы не можем исключать наличия тостов в память Белинского, равно как присутствия Добро-

любова на первом обеде (его присутствие на «щербатовском» крайне маловероятно). Обратим внимание, что стихотворение в копии Антоновича названо «*На тост* в память Белинского». Можно предположить, что на обеде 6 июня, в День святого Виссариона, литераторы, собравшиеся по случаю отъезда Тургенева, решили почтить память «Учителя». Более того, 26 мая была годовщина его смерти. Весьма вероятно, что тост предложил сам Тургенев, любовь которого к Белинскому хорошо известна. Косвенное подтверждение можно усмотреть в том, что адресатами стихотворных упреков Добролюбова были представители молодого поколения, которые «им (Белинским. — *А. В.*) проложенным путем / Умеют только любоваться». Тогда понятно и упоминаемое в мемуаре Антоновича раздражение Тургенева, явно принявшего упреки на свой счет, а всё стихотворение Добролюбова прочитывается как критика радикальной частью кружка «Современника» его «артистического» крыла (Боткина, Тургенева и Анненкова).

Текст Добролюбова был ориентирован на некрасовские стихотворения о Белинском. В «Памяти Белинского» (1851—1853) Некрасов подчеркивал бездеятельность потомков учителя, «беспечно вкушающих» плод его трудов, и затерянность его могилы, куда «память благородная друзей» не проторила дороги. Строки Некрасова элегичны, в них звучит скорбное признание естественности посмертной судьбы былого властителя дум. Некрасовская поэма «В. Г. Белинский» (1855) заканчивается схоже — строками о забвении, по сюжету, друга Белинского с аналогичной судьбой:

Поэт умолк. А через день
Скончался он. Друзья сложились
И над усопшим согласились
Поставить памятник, но лень
Исполнить помешала вскоре
Благое дело, а потом
Могила заросла кругом:
Не сыщешь... Не велико горе!
Живой печется о живом,
А мертвый спи глубоким сном...

Добролюбов спорил с созданной Некрасовым поэтической легендой о бессилии «учеников», призывая их продолжить дело «Учителя». Такая инициатива выглядела вполне закономерной в контексте кружковой атмосферы конца 1850-х. На 1857 год приходится нереализованный замысел

Некрасова и Тургенева издать сборник памяти Белинского, а с 1859-го начался выход первого собрания сочинений критика. В это же время библиограф Петр Александрович Ефремов по поручению Некрасова отыскал на петербургском Волковом кладбище затерянную могилу Белинского[299] (через два года рядом с ним похоронят Добролюбова).

Таким образом, воспоминания Антоновича малодостоверны. Факты свидетельствуют, что специального обеда памяти Белинского 6 июня 1858 года не было, а тост, разумеется, мог быть произнесен. Версия же, согласно которой стихотворение Добролюбова было разослано участникам обеда и вызвало скандал, документально пока не подтверждается и вряд ли когда-либо подтвердится.

Здесь, однако, возникает вопрос, как в таком случае объяснить утверждение Антоновича, что он слышал эту историю от Некрасова. Можно предположить следующее. В сентябре 1858 года в «Современнике» появилось шесть стихотворений Добролюбова, отобранных для публикации лично Некрасовым. Вероятно, поэт прочел в тетради Добролюбова стихотворение о Белинском и обсудил его с автором (повторим, никаких сведений об отправке текста Некрасову и Тургеневу не существует). После смерти Добролюбова тетради его стихов вновь на некоторое время оказались в распоряжении Некрасова, который мог позже рассказать Антоновичу об обстоятельствах появления этого стихотворения.

Так яркая эпоха «Современника» 1850-х годов обрастала легендами и домыслами. Далее мы расскажем о еще одной нашумевшей истории — о разрыве Тургенева с Некрасовым из-за Добролюбова. Но вначале необходимо остановиться на расхождениях журнала с Герценом.

«Новые люди» против «лишних»

Пока роман Чернышевского «Что делать?» входил в обязательную школьную программу, все хорошо помнили, кто такие «новые люди». Подзаголовок романа «Из рассказов о новых людях» подразумевал, что Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, Мерцалов и другие — это возникшее, наконец, поколение, которое строит свою жизнь на единственно разумных принципах. Они любят, ухаживают, заключают браки, трудятся и отдыхают не так, как было принято веками. Мало кто при этом задумывается, что мифология

новых людей напрямую связана с фигурой Добролюбова. Во-первых, его биография стала для Чернышевского материалом для романа (о чем речь впереди); во-вторых, писатель опирался на статьи критика, который первым в России стал писать о «новых людях» как о реальном явлении. Эти статьи привлекли к Добролюбову демократически настроенную молодежь и вызвали резкое негодование «людей сороковых годов» — того поколения, с которым, собственно, и вел борьбу критик.

Добролюбов придумал «новых людей» в 1859-м в статье «Литературные мелочи прошлого года». Критик обрисовал эволюцию социально-политических идеалов от поколения «отцов» — людей 1840-х годов — до поколения «детей», вышедших на сцену в конце 1850-х. Под «отцами» подразумевались друзья и соратники Белинского, среди которых Добролюбов делал исключение для политических эмигрантов Герцена и Огарева, упоминание которых в подцензурной печати было невозможно. Идеалы «людей сороковых годов», с точки зрения Добролюбова, уже явно недостаточны и не могут быть положены в основу дальнейшего развития России: это «зады», а нужно идти вперед, ставя более конкретные и серьезные политические задачи, с чем может справиться только новое поколение:

> «...другой общественный тип, тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением. Благодаря трудам прошедшего поколения принцип достался этим людям уже не с таким трудом, как их предшественникам, и потому они не столь исключительно привязали себя к нему, имея возможность и силы поверять его и соразмерять с жизнью. Осмотревшись вокруг себя, они вместо всех туманных абстракций и призраков прошедших поколений увидели в мире только человека, настоящего человека, состоящего из плоти и крови, с его действительными, а не фантастическими отношениями ко всему внешнему миру. Они в самом деле стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколение; но зато они гораздо тверже и жизненнее. Не говорим о фанатиках, которые всегда были и будут как исключение; но в общей своей массе молодые люди нынешнего поколения отличаются спокойствием и тихою твердостью. Это происходит в них прежде всего, разумеется, оттого, что нервы еще не успели расстроиться. Но есть и другая причина: они спустились из безграничных сфер абсолютной мысли и стали в ближайшее соприкосновение с действительной жизнью»[300].

Добролюбов именует целое поколение «новыми людьми», на первый взгляд имея в виду себя и своих сверстников — выпускников Главного педагогического института и университетов, студентов, которые были наиболее радикальной группой русского общества в XIX столетии. Однако сохранившиеся документы существенно корректируют такую простую проекцию. В переписке Добролюбова сохранилось двусмысленное свидетельство, очевидно, охваченного хандрой критика, жаловавшегося однокурснику Михаилу Шемановскому:

> «Ведь ты знаешь, что вся наша надежда на будущие поколения. Было время, и очень недавно, когда мы надеялись на себя, на своих сверстников; но теперь и эта надежда оказывается неосновательною. Мы вышли столько же вялыми, дряблыми, ничтожными, как и наши предшественники. Мы истомимся, пропадем от лени и трусости. Бывшие до нас люди, вступившие в разлад с обществом, обыкновенно спивались с кругу, а иногда попадали на Кавказ, в Сибирь, в иезуиты вступали и застреливались. Мы, кажется, и этого не в состоянии сделать. Полное нравственное расслабление...»[301]

Эти горькие упреки своему поколению заставляют совершенно иначе трактовать оптимистические прогнозы Добролюбова, очевидно, не уверенного, что именно оно состоит из «новых людей», как вскоре это будет представлено Чернышевским в романе «Что делать?». Нарисованный критиком портрет поколения напоминает всё тех же «лишних людей», «обломовых». Недаром Добролюбов констатировал, что обломовщина продолжает жить, она не похоронена. Есть основания думать, что критик адресовал упреки и самому себе.

Тем не менее социально-политические идеалы «новых людей» очерчены Добролюбовым достаточно конкретно. Это всё та же, уже хорошо нам знакомая «антропологическая» перспектива — призыв сделать достоинство и благосостояние любого человека мерилом социального прогресса:

> «На первом плане всегда стоит у них человек и его прямое, существенное благо; эта точка зрения отражается во всех их поступках и суждениях. Сознание своего кровного, живого родства с человечеством, полное разумение солидарности всех человеческих отношений между со-

бою — вот те внутренние возбудители, которые занимают у них место принципа. Их последняя цель — не совершенная, рабская верность отвлеченным высшим идеям, а принесение возможно большей пользы человечеству»[302].

Не случайно Добролюбову приходили восторженные письма от совершенно незнакомых, но сочувствующих читателей, например от молодого сотрудника «Современника» С. Федорова из Москвы:

«Вашими “Мелочами литературы” Вы расшевелили взрослых младенцев, спавших доселе сном праведников, оставить их на произвол судьбы было бы грешно и непростительно. Они повернутся на другой бок и опять-таки заснут. Они даже не совсем ясно сознают, зачем их разбудили. Им просто досадно, что им спать мешают, а спалось сладко, хорошо спалось... И со сна они еще плохо понимают: где был сон и где действительность... Прежде всего их надо вытрезвить, а это ведь будет нелегко сделать, ибо очень заспались. От души желаю Вам достойно докончить начатое. Разбудить — Вы разбудили»[303].

Зато люди постарше восприняли красочный портрет молодого поколения не просто как личное оскорбление, а как «очень опасный» ложный социальный шаг. «Very dangerous*!!!» — так, с тремя восклицательными знаками, называлась статья Александра Герцена в лондонском «Колоколе», в которой писатель и издатель оспорил уничтожающую характеристику своего поколения и задал головомойку «Современнику». Герцен в тот момент еще не знал, кто был автором статьи, подписанной «-бов», и узнал, судя по всему, только летом 1859-го, во время разговоров с Чернышевским, приехавшим в Лондон мириться с издателем «Колокола» и договариваться о взаимной поддержке.

Герцен оспаривал все ключевые тезисы Добролюбова — и о бессмысленности исторической роли «лишних людей» 1840-х годов, и о «беззубости» обличительной литературы, и о недостаточности «малых» дел для прогресса. Заканчивалась статья резким выпадом против «Современника»:

«Мало ли на что вам есть точить желчь — от цензурной троицы до покровительства кабаков, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши

* Очень опасно (*англ.*).

> забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею!»[304]

Чрезвычайно важно здесь появление слова «желчь». Эту выразительную метафору Герцен развил спустя полтора года в статье «Лишние люди и желчевики», где дискредитация образа мысли и жизни «новых людей» становится более концептуальной. Уже после смерти Добролюбова Чернышевский признавался, что некая статья Герцена с руганью в адрес Николая Александровича его крайне разозлила. Можно без сомнений утверждать, что имелась в виду статья о «желчевиках» (таким неприятным, но с середины 1850-х годов расхожим словом именовались представители нового поколения нигилистов[305]). Нелестно отзываясь о личных качествах «желчевиков», Герцен метил в том числе в Чернышевского и Добролюбова.

Статья Герцена действительно насыщена едва различимыми намеками на ряд текстов Добролюбова и Чернышевского. Укажем лишь на один укол в адрес Добролюбова, еще не замеченный комментаторами. Описывая отталкивающие физические и психические свойства «желчевиков», Герцен полемизирует с обрисовкой положительных черт молодого поколения в добролюбовских «Литературных мелочах прошлого года»*, спровоцировавших всю полемику. Это хорошо видно при сравнении текстов:

«Литературные мелочи прошлого года»	**«Лишние люди и желчевики»**
«Совсем не так отнеслось к вопросам жизни молодое поколение... От пожилых (то есть от «лишних». — *А. В.*) людей обыкновенно рассыпаются ему упреки в холодности, черствости, бесстрастии. Говорят, что нынешние люди измельчали, стали неспособны к высоким стремлениям, к благородным увлечениям страсти. Всё это, может быть, чрезвычайно справедливо в отношении ко многим, даже к боль-	«Это (то есть «желчевики». — *А. В.*) не *лишние*, не праздные люди, это люди *озлобленные*, больные душой и телом, люди, зачахнувшие от вынесенных оскорблений, глядящие исподлобья и которые не могут отделаться от желчи и отравы... Они представляют явный шаг вперед, но всё же болезненный шаг... Смена им идет; мы уже видим, как из дальних универ-

* Герцен прозрачно указал на связь этих статей, поставив эпиграф к «Лишним людям...» из «Very dangerous!!!».

шинству нынешних молодых людей... Но за ними, и отчасти среди них, виднеется уже другой общественный тип, тип людей реальных, с крепкими нервами и здоровым воображением. <...>

Они в самом деле стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошлое поколение; но зато они гораздо тверже и жизненнее. <...> В общей своей массе молодые люди нынешнего поколения отличаются спокойствием и тихою твердостью. Это происходит в них прежде всего, разумеется, оттого, что нервы еще не успели расстроиться»[306].

ситетов, из здоровой Украйны, с здорового северо-востока являются совсем иные люди, с непочатыми силами и крепкими мышцами...

Они носили на лице глубокий след души помятой и раненой. У каждого был какой-нибудь тик... — *свернувшееся* самолюбие. <...> Все они были ипохондрики и физические больные, не пили вина и боялись открытых окон...

Вот откуда их беспокойный тон... намеренная сухость... беспокойная нетерпимость директора департамента»[307].

Добролюбов открыто говорил об упреках в черствости и холодности со стороны поколения «лишних людей». Герцен описывает молодое поколение с помощью метафоры болезни (разлития желчи), причем выражение «намеренная сухость» заимствует из другой статьи Добролюбова — «Благонамеренность и деятельность», где упреждаются повторные нападки со стороны издателя «Колокола»:

> «За такие жесткие строки нас, разумеется, упрекнут в неблагородстве и сухости сердца, в недостатке симпатии к высоким стремлениям и в фаталистическом поклонении факту. Мы заранее признаём справедливость всех подобных упреков и потому продолжаем свои объяснения, предавшись судьбе»[308].

Концептуальный словесный портрет нового поколения был смонтирован Герценом из фраз и образов, давно употреблявшихся в том числе и самими «отрицателями». Так, доктор и приятель Добролюбова Иван Максимович Сорокин сообщил ему 16 июня 1860 года: «[Литераторы-жертвы], пожалуй, были бы очень довольны Вашей смертью, избавившей от назойливого и ядовитого критика (замечу мимоходом, что Вы приобрели репутацию ядовитого человека и литература воет в отчаянии, что Вы всякого обидели)»[309]. Однако в печати, да еще таким влиятельным авто-

ром, как Герцен, это было сказано впервые. Добролюбов, судя по чудом сохранившейся страничке из его дневника 1859 года, не сильно переживал упрек человека, который в середине 1850-х годов был его кумиром, на статьях которого он вырос:

> «Однако, хороши наши передовые люди! Успели уже пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции... Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности! Я лично не очень убит неблаговолением Герцена... но Некрасов обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро (то есть на сотрудничество с Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. — *А. В.*) оскорбляет его, так что он чуть не решается уехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может кончиться дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Герцен печатно же от него отказался и взял назад свои слова»[310].

Так в конце 1850-х годов проявилось драматичное расхождение двух «партий», по-разному представлявших себе переход России к более справедливому социальному устройству. Герцен после удручающих итогов французской революции 1848 года и государственного переворота 1851-го, приведшего к установлению Второй империи, разуверился в утопических программах коммунистов и анархистов, начал видеть перспективы России только в крестьянской общине и постепенных преобразованиях. Добролюбов же (как и Чернышевский), как следует из его дневника и других текстов, обсуждавшихся выше, мечтал об изменении всех сфер государственной жизни через радикальные демократические преобразования.

Отцы и дети: конфликт с Тургеневым

Через год после конфликта с Герценом вспыхнул другой, не менее резкий, вошедший в историю русской литературы под ярлыком «разрыв Тургенева с кругом “Современника”». Общая канва его была изложена еще в воспоминаниях А. Я. Панаевой, согласно которым Турге-

нев заявил Некрасову: «Выбирай: я или Добролюбов»[311]. Поводом к ультиматуму стала статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» о романе «Накануне», которая якобы крайне не понравилась Тургеневу и тоном, и интерпретацией романа. Что на самом деле произошло зимой 1860 года, историки литературы выяснили лишь в конце 1980-х.

В сущности, отход Тургенева от журнала фактически начался еще в 1858 году, когда прекратило действие «обязательное соглашение», что писатель воспринял как «выход на волю». После этого в «Современнике» была напечатана только одна его вещь — роман «Дворянское гнездо» (1859). Следующий роман «Накануне» был отдан в «Русский вестник» Каткова. Параллельно Тургенев испортил отношения с Чернышевским, который во всех спорах принимал сторону Добролюбова[312]. Вызывали недовольство Тургенева и статьи критика. Так, в декабре 1858 года Тургенев выразил Некрасову решительное недовольство статьей Добролюбова «Нечто о литературном протесте», напечатанной в «Свистке» под названием «Письмо из провинции» и посвященной скандалу вокруг антисемитской публикации Владимира Зотова. Тургеневу не понравился тон — «кривлянья», «зубодробильные стишки»[313]. Его раздражение вылилось в пародию «Шестилетний обличитель», напечатанную в сатирическом журнале «Искра», главный герой которой, золотушный мальчик Иеремия, так начитан и проникнут идеями прогресса, что пишет обличительные стишки, быстро взрослеет и из всей русской словесности хвалит только статьи «-бова», то есть Добролюбова[314].

Дальнейшее развитие конфликта Тургенева с Добролюбовым известно по мемуарам Панаевой, обросло легендами и, по словам исследователя А. Б. Муратова, больше напоминает остросюжетный роман, нежели реальное течение событий[315]. На самом же деле всё происходило достаточно прозаично. Цензор Владимир Николаевич Бекетов, прочитав в феврале 1860 года добролюбовский разбор романа «Накануне», категорично заявил и критику, и Тургеневу, что со времен Белинского в печати не появлялось столь острых статей, а потому дозволить ее публикацию он не считает возможным. Тургенев тотчас послал записку Некрасову с просьбой не печатать статью, и тот «просьбу уважил», вымарав большие фрагменты и попросив Добролюбова внести правку. Иными словами, Некрасов не выбирал мучительно, кого ему предпочесть — Добролюбова

или Тургенева, но пытался найти компромиссное решение. Добролюбов же от компромисса отказался, отозвал статью и продолжил работать над ней до начала марта, когда представил на рассмотрение уже другого цензора. В итоге статья вышла в новой, смягченной редакции, хотя основная ее идея осталась прежней. Мог ли Тургенев обидеться на компромиссную версию статьи? Разыскания Муратова показали, что нет. Дело в том, что и в апреле, и в мае 1860 года, то есть после публикации статьи Добролюбова, Тургенев продолжал как ни в чем не бывало общаться с Некрасовым и Чернышевским на заседаниях Литературного фонда и даже добивался публикации в «Современнике» рецензии своего протеже Константина Леонтьева на роман «Накануне». Отвергнутая редакцией статья вышла в «Отечественных записках» и, как показал Муратов, содержала даже более резкую критику эстетической стороны романа, нежели добролюбовская. Тургенев же спокойно относился к ней и в целом вряд ли мог обижаться на доброжелательную и даже хвалебную статью Добролюбова.

Что же тогда привело к разрыву писателя с журналом? Случился он несколько месяцев спустя, в сентябре, когда Тургенев прочел в «Современнике» рецензию Чернышевского на книгу американского писателя Натаниеля Готорна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии». Именно эта рецензия была воспринята Тургеневым как личное оскорбление, потому что в ней утверждалось, что, создавая образ Рудина, автор следовал советам великосветских знакомых, и оттого образ получился не правдивым, а карикатурным. Вот тогда писатель и направил Панаеву и Некрасову резкую просьбу убрать его имя из числа сотрудников журнала. Хотя Тургенев ошибочно считал автором рецензии Добролюбова, обиделся он всё же не на него, а на Некрасова. Тот принадлежал к поколению «отцов», был прекрасно осведомлен, как создавался роман «Рудин», и, с точки зрения Тургенева, допустил на страницы журнала сознательную клевету. Некрасов, однако, продолжал печатать имя Тургенева в списке сотрудников «Современника», стараясь удержать его в журнале. Тургенев всё больше раздражался и нашел конфидента в лице Герцена, уже пострадавшего от публицистов «Современника» и только что давшего им отпор в упомянутой статье «Лишние люди и желчевики».

Таким образом, два разделенных несколькими месяцами инцидента в воспоминаниях современников слились в

один — «разрыв» Тургенева с журналом, в то время как процесс шел медленно и завершился лишь осенью 1860 года. Механизм рождения версии был примерно тот же, что и в случае стихотворения «На тост в память Белинского».

Пятнадцатого января 1861 года Тургенев получил от Некрасова большое «объяснительное» письмо. Редактор «Современника» возлагал большую часть вины за произошедший конфликт на «советчиков» и «приятелей» Тургенева, доставлявших ему ложные версии событий:

> «Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип, и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, — что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), — сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх. Итак, мне думается, что и не за это ты отвернулся от меня»[316].

Конечно, Чернышевский и Добролюбов провоцировали Тургенева, а в его лице более широкий круг либеральных авторов журнала, на разрыв. Некрасов мог лишь разводить руками, но как опытный редактор и тактик понимал, что Добролюбов делает всё, чтобы, во-первых, вернуть в журнал ушедшего в «Отечественные записки» Гончарова, а во-вторых, удержать в нем Островского, пересмотрев интерпретацию его ранних, якобы «славянофильских» пьес. Оба писателя, в отличие от Тургенева, не имели репутации разборчивых и придирчивых авторов и охотно сотрудничали в разных журналах, поскольку жили литературными заработками. Высочайшая оценка Добролюбовым «Обломова» сделала свое дело: Гончаров, в письмах 1859 года критикам Ивану Льховскому и Павлу Анненкову выражавший восхищение статьей «Что такое обломовщина?», в 1860-м отдал в «Современник» отрывок из следующего романа «Обрыв». Островский и подавно остался постоянным сотрудником Некрасова, не часто, но регулярно публикуясь у него.

Если рассуждать категориями «литературной политики», можно сказать, что, потеряв Тургенева, Некрасов приобрел по крайней мере Островского и целую группу писателей-разночинцев (Николая Герасимовича Помяловского,

Николая Васильевича Успенского, Федора Михайловича Решетникова и др.).

Подлинные причины разрыва с Тургеневым, конечно, не были доступны широкой публике, и история быстро обрастала домыслами. Тургенев в серии открытых писем 1860-х годов пытался изложить свою версию событий, но лишь подлил масла в огонь. Теперь мемуаристы выводили в центр противостояния именно отношения Тургенева и Добролюбова; немудрено, что они нашли главную его причину в пресловутой статье «Когда же придет настоящий день?». Машина домыслов работала дальше по инерции: некоторые литераторы «левого» лагеря заговорили, что Тургенев якобы вывел Добролюбова в фигуре Базарова, чтобы не только расквитаться, но и вынести приговор всему поколению «новых людей», прозванных «нигилистами». Конечно, Базаров — никак не карикатурный портрет Добролюбова, но, как показывают наброски к роману, Тургенев держал в уме тот же тип личности, каким в его глазах представал Добролюбов. И он, и герой «Отцов и детей» — внешне подчеркнуто резкие, принципиальные ригористы, а внутри — раздираемые страстями, толком не умеющие любить женщин и неспособные выстроить серьезных отношений.

После кончины критика Тургенев с искренним сожалением писал своему приятелю Ивану Петровичу Борисову: «Я пожалел о смерти Добролюбова, хотя и не разделял его воззрений: человек он был даровитый — молодой... Жаль погибшей, напрасно потраченной силы!»[317]

Добролюбов-пародист

Сатирическое приложение к «Современнику» «Свисток» просуществовало с 1859 по 1863 год, но навсегда вошло в историю поэзии блестящими пародиями Козьмы Пруткова, Некрасова и Добролюбова. Некрасов вспоминал: «Свисток придумал собственно я, но душу ему конечно дал Добролюбов — заглавие произошло так. В 1856 году я жил в Риме и сам видел газету “Diritto” (это значит “Свисток”), кое-что из нее даже сам почитывал»[318]. Он ошибся в деталях: заглавие в самом деле существовавшей газеты было «Fischietto», что как раз и означает «Свисток». Итальянский контекст здесь важен: и Некрасов, и позже Добролюбов, находясь в Италии, наблюдали, как быстро набирает силу

СВИСТОКЪ

Собраніе литературныхъ, журнальныхъ и другихъ замѣтокъ.

3

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ СВИСТКА ВО ДНИ ЕГО ВРЕМЕННАГО НЕСУЩЕСТВОВАНІЯ.

«Свистокъ» дожидался только выѣзда уполномоченныхъ изъ Цюриха, чтобы опять раздаться въ русской литературѣ. Теперь объявлено, что они въ октябрѣ выѣдутъ, и если они, по свойственной дипломатамъ правдивости, сдержатъ слово, то «Свистокъ» надѣется уже безраздѣльно завладѣть вниманіемъ публики. Въ лѣтніе мѣсяцы ему было неловко являться потому, что общее любопытство было привлечено итальянской войной, и въ началѣ іюля, поощренные примѣромъ «Русскаго Дневника», редакторы «Свистка» даже послали-было въ «Современникъ» такое объявленіе:

«Въ настоящее время, когда все вниманіе публики обращено на политическія событія, совершающіяся на Западѣ, для «Свистка», неспособнаго заниматься политикою—иначе какъ въ шутку, прекратилась возможность разсчитывать на увеличеніе ограниченнаго числа своихъ поклонниковъ; вслѣдствіе чего «Свистокъ» вынужденнымъ находится прекратить свой свистъ.

Добролюбов был основным автором «Свистка» — сатирического приложения к журналу «Современник»

движение за ее объединение и освобождение северо-восточной части полуострова от австрийского господства.

Слово «Свисток» у русской публики ассоциировалось с обличительной литературой. Новые сатирические еженедельники «Искра» и «Гудок» открылись одновременно со «Свистком» и конкурировали между собой в остроумии.

Весной 1859 года Некрасов и Добролюбов предпринимали попытки добиться разрешения на издание «Свистка» отдельной газетой, но успеха не достигли — цензурный комитет не позволил открыть еще одно сатирическое издание. На протяжении всего своего существования «Свисток» испытывал цензурные затруднения. Хотя в нем и принимало участие множество известных и начинающих литераторов (Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Григорий Елисеев, Максим Антонович, Михаил Михайлов, Панаев, А. К. Толстой и братья Александр, Алексей и Владимир Жемчужниковы), основным его «вкладчиком» до сентября 1861 года был, конечно, Добролюбов. Один из выпусков «Свистка» (№ 2) полностью состоял из его материалов. По воспоминаниям Панаевой, «Свисток» «всегда сочинялся после обеда, за кофеем. Тут же импровизировались стихотворения: Добролюбовым, Панаевым и Некрасовым»[319].

Главной темой «Свистка» очень скоро стало высмеивание фразерства и пафоса либерального крыла тогдашней российской журналистики с «левой» точки зрения. Эта тенденция соотносится со взглядами, изложенными Добролюбовым в уже упоминавшейся статье «Литературные мелочи прошлого года». Отсюда понятно, почему Герцен, полемизируя с ее автором, сделал одной из ключевых метафор своей публикации именно «свист» и «свистопляску». Эти слова-сигналы уже к началу 1860-х годов обросли большим шлейфом радикальных политических ассоциаций и стали ярлыками, которые журналисты и публицисты разных лагерей навешивали друг на друга. Основные перипетии полемики «Свистка» с либеральной прессой, консервативной наукой и дворянской оппозицией реформе крепостного права сегодня кажутся уже не такими привлекательными для читателя, какими были в момент появления. Пародии Добролюбова на стихотворения Алексея Хомякова, Аполлона Майкова, Владимира Бенедиктова, исторические и экономические сочинения Бориса Чичерина и Владимира Безобразова, к сожалению, не пережили своего времени, устарев, как только исчезла «злободневность», к которой

они апеллировали. Выбирая из обширного сатирическо-пародийного наследия Добролюбова сюжеты, значимые для биографии критика, остановимся лишь на двух — пародировании любовной лирики и политической сатире, — которые важны для понимания не только технологии создания пародий, но и этической, политической и эстетической позиции Добролюбова.

Пародия «Первая любовь» (Свисток. 1860. № 5) была написана на знаменитое «безглагольное» стихотворение Афанасия Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850). Поводом к ней стала статья Аполлона Григорьева, где критик хвалил начинающего поэта Константина Случевского, в том числе за его явно фетовское стихотворение:

Ночь. Темно. Глаза открыты,
И не видят, но глядят;
Слышу, жаркие ланиты
Тонким бархатом скользят.
Мягкий волос, набегая,
На лице моем лежит,
Грудь, тревожная, нагая,
У груди моей дрожит.
Недошептанные речи,
Замиранье жадных рук,
Холодеющие плечи...
И часов тяжелый стук.

Уходя от «безглагольной» поэтики Фета, Случевский превращал неопределенную ситуацию его ноктюрна в однозначно эротическую. Явно метя в Случевского, Добролюбов тем не менее в своей пародии воспроизводит метрическую и грамматическую структуру фетовского «Шепота...»: чередование четырехстопного и трехстопного хорея и строго выдержанная «безглагольность», тогда как у Случевского — четырехстопный хорей, а «безглагольность» — спорадическая:

Вечер. В комнатке уютной
Кроткий полусвет.
И она, мой гость минутный...
Ласки и привет,
Абрис миленькой головки,
Страстных взоров блеск,
Распускаемой шнуровки
Судорожный треск...
Жар и холод нетерпенья...

Сброшенный покров...
Звук от быстрого паденья
На пол башмачков...
Сладострастные объятья,
Поцалуй немой, —
И стоящий над кроватью
Месяц золотой...

Фет давно уже воспринимался Добролюбовым как адепт «чистого искусства», уводящий читателя от действительности. В «Первой любви» он нашел повод — стихотворение Случевского, — чтобы высмеять «зачинателя» традиции. Главным приемом пародирования здесь становится столкновение двух планов — возвышенного и пошлого — на лексическом и сюжетном уровнях. Тонкий лиризм и «воздушный» эротизм Фета у Добролюбова оборачивается совершенно конкретным намеком на свидание клиента и проститутки («мой гость *минутный*»). Тем же приемом воспользовался и Николай Ломан в пародии «Коварство и любовь» на «Мемфисского жреца» Случевского, где жрец превращается в квартального, а жрица — в проститутку. В каком-то смысле можно говорить об «избыточности» пародии Добролюбова, поскольку юмор его текстов напрямую зависит от того, насколько пародируемый и пародирующий сюжеты принадлежат разным плоскостям и удалены друг от друга. Чем больше расстояние, тем, как правило, смешнее пародия. В данном случае фетовский эротизм, заложенный в подтекст его стихотворения, лишь получал предельное развитие в «Первой любви», поэтому точнее назвать ее перепевом. Но и у этого перепева был еще один, дополнительный, смысл, не замеченный исследователями.

Помня о теме «спасения падшей женщины» в лирике Добролюбова, нельзя не увидеть в «Первой любви» ее отзвук. Соблазнительно даже рассматривать «Первую любовь» как своего рода автопародию, естественно, не забывая о ее прямом адресате. И сюжет, и некоторые фразы «Первой любви» разительно напоминают коллизии упомянутого выше стихотворения «Рефлексия» (1858). Его третья и четвертая строфы, где речь идет о свидании влюбленных, точно соответствуют сюжету «Первой любви».

Схожую ситуацию в схожем словесном оформлении находим и в стихотворении «Не в блеске и тепле природы обновленной...» (1860—1861):

В каморке плачущей, среди зимы печальной,
Наш первый *поцелуй* друг другу дали мы,
В лицо нам грязный свет *бросал огарок сальный*,
Дрожали мы вдвойне — от страсти и зимы...

И завтрашний обед, и скудный и неверный,
Невольно холодил наш *пыл нелицемерный.*

Курсивом мы пометили слова и целые фразы, которые могут отсылать к фетовскому стихотворению. Кажется, Добролюбов неумело распорядился фетовской лексикой, когда, ориентируясь на приемы Некрасова, окружил ее прозаическим контекстом[320]. Фетовская темнота («заря») становится у Добролюбова затемнением, вновь недвусмысленно сигнализирующим о борделе, где, скорее всего, находится лирический герой. Если у Фета он наедине с возлюбленной, то у Добролюбова монолог ведется от лица постороннего соглядатая. Такая позиция использовалась обычно для придания тексту юмористического или сатирического колорита. Стихотворение Добролюбова, формально не являясь пародией, независимо от воли автора рождает комический эффект. В поэтическом сознании Добролюбова мотив первой любовной встречи был, очевидно, сопряжен одновременно и с его личным любовным опытом, и с поэтической тематикой, восходящей к фетовскому «Шепоту...». В каком-то смысле то, что не удалось поэту Добролюбову в лирических стихотворениях, реализовалось в пародии «Первая любовь».

Однако подавляющее большинство добролюбовских текстов «Свистка» затрагивает политическую проблематику. Одним из самых острых и проницательных мы считаем сатирическое стихотворение «Сирия и Крым», написанное от лица Конрада Лилиеншвагера — изобретенного Добролюбовым подставного автора. Он сочинил эту оду на притеснение христиан в Турции и исход татар из Крыма. Добролюбов соединяет в одном тексте два события, одно из которых вызвало международный резонанс, а другое оказалось практически незамеченным. Первая часть творения оголтелого православного патриота (немца!) повествует о зверском насилии в Сирии (тогда части Османской империи), которому с конца мая 1860 года подверглась со стороны мусульман местная христианская община маронитов. В результате событий, получивших в историографии название «резня в Дамаске», погибло несколько тысяч христиан.

Летом 1860 года Франция направила в Сирию экспедиционный корпус; российское правительство также рассматривало возможность вмешательства в турецкие дела. Говоря о сирийских событиях, Лилиеншвагер с удовлетворением констатировал:

Иное зрелище, отрадное для взора,
Я нахожу в отечестве моем.

Наивный поэт живописует торжество православного российского духа в Крыму, из которого спустя четыре года после войны начали бежать местные татары и ногайцы, недовольные агрессивной религиозной политикой русских властей и угрозой конфискации их исконных земельных наделов:

Но, обольщенные невежеством и ленью,
Татары самовольству предались,
И вдруг, покорствуя какому-то внушенью,
Все наутек из Крыма поднялись!..[321]

Мудрое русское правительство, пишет Лилиеншвагер, не препятствовало переселению, хотя газеты сообщали, что власти запретили массовый выезд уже в сентябре 1860 года, опасаясь экономического кризиса в Крыму. По разным оценкам, Крым в тот год покинули около двухсот тысяч человек, переселяясь в Турцию, которая готова была принять единоверцев, реализовывая тем самым протекционистскую политику по отношению к мусульманским народам соседней империи и ослабляя ее[322].

Оканчивается сатира славословием русскому правительству, которое сумело изгнать «поклонников Пророка» из России, не прилагая для этого никаких усилий: «...русской доблестью страданья маронита / В Крыму давно отомщены!». Надевая маску патриота-русификатора, Добролюбов саркастически оценивает внутреннюю политику России, допускающую отток огромного числа населения вместо того, чтобы улучшить жизнь этнических меньшинств и тем самым сделать их союзниками империи, как пояснял критик в статье о русской политике на Кавказе. Сопоставляя турецкую агрессию против христиан в Сирии и переселение татар из Крыма, Добролюбов проводил очевидную аналогию между репрессивными стратегиями двух империй и их результатами.

Другим ярким примером политической сатиры Добролюбова стало стихотворение «В прусском вагоне», предназначавшееся для восьмого номера «Свистка» (вышел уже после смерти критика), но не пропущенное цензурой и опубликованное лишь в 1886 году в «Русской старине». Оно высмеивает патетическую риторику русофилов, выступавших в 1850-е годы против строительства в России железных дорог, якобы нерентабельных и противоречащих укладу русской жизни. Конечно же, речь идет о сгущении и доведении до абсурда патриотизма консерваторов, подчас отвергавших научные аргументы. Добролюбов противопоставляет традиционные представления о «русской воле» строгости железнодорожных рельсов, свернуть с которых невозможно:

Часом в час рассчитан
Путь его помильно...
Воля моя, воля!
Как ты здесь бессильна!

То ли дело с тройкой!
Мчусь, куда хочу я,
Без нужды, без цели
Землю полосуя.

....

Но — увы! — уж скоро
Мертвая машина
Стянет и раздолье
Руси-исполина[323].

Далее пародист разворачивает типичную риторику якобы «особого духа» России, который должен проявиться даже в технической сфере — поездах и их двигателях:

Но не поддадимся
Мы слепой рутине:
Мы дадим дух жизни
И самой машине.

Не пойдет наш поезд,
Как идет немецкий:
То соскочит с рельсов
С силой молодецкой;

То обвалит насыпь,
То мосток продавит,

То на встречный поезд
Ухарски направит.

....
Верю: все машины
С русскою природой
Сами оживятся
Духом и свободой[324].

Понятно, что железная дорога уже тогда осознавалась как символ прогресса и движения истории. В таком контексте попытка изобрести «свой», русский ее аналог прочитывается как вариация на тему «особого пути» России, для которой не писаны законы европейского прогресса. Добролюбов едко иронизирует над этой иррациональной, хотя и привлекательной «домашней» идеей, давая понять, что «русский дух» железной дороги проявится в нарушениях расписания, плохом качестве полотна, небезопасности и дороговизне.

Многие стихотворения «Свистка» устроены сходным образом, но некоторые звучат злободневно и сегодня.

Глава четвертая

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ЖЕНИТЬБА

Лето 1858 года

Ошибочно думать, что журнальная деятельность полностью поглотила Добролюбова. Даже во время самого напряженного сотрудничества в «Современнике» (1858—1860) критик не оставлял попыток устроить личную жизнь. Необходимо вернуться в 1858 год, чтобы проследить кульминацию и развязку романа Добролюбова и Терезы Грюнвальд.

Конец 1857-го и первая половина 1858 года стали самым счастливым периодом их отношений. Увы, никаких документальных свидетельств об этом до нас не дошло — с одной стороны, потому что влюбленные жили вместе, с другой — потому что Добролюбов, до поры удовлетворенный подобием семейной жизни, никому не писал о своем счастье.

Вызволение Терезы из дома терпимости в 1857 году на какое-то время стало для Добролюбова событием, питавшим и его любовь, и его тщеславие. В самом деле, хотя единичные случаи «спасения» девушек из борделей и были зафиксированы и описаны в медико-социологических работах XIX века, возможность покинуть публичный дом в то время была крайне редкой[325]. Так, за 1853—1858 годы лишь 0,62 процента проституток из домов терпимости вышли замуж, а совсем оставили «профессию» только 1,66 процента[326]. По сведениям доктора Тарновского (1879), только одна из каждых десяти женщин, ушедших из домов терпимости и устроившихся на другую работу, осталась на новом месте, еще одна умерла, а остальные вернулись к привычному делу[327]. Таким образом, спасение Терезы Добролюбовым — факт скорее экстраординарный. Судя по сохранившимся документам, по крайней мере до 1861 года Тереза не возвращалась к прежнему занятию. Вот как она сама оценивала свое освобождение в письмах Добролюбову от 28 марта и 18 октября 1860 года:

«...да и как могла я не быть счастлива — ты дал мне, мой дорогой Колинька, новую жизнь. Что бы я была без тебя. Ты был мне как отец, как хороший отец, когда все меня оттолкнули, ты принял меня и сделал счастливой...»

«Ах, Колинька! ведь это так печально, я же всю жизнь страдала, пока не узнала тебя. Но до того как с тобой познакомилась, с того времени я сделалась совершенно другим человеком. Ты был моим благодетелем, моим спасителем, а сейчас, когда мне в последний раз нужна твоя помощь, именно сейчас ты мне отказываешь, тебе же легче взять в долг, чем мне»[328].

Письма эти Добролюбов получал, уже расставшись с Терезой. Она пыталась найти заработок, но не преуспела в этом. Неотступная нужда заставляла ее то и дело просить у Добролюбова денег. Неудивительно, что ее письма очень риторичны. Разумеется, процитированные строки можно расценить как уловки хитрой, бьющей на жалость женщины, умоляющей бывшего любовника выслать ей деньги «в последний раз». Но дело не только в этом. Тереза умела представить свое положение именно в тех словесных формах и смысловых контурах, которые должны были войти в резонанс с добролюбовским пониманием их общей истории.

Добролюбов, несомненно, поначалу воспринимал свою любовь к Терезе в духе популярного сюжета о «спасении заблудшей души», а потому полагал, что его долг — не только «выкупить» ее из дома терпимости, но и «перевоспитать», «просветить», а затем на ней жениться. Эти настроения отразились в исповедальных стихотворениях июля—августа 1858 года, которые образуют как бы второй раздел в уже знакомом нам «грюнвальдском цикле».

Вначале героиня предстает безусловной жертвой, причем жертвой не только и не столько уродливых социальных отношений, но и своего спасителя:

Чтобы тот, кто тебя от паденья
Спас в горячих объятьях своих,
Что тебя он привел к преступленью
Против чувств твоих самых святых.

Ты ошиблась, ошиблась жестоко...
Много слез ты со мной пролила,
Ты во мне ту же бездну порока,
От которой бежала, нашла.

....

«Отчего ж ты меня не целуешь?
Не голубишь, не нежишь меня?
Что ты бледен? О чем ты тоскуешь?
Что ты хочешь? — всё сделаю я...»

Нет, любовью твоей умоляю,
Нет, не делай, мой друг, ничего...
Я и то уж давно проклинаю
Час рожденья на свет моего...

(«Ты меня полюбила так нежно...».
31 июля 1858 года)

Это, пожалуй, самое трагическое стихотворение «грюнвальдского цикла» выглядит крайне непонятным: почему же спасающий оказывается порочнее спасаемой, вопреки сценарию, хорошо известному по влиятельной литературной традиции? В знаменитом стихотворении Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» (1847) героиня «освятилась и спаслась», войдя «хозяйкой полною» в дом лирического героя, нравственность которого не подвергается никакому сомнению. В автобиографических стихотворениях Добролюбов оспаривает счастливый и бесконфликтный исход отношений персонажей Некрасова, пытаясь зафиксировать в тексте и сублимировать мучительные переживания, связанные с кульминацией их с Терезой любви — неудачную попытку женитьбы, предпринятую в начале августа 1858 года. Можем ли мы объяснить процитированное стихотворение этим биографическим фактом? И что за «преступление» героини против ее самых святых чувств имеется в виду?

Уехав в июне лечиться в Старую Руссу, Добролюбов, судя по всему, не собирался делать Терезе предложение. Он написал ей далеко не сразу, только 15 июля. В ответ возлюбленная жаловалась на тяжелую болезнь, от которой едва не умерла; писала, как ранил ее вопрос Добролюбова, «сколько [ей] нужно денег, чтобы оставить [его] в покое». Постоянная необходимость снабжать Терезу деньгами, очевидно, раздражала Добролюбова, и он убеждал ее приискать какой-нибудь заработок. Она отвечала, что предпринимала такого рода попытки: брала шитье на дом, пыталась поступить в актрисы:

«В театр я тоже ходила, но мне Директор сказал, чтобы я постаралась вылечить свои уши. Еще он сказал, что поступить можно ведь во всякое время. Если бы в другие

Актрисы, то трудно, потому что долго учиться, а для танцы очень легко, и что у него теперь мало хороших танцо[в]-щиц, и желал мне очень, чтобы я поступила, и даже когда я поступлю, то велит с меня снять портрет. Ему нравилось, когда я надела балетных платьев. Он говорит, что я буду очень ловка и что у [меня] мягкие члены, что я могу гнуться хорошо, и велел скорее вылечиться. Поступить можно хоть зимою»[329].

Видимо, из этих планов ничего не вышло, и Тереза продолжала жить на содержании возлюбленного. 28 июля она отправила ему роковое письмо — сообщила, что сделала аборт:

«Бабушка ко мне всё еще ходит. А ведь было бы очень худо, я думала, что умру, и без тебя. Это было бы ужасно! Шарлотта Карловна тогда ездила за Пастором и я причащалась. Только она ничего этого не знает. Она думает, что я еще этим больна, только она догадывается и бранит, спрашивает, не делала ли я что-нибудь. Говорит мне: посмотрю я, сколько времени ты будешь так ходить и отчего тебе Пастор такие наставления и упреки делал. А ему нельзя было не сказать. Потом он спрашивал кто, и я ему сказала, что я не знаю кто и что, я не нарочно это сделала. Да ну что об этом говорить, я бы не хотела об этом думать, хоть и жалко, что же делать. Тебя ведь надо более жалеть, потому что ты бы об этом ужасно беспокоился, а может быть, ты и этому не веришь. Ты ведь подробности можешь узнать от Софии К[арловны] и от Бабушки. София К[арловна] ничего не говорила Шарлотт[е] К[арловне], она и не скажет ей, а только она хочет тебе жаловаться, что я сделала. Она думает, что ты ничего не знаешь, она говорит мне: какие же вы глупые, как бы он-то обрадовался, а вы делаете так скверно»[330].

Хотя здесь прямо ничего не сказано, суть произошедшего читается с большой определенностью и подтверждается не только следующими письмами Терезы («Дорогая, хорошая моя деточка, ты ведь сейчас моя единственная деточка, которая одна приносит мне радость. Ты не должен меня печалить, одного я уже потеряла, и ты должен меня радовать и не держать зла?»), но и более поздним письмом Добролюбова («...у нас был бы теперь ребеночек»), и Терезы 1860 года («...а я два раза теряла»[331]).

Судя по всему, новость ошеломила Добролюбова и спровоцировала сильнейший приступ раскаяния в недав-

Письмо Терезы Грюнвальд Добролюбову на немецком языке.
1858 г. РО ИРЛИ. Публикуется впервые

нем раздражении и упреках. Вспомним, что загадочное стихотворение написано 31 июля, то есть спустя три дня после получения письма об аборте. Трагические строки о том, что герой, спасший героиню, вынудил ее попрать святые материнские чувства, в свете этих событий столь же понятны, сколь и пронзительны.

«Несколько дней уже я хожу как помешанный... Недавно случилось одно обстоятельство, в котором я оказался таким серьезным мерзавцем, что все литературные мерзости, которые на меня возводят, ничто уже перед этим», — писал Добролюбов А. П. Златовратскому 1 августа, без сомнения, имея в виду прерванную беременность Терезы[332]. Однако, несмотря на муки совести, он атаковал возлюбленную новыми укорами. Из ее письма, написанного между 8 и 20 августа, следует, что «Колинька» обвинил ее в интересе к другому «кавалеру» (Тереза выезжала на какой-то «бал с Екатериной Петровной и Надинькой и их братьями») и, возможно, во лжи относительно беременности и аборта. Отчаянно отбиваясь от грозящих разрывом упреков, Тереза переходила на свой родной немецкий язык в надежде, что так ее исповедь-мольба будет звучать убедительнее (в их переписке использование немецкого языка было знаком взаимной нежности). Тереза была уверена: если Добролюбов ей пишет по-немецки, то «не сердится»:

> «Дорогой мой, я тебя очень люблю, что мне очень больно, хотя ты в это и не поверишь, и я вынуждена всё глубже погружаться в свои мысли, у меня болит душа потому, что ты меня любишь и не хочешь верить? Чем, собственно, должна я себя утешать, когда ты, мой Ангельчик, мучаешь меня и упрекаешь, но я не знаю, чем я это заслужила. Если ты придешь сюда, то сможешь всё узнать от Шарлотты К[арловны]: она всё тебе расскажет, потому что мне ты не поверишь[333].

Заверения подействовали — Добролюбов решил жениться на Терезе. Сообщил он об этом только самому близкому человеку — Чернышевскому, позднее вспоминавшему об этом так:

> «Добролюбова я любил, как сына. Но что делает Добролюбов, кроме того, что пишет, — я не знал, пока данные мне от него, при отъезде в Старую Руссу, разного рода поручения оказались слившимися в одно поручение: "Вот там-то живет такая-то девушка" и т. д., в этом вкусе.

Я разинул рот: ничего подобного в жизни Добролюбова я не предполагал. Кончилось это тем, что я при его возвращении из Старой Руссы, — насильно, я его, который был тогда еще здоров и потому был вдвое сильнее меня, — насильно повел из вокзала, где ждал его, — в карету, насильно втащил по лестнице к себе, — много раз брал снова в охапку и клал на диван: "Прошу вас, лежите — и уснете. Вы будете ночевать у меня" (поезд был вечерний) — и я остался в комнате, пока он уснул. Драться со мною? У него не поднялась бы рука на меня; а не сбить меня с ног, то вырвется ли хоть гигант из охапки мужчины? Он предвидел; он хотел убежать из вокзала от меня. Но без драки не мог вырваться»[334].

А вот письмо Чернышевского Добролюбову от 11 августа 1858 года: «В самом деле, трудно будет Вам жить спокойно, если Вы женитесь. Не будет, по всей вероятности, счастлива и она с Вами». На следующий день Чернышевский съездил к Терезе, долго говорил с ней и отправил другу письмо, в котором события рисуются несколько иначе, нежели в его воспоминаниях:

«С другой стороны, против благоразумия восстают и собственные мои романические бредни, которыми я всегда был заражен. Всё это приводит к тому, что я совершенно не знаю, как думать и говорить относительно Вашего проекта женитьбы, если Вы сами не бросили его. Не советую ничего. Как Вы поступите, так одобрит мой нерешительный и неопытный в подобных делах ум. Об одном только мог бы я просить Вас: дайте себе время обдумать то или другое решение по возможности хладнокровно. Еще вот о чем прошу Вас: когда воротитесь сюда, прежде всего заезжайте ко мне, и мы потолкуем»[335].

Из этого письма видно, что вначале Чернышевский не собирался давить на друга и заставлять его отказаться от женитьбы. Следовательно, в поздних воспоминаниях он приписал себе главную роль в спасении соратника, предотвращении его необдуманного шага. Однако возможно, что колебавшийся Добролюбов искал в советах старшего товарища дополнительные аргументы для отказа от замысла, который налагал на него слишком большую ответственность.

Чернышевский действовал расчетливо, отговаривая друга связывать свою жизнь с девушкой, которая была, по его мнению, «добрая, честная, но совершенно необразованная, не умевшая даже и держать себя хоть бы так, как

умели держать себя горничные, жившие в услужении у семейств не то что светского, а хоть бы невысокого чиновничьего круга»: «...жениться на ней значило бы убить себя и ее»[336]. Якутский прокурор Дмитрий Иванович Меликов, общавшийся с Чернышевским в его вилюйской ссылке, припоминал еще более резкое его мнение о любви Добролюбова и Грюнвальд: «Отзываясь с большим почтением о Добролюбове во всех отношениях, Николай Гаврилович считал его глубоко несчастным человеком. Его погубила любовная связь с горничной, женщиной ничтожной, не соответствующей Добролюбову и не любившей его. Добролюбов, несмотря на все свои обеты друзьям, не мог найти в себе настолько воли, чтобы отделаться от нее, расходился с нею и снова сходился»[337].

Логика демократа Чернышевского шла вразрез с этикой «новых людей», однако он оказался прав: продолжая бывать у Терезы вплоть до января 1860 года, Добролюбов постепенно убеждался, что их отношения не только исчерпаны, но и не были похожи на подлинную любовь:

> «Я понял, что никогда не любил этой девушки, а просто увлечен был *сожалением*, которое принял за любовь. Мне и теперь жаль ее, мое сердце болит об ней, но я уже умею назвать свое чувство настоящим его именем. Любви к ней я не могу чувствовать, потому что нельзя любить женщину, над которой сознаешь свое превосходство во всех отношениях»[338].

Идеальную спутницу жизни он представлял иной — духовно близкой, стоящей на его интеллектуальном уровне:

> «Если б у меня была женщина, с которой я мог бы делить свои чувства и мысли до такой степени, чтоб она читала даже вместе со мною мои (или, положим, всё равно — твои) произведения, я был бы счастлив и ничего не хотел бы более. Любовь к такой женщине и ее сочувствие — вот мое единственное желание теперь. В нем сосредоточиваются все мои внутренние силы, вся жизнь моя»[339].

Тереза, судя по всему, так и не узнала о благородном замысле Добролюбова и свыклась с отведенной ей ролью — жить врозь с возлюбленным, болеть, нуждаться, пытаться заработать на хлеб самостоятельно, рукодельничать и читать. В конце августа, после возвращения Добролюбова из

Старой Руссы, они разъехались. Тереза сняла «две очень миленькие комнатки»[340].

Решимости совсем порвать с Терезой у Добролюбова не было, и он продолжал время от времени ездить к ней в конце 1858 года и почти весь 1859-й, однако всё реже и реже. Тереза как будто чувствовала, что возлюбленный скоро оставит ее (письмо от 28 декабря 1858 года), но продолжала радоваться встречам. В ее записочках этого периода шесть раз рядом с предметами домашнего обихода упоминаются книги: «Посылаю тебе книги и 2 простыни* и 3 пары чулок». Жизнь Терезы словно бы пропитывается добролюбовскими идеями о необходимости ее образования и развития. Она просит прислать ей новые книги, возвращает прочитанные, среди которых и толстые литературные журналы. Перебравшись в начале 1860 года в Дерпт, Тереза писала Добролюбову, что «с удовольствием почитала [бы] К[олокол], Совр[еменник] или От[ечественные] Зап[иски]»[341]. Добролюбов наверняка утешался этой тягой к самообразованию — ему удалось-таки приохотить «спасенную» к чтению. Похоже, однако, что читала она еще и потому, что часто ей нечем было себя занять: найти службу или постоянную надомную работу она так и не смогла. Изредка случались заработки: однажды за какое-то шитье она получила 12 рублей — и сразу же сшила себе «миленькое платье».

Осенью 1858 года Добролюбов познакомил Терезу с самыми близкими друзьями еще со времен учебы в педагогическом институте Иваном Бордюговым и Борисом Сциборским. Когда Бордюгов поздней осенью приезжал в Петербург лечиться, они собирались вместе. В 1859-м в Воскресение Христово опять встретились, радовались и разговлялись «шоколадной пасхой»[342]. Еще раньше Добролюбов представил Терезу Чернышевскому и его жене Ольге Сократовне, которая, судя по некоторым фразам, ей очень понравилась, и та советовала своему «Колиньке» чаще ходить к Чернышевским: «Там тебя умеют ценить и уважать»[343]. А Чернышевский и вовсе стал на короткий период ее ангелом-хранителем.

Во второй половине января 1860 года, когда отношения Терезы с Добролюбовым окончательно исчерпали себя, она отбыла в Дерпт вместе с подругой Амалией — в поисках новой жизни.

---

* Неоднократное упоминание простыней в письмах Терезы, возможно, указывает на то, что она стирала белье Добролюбова.

Судьба Терезы

Дерпт был выбран подругами не случайно: среди остзейских немцев Лифляндии они чувствовали себя комфортнее. К тому же у Амалии в Нарве жили родители. Тереза решилась на необычный для бывшей проститутки шаг — поступление на акушерские курсы в клинике при Дерптском университете. В начале 1860-х годов в России как раз начали массово открываться акушерские и фельдшерские курсы для женщин[344].

Исследователям до сих не удалось выяснить, посещала ли Тереза в самом деле эти курсы или же все ее рассказы о них в письмах Добролюбову были обманом, одновременно корыстным и «возвышающим». Биограф Добролюбова Б. Ф. Егоров, специально изучавший университетский архив, утверждает, что «в списках обучавшихся на акушерских курсах никакой Грюнвальд не числилось»[345]. Исследователь проституции Тарновский приводит множество свидетельств лживости французских дам легкого поведения, которые не гнушались никакими средствами, чтобы вытянуть у клиентов и возлюбленных побольше денег[346].

Почти в каждом письме Тереза вымаливает очередные 100 рублей серебром — то для покупки имущества взамен сгоревшего при пожаре, то для внесения платы за акушерские курсы, то для возвращения каких-то долгов. Но может она и просто попросить прислать из Парижа маленькие наручные часы. Добролюбов, почти год находившийся в Европе, отвечал редко, раз в пять-шесть недель, будто нехотя, неизменно сомневаясь в правдивости приводимых Терезой причин безденежья и ссылаясь на невозможность высылать часто такие большие суммы. Тереза освоила другой путь — бомбардировать письмами Чернышевского (они сохранились в его архиве). Тот брал деньги из кассы «Современника», записывал их на счет Добролюбова и посылал в Дерпт. В общей сложности за 1860—1861 годы Тереза получила от Чернышевского более 500 рублей.

Хотя в ее письмах мы находим много очень конкретных подробностей об акушерской клинике в Дерпте — о начале занятий 22 августа, об экзаменах по разным болезням, о ее собственной регулярной практике, о знакомых докторах, — есть достаточно оснований сомневаться, что она прошла курс обучения. Часто в ее рассказах о занятиях нестыковки видны невооруженным глазом. Так, 18 октября 1860 года Тереза писала:

«Порадуйся же немного за меня, я сдала 3 экзамена: по акушерскому делу, детским болезням и по воспалениям, это разные болезни. Еще я хочу, и уже начала, изучать болезни глаз, потому что, мой любимый Колинька, мне очень нравится медицина, и еще изучаю, как самому можно сделать порошки и разные пластыри и напитки. Самое сложное — болезни глаз, но я всё же хочу попытаться»[347].

Однако спустя полгода, 28 августа 1861-го, она снова писала Добролюбову, что собирается держать экзамен по акушерству и детским болезням[348], забыв, что уже сообщала о его сдаче, а в письме от 6 января того же года излагала красочные подробности работы акушеркой:

«У меня сейчас два больных. Одна прелестная молодая госпожа 17-ти лет, но другая еще прелестнее, но она старше, ей 28 лет. Она меня щедро одарила. Я уже приняла достаточно много детей. А еще я имею право без экзамена принимать детей, только не могу выписывать лекарства. Больные меня очень любят за мои руки. В Дорпате не было акушерок с такими маленькими руками, как у меня, и еще говорят, что у меня очень маленькие ноги. Видишь, Колинька, я становлюсь заносчивой»[349].

Если верить Грюнвальд, то в ее акушерской практике случались смерти рожениц. Так, в том же письме от 6 января 1861 года она сообщала Добролюбову, что после трагического происшествия пришлось откупаться последними деньгами от судебного преследования:

«Перед праздниками со мной случилась неприятная история. Мне нужно было принять роды у тяжелой больной, и она умерла, и ребенок пострадал. За это мне нужно было предстать перед судом. Но я заплатила и сейчас на свободе — но мне это стоило очень много денег. Не было бы у меня денег, меня бы сослали, но, слава богу, сейчас всё позади и за это я должна тебя благодарить, мой добрый Колинька»[350].

В другом письме Добролюбову Тереза описывала новую «историю», как две капли воды похожую на первую: ее якобы слишком поздно позвали к роженице, та скончалась в мучениях, а пришедший профессор объявил неудачливой акушерке, что виновата именно она; дело якобы передали в суд, и теперь нужно платить штраф[351]. На сей раз Тереза

умоляла Чернышевского и Добролюбова прислать уже 675 рублей серебром.

На этом переписка с «Колинькой» оборвалась. Вернувшись в сентябре 1861 года из Европы в Петербург, Добролюбов перестал отвечать ей — здоровье начало резко ухудшаться. 1 октября, так и не дождавшись ни строчки от возлюбленного, Тереза снова написала Чернышевскому, сожалея, что ни он, ни его друг ей не верят, умоляла помочь ей 700 рублями. Перед самой смертью, 14 ноября, Добролюбов отправил ей 200 рублей[352]. В феврале 1862 года Тереза снова беспокоила Чернышевского, не зная, что Добролюбова уже нет в живых. В ответ она получила сообщение о смерти ее «Колиньки»:

> «Эти деньги — от Николая Александровича, но письма от него нет при них... да и не будет никогда... Когда увидимся с Вами, поцелуемся и поплачем вместе о нашем друге... Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ»[353].

Что могла ответить Тереза на скорбное известие? Она жалела, что «потеряла в нем благодетеля»[354], горевала, что будет жить дальше без его помощи, и, конечно же, не переставая надеяться хоть на какие-то деньги, осведомлялась, не оставлял ли Николай Александрович распоряжений относительно мебели, которую ее кузина передала ему на хранение. Переписка Терезы с Чернышевским прервалась 12 июня, когда он лишился возможности посылать ей деньги, поскольку был арестован и находился под следствием в Петропавловской крепости.

Как только приток средств из Петербурга прекратился, Тереза влезла в большие долги. В июле 1863 года дерптский суд возбудил против нее дело по иску пяти кредиторов, которым она задолжала 228 рублей. Судя по сохранившемуся в Эстонском историческом архиве (Eesti Ajaloo Arhiiv) делу, заимодавцы согласились отпустить должницу в Петербург в надежде, что она сможет раздобыть там денег. Можно предполагать, что Тереза рассчитывала лично предстать перед Чернышевским и его женой и вымолить у них искомую сумму. Полиция, отобрав паспорт, выдала ей проездной билет с требованием вернуться[355].

В конце июля — начале августа Грюнвальд появилась в Петербурге, разузнала, где находится Чернышевский, и

добилась передачи ему письма. Узник мог помочь ей только советами и порекомендовал съездить на дачу к его родственникам Евгении и Александру Пыпиным. Их-то Чернышевский и просил сделать для «несчастной девушки» всё возможное, что, скорее всего, означало помочь в поисках заработка.

Пыпины не были богаты и смогли дать Терезе лишь пять рублей, выслушав ту же самую историю: она должна заплатить какие-то долги в Дерпте, получить паспорт, а потом перебраться в Петербург и начать «новую жизнь» с акушерской практикой, получая заказы от какой-то «тетушки»[356]. Они, скорее всего, лишь посочувствовали этим благим намерениям, поскольку Чернышевский предупредил их в письме: «Всё это очень может быть не больше, как обманом каких-нибудь плутов или плутовок, водящих ее разными пустыми обещаниями и выманивающих у нее деньги»[357].

Всё, что произошло с Терезой дальше, с трудом поддается реконструкции. Материалы судебного дела показывают, что она так и не объявилась в Дерпте, оставшись без паспорта, то есть в дальнейшем жила без документов. Возвращаться в маленький эстонский город, в котором негде спрятаться от кредиторов и суда, было бессмысленно. Ее долги, по установленному всеми сторонами соглашению, должен был теперь выплачивать другой участник этой истории — некий Александр Кидов. Процесс этот растянулся вплоть до 1874 года, которым датируется последний протокол.

Что случилось с Терезой в Петербурге, мы, видимо, уже никогда не узнаем: скорее всего, она просто затерялась в столице — благо темных «углов» и трущоб там хватало.

Каким бы печальным ни был конец Грюнвальд, в жизни Добролюбова она сыграла очень важную роль. Их любовные отношения дали ему возможность иначе взглянуть на многие социальные проблемы. Вопросы эмансипации и любви уже с 1857—1858 годов воспринимались им как фундаментальные, с которыми многое было связано; социальный прогресс должен был следовать за трансформацией семейных отношений. Об этом были его лучшие статьи «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Концептуальное мышление, однако, не приносило человеческого счастья: отношения с Терезой рассыпались по инициативе самого Добролюбова. Грюнвальд же продолжала играть роль бескорыстной и безмерно благодарной любящей женщины, главным желанием которой было счастье ее

«миленького Колички». Уже из Дерпта она писала: ей прекрасно известно, что еще во время их романа Добролюбов иногда предпочитал проститутку по имени Клеменс. Так, в письме от 26 февраля 1860 года она сообщала бывшему возлюбленному:

> «Одно только я могу сказать, что я довольно спокойна и бывают минуты, когда я бываю счастлива, вспоминая прошедшее. Одно только больно: если бы не Катерин и Кл[еменс], я бы, кажется, ни за что не уехала. Я ведь только уступила свое место и думала, что ты ее очень полюбил и притом она ведь сказала, что ни за что не уступит тебя. И даже хотела мне самой сказать это, и слава Богу, что не пришлось слышать»[358].

Сквозящая в этом послании ревность в других письмах оттеняется любовью (ее искусной имитацией?):

> «Одно бы мне хотелось, чтобы ты лучше другую нашел, порядочную, а не такую, которая тебя обманывала, так же, как и я, впрочем, гораздо хуже. Ангел мой, Количка, прости меня, что я тебе поминаю, и не сердись на меня. Пиши мне всё, всё, будто ты бы писал своей матери. И познакомишься с другой, не думай, что это будет меня огорчать»[359] (11 февраля 1860 года).

Нельзя однозначно сказать, были ли чувства Терезы Грюнвальд истинными или она, изображая заботу о любимом, пыталась разжалобить его в надежде получить очередной денежный перевод. Тереза — это не воплощение ни «святой» Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания» (хотя жертвенная риторика ее писем подчас заставляет задуматься о сходстве), ни перевоспитавшейся Насти Крюковой из «Что делать?». Она и прозаичнее, и «правдивее» обеих литературных героинь. Тереза представляет собой поведенческий тип, которому не нашлось отражения в русской литературе середины XIX века. Тем интереснее вчитываться в ее переписку с Добролюбовым и пытаться понять логику их отношений. Их поздний отклик можно найти в последнем стихотворении, связанном с Грюнвальд, — «Не в блеске и тепле природы обновленной...» (1860—1861). Спустя год после разрыва Добролюбов облекает уже цитированные размышления о «неподлинности» его любви к Терезе, замещении ее чувством жалости в поэтическое прощание и прощение:

Кто знает, для чего ты отдалася мне?
Но знал я, отчего другим ты отдавалась...
Что нужды?.. Я любил. В сердечной глубине
Ни одного тебе упрека не сыскалось.

Упреки, конечно же, исчезли лишь в поэтической картине завершившегося романа. В реальности, как мы видели, переписка 1860—1861 годов была наполнена ими. Тем не менее поэтически сюжет был «закруглен», образовав подобие несобранного цикла, весьма примечательного в истории той части русской литературы (от Гоголя до Куприна и Бабеля), которая постепенно осваивала тему проституции.

«Любви безумно сердце просит...»

Вялотекущие отношения с Терезой, их редкие встречи, бремя взаимных обид и упреков побуждали Добролюбова искать утешения на стороне. В письмах Ивану Бордюгову он делился сокровенными чувствами, суть которых можно выразить очень просто: потребность в любви. Уже в конце 1858 года, когда Добролюбов окончательно понял, что у них с Терезой ничего не получится, он начал «ездить» к другим девушкам, судя по всему, таким же, как она и упомянутая Клеменс. В письме Бордюгову от 17 декабря 1858 года названа некая Бетти, которая не смогла принять клиента, потому что «ей *нельзя*...». Добролюбов несколько раз штурмовал эту жрицу любви, пытаясь остаться у нее, но та всегда отказывала, и незадачливый ухажер даже поссорился с некоей госпожой Бауер — надо думать, хозяйкой квартиры, где Бетти принимала клиентов[360].

Чернышевские и Панаевы, любившие и опекавшие Добролюбова, пытались устроить его сердечные дела: Иван Иванович Панаев на новогодних маскарадах знакомил его с разными дамами, а Ольга Сократовна Чернышевская в шутку говаривала Добролюбову, что женит его на своей сестре Анне Сократовне Васильевой. Эти разговоры начались под Новый, 1859 год после того, как Добролюбов стал засматриваться на саму Ольгу Сократовну, оказывать ей знаки внимания, ездить с ней в театр, прогуливаться по Невскому, проводить много времени в беседах с ней — одним словом, «чуть было не влюбился в жену Чернышевского, но рассудил, что это уж будет слишком». Однако она сама при-

ближала к себе приятеля мужа, оказывала ему особое расположение — «не раз поверяла тайны своего сердца», правда, «при этом призналась, что, собственно, не считает [его] за мужчину». Крайне раздосадованный этим Добролюбов вопрошал: «И что же я такое после этого? Неужели баба?»[361]

Конечно, женоподобия в Добролюбове было мало. Причина заключалась в другом — в его презрении к привычным формам ухаживания и традиционному распределению гендерных ролей. Добролюбов, по воспоминаниям современников, был человек замкнутый, застенчивый, даже робкий, но если оказывался в кругу идейно близких людей (таких как Чернышевские), то мог быть весьма красноречивым и даже страстным. На его страстности настаивал как раз Чернышевский, которого супруга, судя по многим воспоминаниям, также не воспринимала как сурового мужа, которого нужно бояться и уважать.

В конце концов Добролюбов понял, что «Николай Гаврилович ему дороже», и прекратил флирт с его супругой. Этому способствовала и внезапная нежность к нему Анны, сестры Ольги Сократовны, показавшаяся «как будто началом возникающей любви»[362]. Началось всё в январе 1859 года — именно тогда Добролюбов поделился переживаниями с Иваном Бордюговым:

> «И черт меня знает, зачем я начал шевелить в себе эту потребность женской ласки... Понапрасну только мучу самого себя... Постараюсь всё скомкать, всё порвать в себе и лет через пять женюсь на толстой купчихе с гнилыми зубами, хорошим приданым и с десятком предварительных любовников-гвардейцев... Черт их побери, все эти тонкие чувства!..»[363]

Добролюбов, очевидно, сомневался, стоит ли затевать новые отношения после недавнего романа с Терезой. Кроме того, он наверняка обратил внимание на характер новой дамы сердца. По сведениям внучки и биографа Чернышевского Нины Михайловны Чернышевской, Анна Сократовна оказалась в Петербурге восемнадцатилетней барышней и сразу же окунулась в вереницу развлечений вслед за старшей сестрой, любившей светскую жизнь. Днем — катание на лошадях, вечером — театр, пение, концерты — в то время как на половине Чернышевского скрипит перо, составляются таблицы по политической экономии, идет обсуждение корректур[364].

Добролюбова буквально разрывали сомнения: с одной стороны, эта женщина настолько влекла его к себе, что он готов был сделать предложение; с другой — он просил Бордюгова спасти его от женитьбы. Вся весна прошла в смятении чувств, подчас очень олитературенных. Примечательно, что в эпистолярных размышлениях Добролюбова об этом романе возникают Печорин и герой стихотворения Лермонтова «Завещание», который, умирая, просит передать соседке «всю правду»: «Пускай она поплачет... / Ей ничего не значит!» «Поплакать» должна была Анна Сократовна, если бы она полюбила, а Добролюбов к ней уже охладел. Он воображал себя самолюбивым любовником, который, завоевав сердце кокетки, тут же теряет к ней интерес, и за это называл себя «свиньей»[365].

Колебания и внутренние противоречия достигли апогея в конце апреля 1859 года, когда Добролюбов предпринял отчаянную попытку «спастись». Критик должен был прийти на свидание с Анной Сократовной к шести, но задержался в городе по делам и, забежав перед тем домой, нашел там «конфетку в виде сердца, из которого торчит пламя». Приложенная записка гласила: «Я Вас жду, Добролюбов; уже половина седьмого, а Вас всё нет. Скорее, скорее, скорее». Иронически пересказывая эту историю в письме Бордюгову, Добролюбов признавался, что решил на такое романтическое свидание не ходить — испугался, что «комедия, разыгрываемая над ним, грозит оставить его в круглых дураках»[366]. Очевидно, что опасался он самого себя: мог не устоять и зайти слишком далеко — сделать предложение.

Когда произошла эта история, Добролюбов дописывал статью «Что такое обломовщина?». В ней много говорится о слабости «лишних людей» в отношениях с женщинами: любить они не умеют, а если дело доходит до серьезного чувства, трусливо обращаются в бегство. В галерее таких персонажей числится Печорин, с которым Добролюбов себя в это время сопоставляет. Кажется, это совпадение не случайно: в статье критик как будто прорабатывал свои слабости и недостатки, а в жизни — пытался действовать решительно.

Если верить Чернышевскому, в первой половине мая Добролюбов сделал-таки предложение Анне Сократовне и даже получил согласие, но затем ее родственники опомнились (как будто они не замечали, что дело к этому шло!) и воспротивились браку, придумав рациональные аргументы. Почти 20 лет спустя Чернышевский в письме Пыпину

из Вилюйска от 25 февраля 1878 года рассказал, что главную роль в развязке этой истории сыграла Ольга Сократовна: увидев, что расположение ее сестры к Добролюбову перешло в более серьезное чувство, которое привело к согласию на брак, она решительно выступила против. По воспоминаниям Чернышевского, супруга сказала ему: «Держи его (Добролюбова. — *А. В.*), а я пойду бранить Анюту. Они явились ко мне объявить, чтобы я повенчала их... пусть он сидит у нас. Но какая же жена ему Анюта? Она — милая, добрая девушка; но она — пустенькая девушка. Соглашусь я испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже сестры, хотя я — дура необразованная. <...> Но всё-таки я понимаю, моя сестра — не пара Николаю Александровичу»[367].

Н. М. Чернышевская настаивала на той же причине разрыва: якобы все участники этой истории поняли, что брак невозможен, поскольку Анна и Добролюбов были людьми совершенно разных убеждений и устремлений[368].

В письмах самого Добролюбова Бордюгову названа иная причина расставания: он продолжал еще получать от Анны Сократовны «прогрессивно нежные» записки, как вдруг, «к счастью, сплетни спасли». До Добролюбова якобы дошел слух, будто он решил жениться на Анне, чтобы прикрыть интрижку с ее сестрой[369]. После этого он объяснился с семьей Чернышевских и на какое-то время перестал у них бывать, что подтверждается следующим письмом Бордюгову. С самым близким другом Добролюбов всегда был откровенен, и трудно представить, чтобы он скрывал от него истинные обстоятельства его разрыва с Анной Сократовной. А воспоминания Чернышевского, как мы уже убедились, часто пристрастны и искажают ход событий. Правда, думается, посередине: как и в случае с Грюнвальд, Добролюбов советовался с Чернышевскими, но решение принял, скорее всего, самостоятельно.

В сентябре 1859 года Анна Сократовна вернулась в Саратов и через год вышла замуж за офицера Каспара Малиновского[370]. А Добролюбов сокрушенно писал Бордюгову: «У меня остался ее портрет, который стоит того, чтобы ты из Москвы приехал посмотреть на него... Я часто по нескольку минут не могу от него оторваться и чувствую, что влюбляюсь наконец в А. С.». Добролюбов сильно тосковал. «Любви безумно сердце просит», — повторял он как заговоренный строчку из стихотворения Николая Огарева, сокрушался, что «совершенно один, не доволен ничем и ни-

кому не могу сказать задушевного слова». Он сожалел, что не женился на Анне Сократовне, с которой «мог говорить всё, что приходило в голову и в сердце»[371].

Таким образом, и вторая попытка женитьбы Добролюбова не состоялась. Сожаления об этом были недолгими — уже в феврале 1860 года началось его увлечение дочерью какого-то генерала, по сюжету напоминающее пародию Петра Вейнберга:

Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.

Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь,
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь.

Пародия была опубликована в 1859 году в «Искре», которую Добролюбов читал, так что, весьма вероятно, он держал этот яркий текст в памяти, когда иронически описывал свою историю в письме Бордюгову.

Затащенный после оперы к знакомым, Добролюбов увидел там девушку, от которой не мог оторвать глаз, пораженный ее красотой. Проклиная свою неуклюжесть и неумение танцевать, он разузнал, кто она, и на следующий же день явился с визитом к ее отцу, оказавшемуся важным генералом, страдающим от недостатка карточных партнеров. Добролюбов стал ездить к ним в дом, дабы проигрывать хозяину «ералаш» в надежде созерцать предмет своего обожания. В конце концов в один из таких визитов гостям было объявлено о помолвке генеральской дочери и молодого офицера, с которым Добролюбов познакомился и даже нашел в нем «родственную душу». «А ведь и офицерик-то плюгавенький... Эхма!!!» — резюмировал Добролюбов всю эту историю, иронизируя и над счастливым соперником, и над собой[372].

Только в Париже ему представится возможность вновь почувствовать себя влюбленным.

Глава пятая

ПОСЛЕДНИЙ ГОД: ПОЛИТИКА И ЛЮБОВЬ

Русский путешественник

В жизни Добролюбова не было года без хвори. Он тяжело болел в октябре—ноябре 1857-го: простуда и золотуха. Потом, весной 1858-го — сыпь, недомогание; золотуха «бросалась» в разные места организма («болен уже несколько месяцев»). В мае «страдал грудью»: начинался туберкулез. Врачи советовали переменить климат, и Добролюбов съездил на лето в Старую Руссу, где его лечили от золотухи грязями и ваннами. Летом болели зубы, потом нога, происходили «приливы к голове» (сентябрь 1859)[373].

Чернышевский и Некрасов настаивали на лечении в Европе. В середине мая 1860 года Добролюбов впервые выехал из России в Берлин. Поставки статей в «Современник» и сатиры в «Свисток» при этом не прерывались.

Европейский маршрут Добролюбова был во многом предопределен состоянием его здоровья и рекомендациями врачей, советовавших «брать купания» в теплых морях и дышать просоленным воздухом. Однако, вместо того чтобы прямиком направляться на швейцарские озера и на французское морское побережье, Добролюбов по несколько дней жил в Берлине, Лейпциге, Дрездене и Франкфурте.

Письма Добролюбова из Европы поражают полным отсутствием упоминаний об осмотре достопримечательностей. В отличие от своих известных современников и соотечественников Карамзина, Жуковского, Достоевского, стремившихся посетить знаменитые средневековые города, соборы, монастыри, картинные галереи, критик интересовался не культурой, историей и искусством, а политикой и природой. Можно было бы подумать, что состояние его здоровья не позволяло совершать прогулки и экскурсии, но плохо чувствовал себя он лишь первый месяц, в Германии, что не мешало ему в Берлине, а потом в Париже

заниматься организацией европейской подписки на «Современник»[374].

Приехав в Саксонию, Добролюбов предпочел Дрездену с его знаменитой картинной галереей скалы и тропинки заповедного горного места недалеко от столицы королевства:

> «В Саксонской Швейцарии виды, точно, превосходны; но в городе всё так узко, темно, грязно, что он годится гораздо более для панорамы, нежели для живого глаза. А в панораме он, точно, должен быть великолепен с своими узкими, закопченными зданиями, мутной и узенькой Эльбой, разрезывающей его, и свежей зеленью, которая его опоясывает, составляя контраст с копотью и грязью стен»[375].

Симптоматично, что Добролюбов смотрит на город сверху; ему чужд взгляд пешехода, петляющего по узким улочкам. Живым организмом для него был вовсе не каменный город, а природа. Можно думать, что на таком восприятии сказались влияние Фейербаха, рационализм и утилитарное отношение Добролюбова к искусству. Разумеется, о галерее, архитектуре или соборах путешественник даже не упоминает. Единственное место, которое он посетил в Дрездене, — театр, где был поражен обилием и даже засильем соотечественников, «которые несли ужасающую дичь, воображая, что никто их не понимает»[376].

Такой взгляд преобладал у Добролюбова и в следующих пунктах маршрута. Приехав из Дрездена в Прагу, он вместо достопримечательностей упоминает демонстрации студентов с пением чешских песен[377].

Долгую остановку пришлось сделать в швейцарском курортном Интерлакене. Оттуда нужно было ехать в российское посольство в Берн — хлопотать о продлении заграничного паспорта. Швейцарские городки и ландшафты, в европейской культуре связанные с Руссо, Вольтером и Байроном, а в русской — с «Письмами русского путешественника» Н. М. Карамзина, у Добролюбова не вызвали никаких культурных ассоциаций. Он лишь методично фиксировал улучшение своего физического состояния, прогулки по горам с подъемом на вершины и ледники[378].

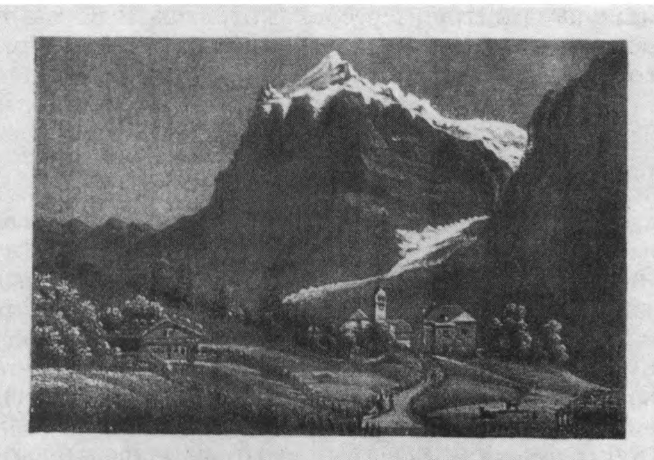
После Швейцарии Добролюбов провел в нормандском Дьепе, на французском побережье Ла-Манша, три унылые недели: купания, писание статей в «Современник», разго-

воры с отдыхающими. В планах критика было вырваться в Париж, куда его еще в июне 1860 года позвал добрый знакомый Николай Николаевич Обручев, профессор Академии Генерального штаба. Между делом Обручев жаловался на «бонтонность» встреченного им писателя Ивана Гончарова, который оказался «не нашего поля ягодой»[379].

Добравшись в начале сентября до Парижа, Добролюбов поселился у Обручева, квартировавшего в одном из семейных пансионов Латинского квартала, где прожил до конца ноября. Здесь его спартанская жизнь была освежена новым чувством. Откладывая рассказ об очередной любовной интриге Добролюбова, подчеркнем, что его парижские развлечения, очевидно, ограничивались прогулками по бульварам, паркам, беседами с Обручевым. К искусству путешественник оставался равнодушен. Всё, чего он жадно искал, — новая обстановка, в которую можно было бы сбежать от себя, от своего амплуа ядовитого публициста. Вот как он описывал это состояние в письме Антонине Кавелиной, жене известного историка:

> «Здесь я начинаю приучаться смотреть и на себя самого как на человека, имеющего право жить и пользоваться жизнью, а не привязанного к тому только, чтобы упражнять свои таланты на пользу человечества. Здесь никто не видит во мне злобного критика, никто не ждет от меня ядовитостей... Когда я ухожу — говорят, что я "прогуливаюсь" или "бегаю по Парижу"... когда я пишу, мне замечают, что у меня, должно быть, большая корреспонденция. Затем в персоне моей видят молодого человека, заехавшего в чужой край, довольно плохо говорящего по-французски... Сегодня, например, я без зазренья совести коверкал французский язык, разговаривая с племянницей хозяина, маленькой и вострой брюнеткой лет семнадцати»[380].

Парижская «идиллия» продлилась всего два месяца. Добролюбова тянуло на юг — в Италию. Завершился его европейский вояж переездами по итальянским городам и провинциям с декабря 1860 года по май 1861-го: Турин, Генуя, Флоренция, Венеция, Рим, Неаполь, Палермо, Мессина. Из писем этого периода вообще исчезают упоминания о достопримечательностях: мы не знаем, бродил ли Добролюбов по прекрасным городам, заходил ли в соборы и палаццо, любовался ли картинами, фресками или руинами античных храмов. По всем деталям складывается



[illegible] 1860

Милая тетенька Фавста Васильевна и милый мой брат Михаил Иванович. Надеюсь, что вы перестанете на меня сердиться, узнавши, в каком положении был я весь последний год. Всякого рода хлопоты и работа до того меня уходили, что я был сам не свой всю осень и зиму. Грудь болела, кашель душил меня повсюду так, что только стон стоял в комнате. Я постоянно был расстроен и болен. Письмо твое, милый мой Михаил Иванович, с известием о смерти Лизы, получил я в самую скверную минуту: оно подняло большую горькую [illegible]

Письмо Добролюбова тетке Фавсте Васильевне Благообразовой из Швейцарии. *Июль 1860 г.*

впечатление, что его интересовала только политика — Рисорджименто, движение за объединение Италии, свидетелем которого стал русский путешественник.

Россия а-ля Италия

Италия привлекала Добролюбова не только климатом, наиболее благотворным для его здоровья, но и политическими событиями. В 1859 году либеральное правительство Сардинского королевства во главе с премьер-министром Камилло Кавуром в союзе с Францией начало освободительную войну против Австро-Венгерской империи и добилось присоединения к единой «новой Италии» Тосканы, Ломбардии, Модены, Пармы и других областей. Особую роль в объединении страны сыграли отряды повстанцев под предводительством Джузеппе Гарибальди, свергнувшие власть Бурбонов в Неаполе — столице Королевства обеих Сицилий. 17 марта 1861 года в Турине состоялось открытие итальянского парламента, провозгласившего легитимность объединенного Итальянского королевства во главе с Виктором Эммануилом II*.

Те мартовские дни Добролюбов провел в Турине, присутствуя на заседаниях парламента и готовя для «Современника» очерк «Из Турина», в котором с точки зрения последовательного демократа описаны прения сторон, выступления Кавура и разноголосица политических мнений, царившая в бурлящем городе и стране, переживавшей небывалый всплеск гражданской активности. Ассоциация с пореформенной Россией напрашивалась сама собой. Напротив, атмосфера Неаполя, столицы королевства, напоминала русскому путешественнику Николаевскую эпоху в России.

Итальянские впечатления вылились в цикл статей о национальном освободительном движении, который писался с оглядкой на дела в отечестве. Каждое событие Рисорджименто подавалось критиком в двойном ракурсе — и как факт итальянской современности, и как пример того, что может случиться в другой стране под монархической властью.

---

* *Виктор Эммануил II* (1820—1878) — король из Савойской династии, взошедший на престол Сардинского королевства (Пьемонта) в 1849 году и завершивший объединение Италии в 1871-м.

Конечно, Добролюбов был не единственным русским публицистом, трактовавшим итальянские события в таком ключе. Недавние исследования (в частности, книга Андреаса Реннера о русском национализме) показали, что и либеральные, и демократические журналы и газеты в конце 1850-х годов пытались осмыслить итальянский опыт и спроецировать его на события в России. Объединение Италии под лозунгами наиболее современной на тот момент идеологии «национализма» оказало большое влияние на представления русских интеллектуалов, проектировавших ту форму, в какой России предстояло встретить и отмену крепостного права, и Польское восстание 1863 года, и другие проблемы, вызванные резким возрастанием социальной турбулентности в самых разных уголках империи[381]. «Национализм» середины XIX века предполагал объединение народов поверх династических, сословных и политических барьеров на основе культурно-языковой общности людей, издавна проживающих на определенной территории и имеющих общую непрерывную культурную традицию. Ключевой целью мыслились модернизация государства и европеизация общества. Варианты ответа на вопросы, что такое нация и каков (этнический, языковой или идеологический) главный критерий ее единства, существенно разнились. Случай Италии выглядел для современников простым: итальянцы — сообщество людей, говорящих на не сильно различающихся диалектах, имеющих общую историю начиная с Античности и борющихся с иноземным французским и австрийским владычеством и деспотическим правлением Бурбонов в Королевстве обеих Сицилий.

Полностью спроецировать эту ситуацию на Россию было невозможно: она не была раздроблена, не находилась под иноземным гнетом. Поэтому русские публицисты предлагали по-разному осваивать уроки Рисорджименто. С одной стороны, все они понимали, что освобождение крестьян прибавляет к слою сознательных граждан многомиллионную массу — народ, который должен очнуться от векового сна и осознать свои права; его нужно просветить, «вырастить» и перевести отношения бывших крепостных и их помещиков в современные правовые категории. С другой стороны, объединение Италии, потребовавшее военного противодействия Австрии, высвечивало для русских публицистов нестабильность положения в Российской империи, на западных окраинах которой, в Польше и Ма-

лороссии, уже давно зрели национальные движения (например, деятельность Кирилло-Мефодиевского братства украинофилов с 1840-х годов), угрожавшие отделением от «единого тела». Либеральная пресса находила успокоение в торжестве Виктора Эммануила и его правительства во главе с Кавуром и прекращении диктатуры радикала Гарибальди: «легитимный» порядок был сохранен и лишь усовершенствован принципиально новой идеей нации, не предполагавшей непременного перехода от монархии (уже конституционной) к республике.

Собственно, все «итальянские» статьи Добролюбова направлены против либерального понимания Рисорджименто. В отличие от обозревателей «Русского вестника», «Отечественных записок», «Сына отечества» и других журналов, публицист «Современника» мало интересовался национальным вопросом, выдвигая на первый план проблему установления справедливого республиканского устройства, который обеспечил бы реализацию всех прав и свобод для простого итальянского народа. В самой ранней из «итальянских» статей «Непостижимая странность» (Современник. 1860. № 11), вторая часть которой, к сожалению, не была дописана, Добролюбов пытался растолковать русскому читателю, как и почему в Неаполитанском королевстве могла произойти революция, если все путешественники-публицисты изображали итальянский народ ленивым, покорным, терпеливым и полностью поддерживающим католическую церковь и королевскую власть. Представление о высоком уровне поддержки простым народом существующей власти Бурбонов, рассуждал Добролюбов, может быть опровергнуто данными о большом количестве восстаний, методично собранными из разных источников. Однако государственная пропаганда через систему образования, церковные проповеди и официальную прессу сводит шансы противников режима на его изменение почти к нулю. Интригующий вопрос, как же стала возможна революция в стране, где не наблюдалось явных признаков недовольства и не существовало серьезной оппозиции власти, и задает читателю автор[382].

Во второй, недописанной статье Добролюбов разбирает два варианта ответа на этот вопрос. Судя по всему, он собирался отмести весьма популярную конспирологическую версию — об иностранном вмешательстве (Сардинского королевства и Франции) и внушить читателям, что сама система, давно дискредитировавшая себя, при первом же

внешнем и внутреннем давлении на нее обрушилась сама собой[383]. Примечательно, что в статье «Отец Александр Гавацци и его проповеди» цитируется одна из проповедей этого удивительного священника-повстанца: «Только революция может создать Италию»[384]. Это, как нам кажется, свидетельствует, что Добролюбов не придавал значения либеральным теориям строительства нации и не верил в возможность ее создать, следуя по пути Кавура (политику которого критик высмеял в статьях «Два графа» и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура»). Революция, по представлениям Гавацци и Добролюбова, была единственным способом в одночасье сконструировать нацию, которой не было, через быстрое наделение всех граждан равными правами и свободами.

В статье «Из Турина», пожалуй, самой живой из «итальянских», написанной в жанре очерка очевидца, Добролюбов попытался более конкретно намекнуть на причины, по которым не произошло победы Гарибальди:

> «Всё дело в том, что партия оппозиции и в Италии, как везде, не связана с народом практически... народ не с ними, не знает их и не понимает. <...> Если где и казалось вероятным избрание какого-нибудь радикала, то стоило министерской партии описать его как *красного*, террориста, жаждущего крови и раздоров, и все от него отказывались»[385].

Добролюбов красочно описывал не только усилия правительства Кавура, направленные на нейтрализацию оппозиции, но и махинации, которые якобы были замечены на выборах.

«Итальянский» цикл статей сегодня читается с интересом, поскольку написан остроумно, бойким пером. Здесь Добролюбов вполне реализовал свой дар публициста: говорил о сложных политических процессах доступно и аргументированно, пропагандируя любимую идею социальной демократии и ненавязчиво предлагая читателю проецировать каждый сюжет на ситуацию в России. Подтекст «итальянских» статей превосходно понимали не только читатели, но и цензоры, что следует из их донесений. Лишь в статьях о европейских событиях в 1860—1861 годах можно было, говоря о современности, открыто употреблять слова «революция», «переворот», «деспотизм»; в статьях о русской литературе — только намекать на это.

Жажда любви: Эмилия и Ильдегонде

Не следует думать, что политика полностью поглотила Добролюбова, как только он выехал в бесцензурное пространство Европы. Поддерживая переписку с Терезой Грюнвальд, он по-прежнему пытался утолить потребность сердца в любви. Судьба готовила ему почти полное повторение истории с Грюнвальд — теперь уже в парижских декорациях. Французское увлечение Добролюбова до сих пор было известно только обрывочно[386]. Сейчас у нас есть возможность восстановить историю романа Добролюбова с француженкой Эмилией Телье (Tellier) по ее письмам, сохранившимся в архиве критика.

В начале октября Добролюбов, вероятно на бульварах, познакомился с Эмилией Телье. Парижанка принимала клиентов в собственной квартире, где жила с горничной Марией. В те годы многие иностранцы, в том числе и русские, наведывались в Париж в надежде завести необременительные связи с француженками. В 1861 году другой молодой сотрудник некрасовского «Современника», прозаик Николай Успенский будет так же наслаждаться прогулками по бульварам в поисках легкой добычи, сообщая в письме поэту Константину Случевскому:

> «Париж великолепен!.. Я влюблен в Париж!.. Цирк здесь отличный — гризетки все в свеженьких юпочках... В Париже вам одна снежной белизны юпочка швейки много скажет... В Париже надо непременно обзавестись девочкой... да хорошенькой, а это здесь так легко... нигде в свете вы не найдете ничего подобного... Гризетки ходят, как мокрые куры... я иногда примусь бегать за какой-нибудь, да и брошу...»[387]

При всей разнице темпераментов Успенского и Добролюбова и отказе последнего от любых развлечений их сближала страсть к женскому полу.

После нескольких встреч Телье убедилась, что молодой русский испытывает к ней сильную симпатию. Желая сделать свидания более частыми, Эмилия слала Добролюбову письма с просьбами прийти; она надеялась, что новый русский друг вытащит ее со дна, на котором она оказалась: «У меня нет шансов, но ты такой замечательный, что сможешь изменить меня. Надеюсь, что мое жалкое письмо, полное ошибок (что верно, то верно. — *А. В.*), ты получишь

лично в руки. Видишь, как плохо я пишу, в каждом слове есть ошибка, а то и две...»[388]

Свидания не прекратились и полтора месяца спустя, но случались редко — лишь тогда, когда Добролюбов сносно себя чувствовал. Через полмесяца, 1 ноября, Эмилия высказывалась уже более страстно: «Я уверяю тебя, мой друг, что я сдержу свое обещание, потому что я уверена, что ты сделаешь меня счастливой. А я, в свою очередь, не перестану тебя любить. И я верю, что смогу сделать тебя счастливым». Эмилия и опасалась приходить к Добролюбову в пансион, чтобы не компрометировать его, и тяготилась одиночеством. При этом по письмам парижанки ясно, что Добролюбов сомневался в искренности ее чувств, подозревал ее в «лицемерии» и предполагал, что она продолжает «подрабатывать». «Ты ошибаешься, мой друг, — возражала Эмилия, — твои сны — неправда. В четверг ночью я не была в объятьях другого. Я провела ту ночь в одиночестве, с грустью думая о тебе. <...> Ты же знаешь, я не виновата, что мне приходится продавать свои ласки другим». Телье мечтала, что вернется первоначальная идиллия: Добролюбов будет приходить к ней утром, проводить весь день с ней, а ночью она ляжет на полу, а он — на кровати[389].

В конце ноября Добролюбов принял решение ехать в Италию и, вероятно, предложил Эмилии отправиться за ним, бросив «грязную» жизнь в Париже. Очевидно, она рассчитывала купить билет на деньги, полученные в ломбарде за заложенный браслет — добролюбовский подарок[390]. Эмилия в отчаянии просила прислать ей 1090 франков (примерно 500 рублей по тогдашнему курсу), чтобы выкупить драгоценность. Денег девушка не получила, о том, что сталось с браслетом, не сообщила, зато призналась, что вынуждена «выходить» на улицу, чтобы заработать денег: «И знай, что я не храню тебе верность, но всё идет плохо. Возможно, завтра будет лучше. Мой друг, не злись на меня. Я не могу поступать иначе. Я хотела бы иметь другую жизнь. Желаю этого всем моим сердцем»[391].

Первого декабря, когда Добролюбов был уже далеко, Эмилия призналась, что только после расставания поняла, как сильно любит его, страдает без него, беспокоится о его душевном и физическом здоровье.

Восьмого декабря ее переживания дошли до крайности — она решилась распродать мебель и ехать:

«Мой друг, скажешь ли ты еще раз, что я не люблю тебя? Неблагодарный! Я горжусь тем, что не утратила все чувства. Я не хочу вести такую жизнь, выдавая себя за другую. Сейчас, мой друг, вернешься ли ты в Париж, чтобы дать мне совет? Напиши мне, ведь ты не хотел, будучи еще в Париже, чтобы я позволила тебе уехать, и не решилась сделать то, что ты ждал от меня. Наверно, я упустила свое счастье? Так, может, ты вернешься в Париж? Я знаю, что все эти поездки потребуют расходов, но ведь ради того, чтобы быть счастливыми, нужно жертвовать всем возможным»[392].

Судя по всему, Эмилия имела здесь в виду их лучшие, самые счастливые парижские дни, когда, вероятно, Добролюбов намекал ей на возможность совместной жизни и даже женитьбы, но с условием, что девушка навсегда бросит прежнюю «профессию» и согласится следовать за ним. Он даже говорил одному из своих парижских знакомцев Карлу Доманевскому, что предполагает «прожить с ней счастливо года два»[393]. Косвенным доказательством этому служит признание Добролюбова в письме дяде от 13 (25) октября, что он «здесь жениться хотел»[394]. Намерениям этим не суждено было осуществиться. Добролюбов явно не собирался возвращаться в Париж и звал Эмилию к себе в Италию, но денег не прислал. Она отвечала:

«Господи, как же я несчастна! Мой бедный друг, как бы ты хотел, чтобы я поступила? Я вызвала оценщика. Ты знаешь, сколько он предложил за всю мою мебель? Всего 1900 франков. Как я смогу сделать то, о чем ты просишь? Это невозможно. 19 января истекает срок оплаты аренды квартиры, я должна заплатить 900 франков за три месяца, этого я не предусмотрела. Как видишь, у меня остается еще 1000 франков. Чуть не забыла тебе сказать, из них я должна дать немного обивщику мебели. Также есть другие мелкие расходы, выходит как раз 1000 франков. В общей сложности понадобится 1900 франков — это вся сумма от продажи мебели. После всего я не могла просить тебя оплатить мой билет. 30-го числа и 12-го тоже я была в ломбарде. Я заложила две цепочки для часов, мои кольца, твой браслет, всё, что у меня было. К тому же у меня есть принципы, которые не позволяют мне вот так уехать. Узнав про всё это, ты теперь видишь, любимый мой, насколько я несчастна. Я будто связана по рукам и ногам, мой друг, я заслуживаю жалости. Моим утешением стало твое письмо, где ты пишешь, что чувствуешь себя лучше.

6

paris le 10 novembre

Mon cher ami

je crois que tu me garde rencune
ou que tu est faché contre moi
parce que tu ne viens pas
je ne te comprend pas que tu
te fache contre moi tu dois savoir
comme je suis capricieuse mais
je t'en prie ne fait pas
atention viens au cinq si
tu est malade mais j'aime
mieux que tu viennes

Письмо Эмилии Телье Добролюбову на французском языке.
1860 г. РО ИРЛИ. Публикуется впервые

Но умоляю тебя, мой друг, не слишком огорчайся, сделай это для меня. Я — женщина и я знаю свое место, но, мой друг, я не хочу верить, что мы расстанемся навсегда»[395].

В это самое время Добролюбов обменивался письмами с Обручевым, изливая ему душу и, очевидно, ожидая в ответ сочувствия и одобрения своих поступков. 7 декабря Обручев хвалил Добролюбова за то, что он «удрал из Парижа». По его мнению, друг вкладывал в эти отношения гораздо больше, чем Эмилия, которая принадлежит к известному типу падших натур, из эгоизма не готовых ничего отдавать взамен, тогда как истинная любовь должна быть «равномерна с обеих сторон»[396]. Доманевский, по поручению Добролюбова несколько раз посещавший Эмилию в начале 1861 года, считал ее типичной кокоткой, чье ремесло заключалось в обмане любвеобильных приезжих:

«Вы мне говорили, она никогда у Вас не просила денег, а чем докажете, что это происходило от ее любви, а не от хитрости. Ведь она лоретка, а все они только и рассчитывают на иностранцев, в особенности на русских, что считают за большую честь, и этим хвастаются... Так как не всякий день им приходится иметь добычу, то они и стараются привязать каждого посетителя подольше, и они очень хорошо знают, что лаской и деликатностью всегда можно вытянуть больше, и уже сразу видят, от кого что можно ожидать. Вы же своею предубежденностью никогда не подавали к тому повода. На все ее поцелуи и нежности надо смотреть как на дело всего ее ремесла»[397].

Так кем же была Эмилия — несчастной женщиной, искренне полюбившей молодого русского, или расчетливой проституткой, тянувшей из него деньги? Скорее всего, верно второе, и Добролюбов понял это по следующему ее письму, где вскрылись неожиданные подробности ее жизни:

«Ты знаешь Марию, мою горничную, так вот — она моя мать. Пойми меня, я не смогла тебе это сказать, когда ты пришел ко мне в первый раз. <...> Я остаюсь с моей мамой, и мне нечего больше сказать. Но у тебя доброе сердце и ты умен, поэтому ты сможешь понять, как я страдаю. Я люблю тебя, я очень тебя люблю, но я должна также любить свою мать и не бросать ее на старости лет. <...> Будешь ли ты один всю зиму в Италии? А я остаюсь мерзнуть в Париже? И, наверное, мы не смогли бы

поступить иначе. Мне страшно думать о том, сколько у меня долгов. Я думаю, что весной буду вынуждена вернуться к своему прежнему ремеслу. Решать тебе, если это в твоих силах, мой дорогой друг. Я люблю тебя, и ты не сможешь найти во всем Париже женщины, заслуживающей большей жалости, чем я. Я люблю тебя, но должна продолжать отдаваться другим. Я не могу дальше писать. Слезы застилают мне глаза»[398].

Упоминание о больной матери, которую Эмилия не может оставить в Париже, чтобы поехать к возлюбленному, в следующих письмах превращается в мелодраматический рефрен. Получая подобные признания, Добролюбов, судя по всему, чувствовал фальшь и постепенно охладевал к французской знакомой; постарались на этот счет и Обручев с Доманевским. Уже в январе 1861 года Добролюбов сообщил Эмилии, что испытывает к ней только дружеские чувства[399]. В ответных письмах Телье продолжала рассказывать о своей трудной жизни, похожей на мелодраму:

«Я заложила всё, что у меня было, чтобы оплатить мои долги, но, ты не поверишь, я потратила эти деньги. Мама была в ярости, когда узнала. Она взяла мою шаль и продала ее. И вот сейчас моя мать сама вынуждена просить меня выйти из дома, так как у нас совсем нет денег. Мой друг, моя бедная мама стала неузнаваемой, а я бесчувственной. У меня больше нет сил. Ты знаешь, какой осторожной я была раньше? Но не сейчас. Ты просишь меня подробнее рассказать о моей жизни, так вот, напишу про один случай, чтобы ты понял, какой я стала. Я прогуливалась по улице Перш, там был американец, который постоянно смотрел на меня, а потом он попросил мой адрес, я его дала ему. Он пришел на следующий день и остался у меня на три дня. Я ходила с ним в театр, но у меня был такой "веселый" вид, что он больше не вернулся. Я была вынуждена принять такое решение, так как мне нужно заботиться о моей матери, которая уже больна»[400].

После этого послания от 14 января 1861 года переписка заглохла (или, возможно, не сохранилась). Из письма Доманевского мы знаем, что в январе он несколько раз заходил к Телье, дабы «прощупать» ее готовность выполнить обещание последовать за любимым хоть на край света, даже в Петербург. Карл напугал Эмилию и «старуху» рассказом о суровых русских обычаях убивать неверных жен (сам он якобы убил уже двух). После этих слов мать

Эмилии побледнела и, оставив рукоделие, заявила, что не поедет в Россию и ее не пустит[401]. Эта сцена дала Доманевскому лишний повод убеждать Добролюбова решительно порвать с парижской «лореткой». Но тот уже сделал для этого всё возможное: денег Эмилии не посылал, о любви не говорил и даже написал ей убийственные слова, что «женщина должна выставлять напоказ свой товар, потому что она сама является товаром»[402]. После этого переписка прекратилась.

Только 18 мая Добролюбов получил от Эмилии последнее, прощальное письмо, из которого следовало, что жизнь ее и матери идет по-прежнему, может быть, даже чуть лучше. «У меня не было любовников, но у меня есть друзья. Вот так, я всё та же. Я всё еще храню для тебя свою любовь, которая еще не потухла»[403].

История с Эмилией Телье во многом напоминает роман Добролюбова с Терезой Грюнвальд: те же обстоятельства, те же фазы отношений, те же взаимные упреки, та же невозможность долгого и прочного союза. И тот же финал.

Последняя, отчаянная попытка завязать с женщиной долгосрочные отношения произошла в мае 1861 года в Италии. «Ездил недавно в Помпею и влюбился там — не в танцовщицу помпейскую, а в одну мессинскую барышню, которая теперь во Флоренции, а недели через две вернется в Мессину», — сообщал Добролюбов писательнице Марии Маркович (Марко Вовчок)[404]. «Мессинской барышней» была Ильдегонде Фиокки. События развивались стремительно; вскоре Добролюбов в письме сделал ей предложение, но получил уклончивый ответ от ее сестры Софии Брунетти (письмо это на итальянском языке хранится в архиве Добролюбова).

Между тем намерения Добролюбова были самые решительные: в июне 1861 года он готов был ради женитьбы даже пожертвовать работой в «Современнике». «Я решался в то время отказаться от будущих великих подвигов на поприще российской словесности, — писал он Чернышевскому, — и ограничиться, пока не выучусь другому ремеслу, несколькими статьями в год и скромною жизнью в семейном уединении в одном из уголков Италии». Именно поэтому он не раз спрашивал Чернышевского, сколько денег он мог бы одалживать из кассы журнала, если бы жил в Италии и посылал статьи в Петербург. Промедление Чернышевского с ответом отняло у Добролюбова «возможность действовать решительно», и его планы расстроились[405].

В письме младшего друга старшему даже как будто бы проступают легкий холодок и обида. Произошедшая размолвка, о которой не принято было писать в биографиях Добролюбова и Чернышевского, была связана как раз с тем, что первый стоял перед тяжелым выбором: работа в «Современнике» или брак с Фиокки — и находился в нервном состоянии, явно усугублявшемся болезнью. Чернышевский почувствовал, что письма Добролюбова из Италии стали сухи и придирчивы. По его позднейшим словам, он трижды начинал писать ответ, подыскивая весомые фразы, которые смогли бы побудить друга не оставаться в Италии, а вернуться к работе. Самый главный фрагмент письма, где Чернышевский обсуждает эмоциональное состояние Добролюбова, до нас, увы, не дошел (половина листа оторвана), но его концовка явно указывает на верность нашей интерпретации: «смеешься, бранишься, а втягиваешься в него (очевидно, в дело. — *А. В.*)»[406]. Далее Чернышевский просил Добролюбова прекратить хандрить. Такие же советы ему давали и Обручев, и Панаева (письма эти не сохранились). И Добролюбов решился, как он выразился, «совершить Курциев подвиг» — отказаться от личной жизни ради журнала подобно тому, как римский герой бросился в пропасть ради спасения родного города[407].

Матримониальные планы Добролюбова расстроились из-за ультиматума родителей невесты: «либо жениться и оставаться в Италии», либо уезжать обратно в Россию. Он выбрал второе. Версия мемуариста Дмитрия Петровича Сильчевского о каком-то врачебном осмотре, которому родители Ильдегонде якобы подвергли Добролюбова, представляется неубедительной[408]. Как следует из письма Добролюбова Чернышевскому, он был волен решать, остаться ли в Италии. Есть большое искушение сказать, что Добролюбов поступил как гражданин, предпочтя служение общественному благу. Даже сохранившиеся фрагменты его переписки показывают, насколько мучительным был для него выбор между личным счастьем и «общим делом». Покидая Италию, он написал стихотворение, где вина за несостоявшийся брак возложена на возлюбленную:

Средь жалких шалостей моих,
То бестелесно идеальных,
То исключительно плотских
И даже часто слишком сальных,

Одну я встретил, для кого
Был рад отдать и дух, и тело...
Зато она-то ничего
Взять от меня не захотела.

И до сих пор ее одну
Еще в душе моей ношу я,
Из лучших стран в ее страну
Стремлюсь, надеясь и тоскуя.

Зачем меня отвергла ты,
Одна, с кем мог я быть счастливым, —
Одна, чьи милые черты
Ношу я в сердце горделивом?[409]

Драма Добролюбова заключалась в том, что совместить «дух и плоть», «личное и общественное» было невозможно. Тихая семейная жизнь и «общее дело» в его убеждениях представали двумя несовместимыми способами существования, причем первый явно оценивался невысоко. Но Добролюбов боялся признаться даже себе, как страстно желал именно этого — простого, налаженного семейного быта, жизни с порядочной женщиной одних с ним убеждений. За этим противоречием стояло другое, более глубокое. Выходцы из духовного сословия, посвятившие свою жизнь идеалу секулярного спасения и служения «в миру», зачастую воспринимали любовь и совместную жизнь по-старому — как подчинение жены мужу и доминирование мужчины. Следуя идее освобождения женщины, разночинцы часто ждали от нее полного согласия с их ценностями, готовности пожертвовать собой, но не предлагали ничего взамен. «Найти спутницу жизни, заслуживающую преданности, было так же трудно, как выбрать "правильную" политическую партию»[410], — замечает исследовательница Л. Манчестер.

Именно об этой трагической несовместимости и об одиночестве пишет Добролюбов сестре Антонине из Неаполя:

«Ты имеешь доброго, достойного мужа, который всегда принадлежал почти к нашему семейству и с которым ты можешь делить все родные воспоминания; ты устроена окончательно, у тебя есть сын, которого ты любишь и которым занимаешься. Другого ничего и не нужно для счастья, и если нужда не особенно тяготит, так, право, при этом и желать больше нечего... А вот я, например, шатаюсь себе по белому свету один-одинехонек: всем я

чужой, никто меня не знает, не любит. <...> И принужден я жить день за день, молчать, заглушать свои чувства, и только в работе и нахожу успокоение»[411].

Тот же мотив звучит в стихотворении «Нет, мне не мил и он, наш север величавый...»:

Там нет моей любви, давно в могиле мать,
Никто там обо мне с любовью не вздыхает,
Никто не ждет меня с надеждой и тоской,
Никто, как ворочусь, меня не приласкает,
И не к кому на грудь усталой головой
Склониться мне в слезах отрадного свиданья.
Один, как прежде, я там буду прозябать...[412]

Но, может быть, самую проницательную характеристику внутреннего разлада Добролюбова дал самый близкий ему однокурсник Иван Бордюгов в письме от 20 ноября 1861 года, настолько откровенном, что Чернышевский побоялся его публиковать:

«Ты сокрушаешься оттого, что в тебе нет желания любить, как ты сам говоришь, а между тем бросался на всякое говно. Из-за чего же? Неужели только из любознательности, что из того выйдет? Нет, не обманывай себя, в тебе есть желание, да нет способности... любить, потому что страшно самолюбив. Анна Сократовна с братией еще не доказывают отсутствия у тебя чувства, увлечения, она доказывает только то, что не могут увлекать... Ты до тех пор будешь иметь говно, пока не наткнешься на порядочную женщину и не истребишь в себе наклонность к эгоизму, не смиришь своего самолюбия. Пожалуйста, не забывай, что человеку порядочному можно увлекаться только порядочными, а не дрянью... О том, каким образом Италия заставила тебя разочароваться в твоих надеждах, я только догадываюсь...»[413]

Слова Бордюгова приоткрывают, возможно, наиболее глубокую причину неудач Добролюбова на личном фронте — его юношеский максимализм и эгоизм. Сам он боялся себе в этом признаться и потому едва не рассорился с приятелем. Это письмо пришло из Москвы в Петербург, когда Добролюбова уже не было в живых. Быть может, и к лучшему, что адресат не успел его прочитать...

Летом 1861 года надежда на любовь угасла. Оставалась только работа. И всего полгода жизни.

Последние статьи: в диалоге с Достоевским

Говоря о критическом методе Добролюбова, мы пришли к выводу о фундаментальном противоречии его идей об «отражающем» характере литературы и ее прогностического потенциала. Однако в двух поздних и во многом итоговых статьях Добролюбова можно найти знаки нового понимания соотношения литературы и реальности. Здесь автор неожиданно для оппонентов заговорил на языке «эстетической» критики и дал эстетическую оценку произведений. Более того, вместо того чтобы торопить жизнь, видеть в текстах знаки грядущих социальных перемен, он стал осторожнее в прогнозах, а то и вовсе отказывался давать их. Что произошло с его мировоззрением? Не были ли эти перемены лишь тактическим маневром?

Статья «Черты для характеристики русского простонародья» (Современник. 1860. № 9) написана Добролюбовым за год до смерти о сборнике «Рассказов из народного русского быта» Марко Вовчка. Конечно, ее автор еще полностью следует постулатам реальной критики, тем более что статья, писавшаяся почти параллельно с «Лучом света...», несет на себе отпечаток той же оптимистической веры в скрытые до поры силы русского человека. Говоря о феномене Марко Вовчка — Марии Вилинской, вышедшей замуж за этнографа Марковича, — Добролюбов не обсуждал ее украинские рассказы, напечатанные в 1859 году в русском переводе с предисловием Тургенева. Критик остался равнодушен к проблеме украинского национального движения, был против землячества и украинофилии, выступал за объединение всех сил против общего врага — деспотической монархической системы. Как мы помним, узкое понимание патриотизма было ему чуждо, и в таком космополитизме нет ничего удивительного. Подобно Белинскому, который в 1840-е годы негативно отнесся к первым проявлениям украинского национального возрождения, Добролюбов, исповедующий еще более радикальные социалистические взгляды, не считал эти проблемы первичными да и, судя по всему, вообще не задумывался о них.

Добролюбов использует рассказы Вовчка, чтобы поговорить о социальной реальности, преломленной в сочинениях автора. Методология неизменна: рассказы местами слабы, но благодаря их правдивости, верности действительности критик может использовать их для анализа социальных типов и общественного уклада. На примере шести

рассказов сборника Вовчка Добролюбов показывает, что в крестьянских детях живут естественная свобода, сознание своих «естественных прав», острое чувство «неприкосновенности личности» и деликатность русского простолюдина[414]. Используя весь лексикон современных антропологических и гуманистических представлений о естественных правах человека, Добролюбов в этой статье во многом упреждает основные идеи Льва Толстого, который в журнале «Ясная Поляна» в 1861—1862 годах будет настаивать на естественности первичных потребностей крестьянских детей и вреде для них стандартизированного образования и воспитания. Разумеется, Добролюбов не отрицал необходимости образования, но в данном случае он так же, как и Толстой, писал о сопротивлении детской натуры насилию, которым чреваты даже самые благие намерения дворянских воспитателей[415].

Добролюбов обходит стороной проблему не только художественной достоверности картины, нарисованной Вовчком, но и ее соответствия реальности. Хотя многие критики считали, что писательница идеализирует русских крестьян, приписывая им свойства свободолюбивых украинцев, Добролюбов был убежден в ее абсолютной правдивости и даже описал основные типы характеров, которые повторяются в ее рассказах. В итоге, несмотря на то что «задушевную мысль» Вовчка критик понял лучше, чем замысел Островского в «Грозе», статья получилась не менее идеологизированная, чем «Луч света в темном царстве».

В русской журналистике того времени нашелся лишь один автор, который выступил с полемическим ответом на эту статью Добролюбова о Вовчке. Это был Достоевский, в 1861 году открывший в своем журнале «Время» авторскую рубрику «Ряд статей о русской литературе». Одна из них — «Г-н -бов и вопрос об искусстве» (Время. 1861. № 2) — справедливо считается манифестом его эстетических взглядов и посвящена полемике с «реальной критикой» Добролюбова.

Писатель воспринимал Добролюбова очень серьезно, подчеркивая: «В его таланте есть сила, происходящая от убеждения. Г-н -бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики»[416]. Однако, по Достоевскому, тот страдает «кабинетностью» (читай — наивностью) мышления и плохо знает русскую действительность. Писатель нашел уязвимое место в добролюбовской интерпретации

рассказов Вовчка, разрушающее все построения критика. По мнению Достоевского, «-бов» не понимает, как «работает» и чем полезна настоящая художественность (умение автора «писать хорошо»), а потому доказывает ее ненужность на примере якобы правдивого рассказа «Маша» (Достоевский, напротив, считал, что это едва ли не самое натянутое произведение сборника):

> «Скажите, читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ? Что это за люди? Люди ли это, наконец? Где это происходит — в Швеции, в Индии, на Сандвичевых островах, в Шотландии, на Луне? Говорят и действуют сначала как будто в России; героиня — крестьянская девушка, есть тетка, есть барыня, есть брат Федя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша — ведь это какой-то Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку.
>
> Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног. Нелюбовь к крепостному состоянию, конечно, может развиться в крестьянской девушке, да разве так она проявится? Ведь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина! Всё это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что в иных местах (особенно когда Маша бросается к брату и кричит “Откупи меня!”) мы, например, не могли удержаться от самого веселого хохота»[417].

В самом деле, свободолюбие Маши никак не мотивировано, оно — абстрактное свойство, которое характеризует человека вообще (любой национальности, культуры, психологического типа). Маркович создала «голую» иллюстрацию гуманистической идеи, имеющую мало общего с художественной типизацией.

Писатель убедительно доказывал, что идея Добролюбова о приоритете правдивости и вторичности художественности вредит самому критику, не говоря уже о читателях и обществе, поскольку художественность служит тому делу, за которое ратует Добролюбов, — распространению правильных понятий. Предвосхищая «Записки из подполья», Достоевский высказал уже глубоко обдуманную им мысль о невозможности до конца понять природу человека. Утилитаристы стремятся постичь ее рационально и на этом фундаменте строят свои теории развития общества, тогда как человеческая натура (а вместе с ней и искусство) ирра-

циональна и никто не может знать, что для нее полезно, а что нет в каждую эпоху ее эволюции. Так Достоевский разрушал оптимистическую добролюбовскую веру в прогресс и рациональный идеал, легко достижимый в будущем[418].

Добролюбов, сильно задетый, написал весьма последовательный ответ — статью «Забитые люди» (Современник. 1861. № 9), ставшую его последней прижизненной публикацией о литературе. На первый взгляд она повторяет то, что уже говорилось автором в других статьях. Добролюбов словно бы принимает принципы эстетической критики и с иронией (возможно, до поры неощутимой для читателей) имитирует эстетический разбор текста, а затем маска отбрасывается. В первой половине статьи критик, как ему кажется, оспаривает все построения Достоевского на примере его собственного романа «Униженные и оскорбленные». Не без остроумия и очень убедительно демонстрируя, что роман не соответствует строгим критериям эстетической критики, потому что ему не хватает стройности и законченности, а многие ситуации выдают незнание автором жизни, Добролюбов тем не менее считает возможным на его примере анализировать гуманистический пафос творчества автора[419].

Казалось бы, перед нами всё та же «реальная критика», однако Добролюбов стал более внимателен к художественной стороне произведений. Можно думать, что этот поворот был связан если не с освоением некоторых идей Достоевского, то, во всяком случае, с явным интересом к ним.

Диалог с Достоевским побудил Добролюбова осмыслить всё его творчество, за которым он следил еще в Нижнем (в дневник занесены впечатления от «Двойника»[420]). Результатом стала в первую очередь тонкая интерпретация центральной проблематики сочинений писателя — «боль о человеке, который признаёт себя не в силах быть человеком». Отсюда и вопрос критика, «почему... человек теряет свое человеческое достоинство»[421]. Заметим, что это было сказано еще до публикации «Записок из подполья», где мысль о потере человеком себя проговорена несколько раз на разные лады. Добролюбов подхватил эту идею и показал, как она реализуется, варьируясь от текста к тексту. Будто продолжением мысли Достоевского об относительности человеческих потребностей, о неисчислимости, непрогнозируемости идеала звучат слова Добролюбова, что натура человеческого «я» не поддается никаким утопическим теориям о социальном благоденствии[422].

Далее Добролюбов предложил типологию всех героев Достоевского, относя их либо к «кротким», либо к «ожесточенным»[423], очевидно, переосмысливая понятия «хищного» и «робкого, загнанного» типов, введенные Аполлоном Григорьевым в статьях «И. С. Тургенев и его деятельность» (1859) и «Реализм и идеализм в нашей литературе» (1861). Перекличка с григорьевскими формулами свидетельствует, что прежняя непримиримая полемика по поводу пьес Островского сменилась сложным диалогом и взаимовлиянием; так, Григорьев в статьях 1860—1863 годов использовал добролюбовские понятия «темное царство» и «самодурство»[424].

Добролюбов заметил, что наиболее часто у Достоевского встречаются четыре вида характеров: болезненный рано сформировавшийся самовлюбленный ребенок; рефлексирующий человек, доходящий до помешательства на почве подозрительности; циник; идеальный тип девушки, воплощающей сокровенные идеи самого автора[425]. Конечно, персонажей Достоевского (особенно его больших романов) нельзя свести к этой классификации, но тогда это было, несомненно, впечатляющее обобщение.

Добролюбов, однако, писал статью не ради тонких филологических наблюдений. К ее финалу становится понятно, что критика тяготит «реальный метод»; он переходит к развернутым социологическим выкладкам о том, почему забитые люди продолжают существовать в России и человеческое достоинство по-прежнему попирается, что приводит к помешательствам и личным трагедиям. Ответ до банальности прост: потому что продолжают существовать бесправие, коррупция, беззаконие и прочие искажения естественного права и гражданских свобод личности. Где же выход? Статья заканчивается словами: «Где этот выход, когда и как — это должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые не любят или не умеют следить сами за ее явлениями, — то или другое из общих положений действительности...»[426] Никаких прогнозов, никакого социального оптимизма — Добролюбов будто отказывается от своих прежних принципов и отдается течению жизни. В каком-то смысле можно сказать, что он преодолел противоречие между истолкованиями феномена литературы как отражения реальности и как способа ее преобразования. В «Забитых людях» никакая трансформация больше невозможна: над всем властвует жизнь.

Критик не то чтобы изменил себе, но продемонстрировал, что умеет быть гибким и чувствительным к сложным художественным произведениям. Не следует забывать и о том, что статья писалась в то время, когда были арестованы близкие Добролюбову Михаил Михайлов и Владимир Обручев, а сам он, пережив в Европе два любовных увлечения, очевидно, постепенно утрачивал юношеский максимализм и стал значительно трезвее смотреть на жизнь. К тому же нараставший пессимизм был связан со стремительно прогрессирующей болезнью, из-за которой он уже не мог работать в полную силу.

Статья о Достоевском, едва ли не лучшая из написанных Добролюбовым, понравилась даже давним его противникам. Тургенев писал Анненкову: «...она очень умна, спокойна и дельна»[427]. Мы не знаем, как сам писатель отреагировал на «Забитых людей», но в его записной тетради 1864—1865 годов появились слова: «Я жалею о безвременно умершем Добролюбове и о других — и лично, и как о писателях. Но из этого сожаления не скажу, чтоб они не врали»[428]*.

Поэт и гражданин: Некрасов и Добролюбов

Рассказ о последнем годе жизни Добролюбова был бы неполным без описания его сближения с Некрасовым. Речь об этом уже заходила, но необходимо всё же проследить историю отношений критика и поэта от начала до конца, поскольку редактор «Современника» сыграл исключительную роль не только в продлении жизни Добролюбова (ссудил деньги на его лечение), но и в создании легенды о борце-критике.

Еще в 1858 году, когда Добролюбов стал выступать в журнале со статьями и рецензиями, Некрасов обратил внимание на его стихотворения и уговорил опубликовать их. В девятом номере «Современника» за тот год были напечатаны шесть стихотворений Добролюбова, подписанных

---

* Нельзя однозначно утверждать, были ли лично знакомы писатель и критик. Жена Достоевского Анна Григорьевна указывала, что их знакомство состоялось в 1861 году (см.: *Достоевская А. Г.* Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского. СПб., 1906. С. 262), однако никакими иными свидетельствами этот факт не подтверждается.

«Волгин»: «Приятное воспоминание», «Дорогой», «Блаженство неведения», «Сила слова», «Напрасно», «Пала ты, как травка полевая» (еще пять намеченных к печати не пропустила цензура[429]). Стихотворения появились вслед за рассказами Добролюбова «Донос» и «Делец», опубликованными также по инициативе Некрасова. Сам поэт в статье 1862 года «Посмертные стихотворения Добролюбова» писал:

> «Увидав у него однажды случайно тетрадку, где он записывал свои стихотворения, я с трудом уговорил его напечатать что-нибудь из них. Мы выбрали десять пьес; лучшие четыре в печать тогда не попали, а шесть помещены в "Современнике"»[430].

Все шесть стихотворений Добролюбова носят подражательный характер и варьируют стилистику и тематику Гейне и самого Некрасова, к поэзии которого он всегда относился трепетно и даже советовал Бордюгову выучить наизусть «Песню Еремушке»: «Боже мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!»[431] Понятно, что Добролюбов воспринимал сочинения поэта преимущественно в социально-протестном ключе, но некоторые его дневниковые записи обнаруживают интерес и к любовной лирике «певца народного горя».

Очевидно, сразу после обсуждения стихов Добролюбова в конце 1858 года у них с Некрасовым оформился план сатирического «Свистка», который они редактировали вместе.

В письмах Некрасова лета 1860 года, адресованных уехавшему за границу Добролюбову, можно заметить явную симпатию. Не будет преувеличением утверждать, что молодой критик стал конфидентом-«сочувственником», которому Некрасов время от времени изливал душу, сменив в этой роли Боткина и Тургенева. Например, в письме от 18 июля поэт сообщал о новом любовном увлечении, игре в карты и мучительном самокопании. «Знаете, Добролюбов, у меня нет никакой силенки сделать дело, так что ж — всё в карты? Меня берет некоторый страх, и чувство гадливости проходит по мне». Это письмо было написано в ответ на очень откровенное признание Добролюбова, что ему «приходится делать над собой неимоверные усилия, чтоб не плакать, и не всегда удается удержаться»[432].

Некрасов увидел в словах критика о нервном расстройстве симптом изнуряющей рефлексии, поразившей их обоих, и тон его писем стал еще более дружеским. Добролюбов в одном из писем дал тонкую характеристику душевного состояния своего корреспондента и основных мотивов его лирики:

> «Что это за отчаяние в себе, что это за жалобы на свою неспособность... Вы считаете себя отжившим и погибшим! Да помилуйте, на что это похоже? <...> Вы разыгрываете любовные драмы, мучитесь ими сами и мучите других... и всё это принимаете к сердцу так сильно, как я никогда не принимал даже своих преступлений, совершённых подло и глупо...
>
> А то дела-то нет — “да нужно прежде дело дать” — это ведь пустая отговорка, как Вы сами знаете. Есть Вам дело, есть и применение ему, и успех есть. <...>
>
> Вы, впрочем, сами знаете всё это, но не хотите себя поставить на ноги, чтобы дело делать <...>. Может, и в самом деле не способны к настоящей, человеческой работе, в качестве русского барича, на которого, впрочем, сами же Вы не желаете походить»[433].

Не случайно это письмо Добролюбова приводится в качестве комментария к стихотворению «Рыцарь на час» (1862), коллизия которого выразилась в знаменитых финальных строчках:

> Вы еще не в могиле, вы живы,
> Но для дела вы мертвы давно,
> Суждены вам благие порывы,
> Но свершить ничего не дано.

В письме, написанном в декабре 1860 года, Некрасов высказал мнение, что Добролюбову пора возглавить «собственно редакцию “Современника”»[434], поскольку «Чернышевский к этому не способен»*. Некрасов в очередной

---

* Взаимоотношения Некрасова с Чернышевским не так однозначны, как может показаться по этой фразе. Другое мнение Некрасов высказал в письме Добролюбову от 3 апреля 1861 года: «Нельзя его (Чернышевского. — *А. В.*) не любить; и вот что: репутация его растет не по дням, а по часам — ход ее напоминает Белин[ского], только в больших размерах» (Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 362). В других письмах Некрасов мог хвалить Чернышевского, однако в целом их отношения носили скорее профессиональный характер, о чем вспоминал позже сам писатель.

раз чувствовал себя на пороге смерти (его мучил затяжной кашель), собирался на долгое лечение в Европу и всерьез подумывал заранее договориться с критиком о передаче ему основных редакторских полномочий. Добролюбов полюбился ему искренностью, честностью и прямотой. Некрасов хотел видеть в нем своего «идеализированного двойника». Если для Чернышевского идентификация с Добролюбовым заключалась в почти полном (за исключением страстности) душевном совпадении, то Некрасов, скорее всего, *проживал* в диалоге с младшим другом игру в «разночинство», в падшую душу, которую нужно воскресить для «дела». Добролюбов, «чистый» (верилось Некрасову) юноша, был тем «спасителем», идеальным альтер эго Некрасова, который вопреки своему «барству» поэтически конструировал образ разночинца-интеллигента. Как вспоминала Панаева, Некрасов говорил: «Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены»[435]. Эти строки полностью соответствуют той оценке, какую Некрасов дал Добролюбову в статье-некрологе.

Когда в августе 1861 года Добролюбов вернулся в Петербург, и ему, и Некрасову с Чернышевским стало понятно, что возглавить редакцию он не сможет: болезнь прогрессировала, силы необратимо таяли.

Последние «песни»: раздвоение

Стихотворения последнего года жизни Добролюбова представляют удивительную картину трагически раздвоенной личности. Автор пытается «проработать» в лирике неотступно мучающие его и не находящие разрешения жизненные проблемы. В стихах отчетливо звучит мотив драматического разрыва между «работой» и «жизнью» — мотив, который мы обнаруживали еще в самых ранних его поэтических опытах. Этот мотив никуда не исчез, напротив, его звучание стало более ощутимым. Пережив в Париже и в Италии два серьезных любовных увлечения и так и не реализовав тягу к семейному счастью, Добролюбов продолжал строить на этой коллизии идеологически сильные стихи, в конце XIX века вошедшие в канон революционной

поэзии. Например, стихотворение «Еще работы в жизни много...» поэтизирует аскетизм автора, пренебрегшего личным счастьем ради «живого дела»:

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой.
Еще тернистая дорога
Не залегла передо мной.

Еще пристрастьем ни единым
Своей судьбы я не связал
И сердца полным господином
Против соблазнов устоял.

Я ваш, друзья, — хочу быть вашим.
На труд и битву я готов, —
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов...[436]

Если соотносить это поэтическое кредо с биографическим фоном добролюбовской жизни 1860—1861 годов, с трудом верится, что автор стал «полным господином» своего сердца. Напротив, он болезненно переживал любовные разлады и неудачи — и сочинял гражданственные стихи, в которых прокламировал служение общественному благу. В восьмистишии «С тех пор как мать моя глаза свои смежила...» страсти укрощаются и подавляются:

Друг выспренних идей, как медная машина,
Для блага общего назначенный служить,
Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина,
Инстинкты юные я должен был забыть[437].

Напряжение между внутренними инстинктивными «юностью», пылкостью и страстностью и внешней ригористичностью становится темой другой строфы:

Проведши молодость не в том, в чем было нужно,
И в зрелые лета мальчишкою вступив,
Степенен и суров я сделался наружно,
В душе же, как дитя, и глуп и шаловлив[438].

Все эти признания разрушают образ Добролюбова-аскета, выстроенный в воспоминаниях современников. Стихи представляют его гораздо более сложной личностью, даже если делать поправку на «олитературенность» лири-

ческого героя. Кажется, это не тот случай, когда поэт тщательно выстраивает свой образ: Добролюбов не собирался публиковать свои стихи, они выполняли функцию дневника, своего рода конфидента, которому можно излить душу. «Полнокровный» образ критика складывается из противоречий, которые он так и не смог примирить, хотя его система взглядов и предписывала это сделать. Антропологический принцип, предполагавший единство духа и плоти, рационального и религиозного, мог быть легко (а иногда и «со скрипом») применим только в критической статье, в жизни же Добролюбову не удавалось этого добиться.

Примечательно, что Чернышевский и Некрасов, ближе других знавшие и по-своему любившие Добролюбова и очень хорошо понимавшие, чего он хотел, но так и не смог достичь в стихах, художественной и публицистической прозе, подхватили и развили идею цельной личности. Оставляя интригующие подробности этой посмертной истории до следующей главы, скажем только, что лексикон знаменитого некрасовского стихотворения «Памяти Добролюбова» был задан самим Добролюбовым в цитированных выше строчках — в них есть и «суровость», и приоритет духа над плотью, и укрощение страстей, и «аскетизм», и «общее благо». Всё это более талантливый поэт синтезирует в хрестоматийном тексте, заучиваемом наизусть не одним поколением школьников.

«Милый друг, я умираю...»

О том, как мучительно уходил из жизни Добролюбов, можно прочитать в воспоминаниях Панаевой. Хвори наслаивались одна на другую: «брайтова болезнь» (заболевание почек), «сахарная болезнь» (диабет), запущенная чахотка. К ним во время поездки в Европу добавилось нервное расстройство, которым Добролюбов, согласно мемуарам современников, страдал в последние месяцы жизни. Его брат вспоминал, что в сентябре критик еще надеялся кропотливой работой вернуть «Современнику» свой большой долг (3071 рубль), но силы оставляли его, и он уже не мог писать по ночам[439].

Во время тяжелой агонии рядом с Добролюбовым оказались самые близкие люди: Чернышевский, Панаева и

Некрасов. С середины октября после сильного приступа лихорадки он оставался на квартире Некрасова, где его положили после внезапного приступа. Примерно 3 ноября, когда состояние больного резко ухудшилось, он попросил, чтобы его перенесли на его квартиру — не хотел, чтобы друзья видели его беспомощным[440].

Последние дни были особенно тяжелы. Панаев, писавший воспоминания по свежим впечатлениям, ясно помнил, что умиравший «не спал ночи напролет, метался, просил беспрестанно, чтобы его переворачивали и перекладывали». Мемуары его супруги, написанные гораздо позднее других, напротив, возвышают Добролюбова: он умирал в полном сознании, держась мужественно и спокойно до последней минуты[441].

Никаких иных свидетельств очевидцев о последних часах Добролюбова не сохранилось. Младших братьев по его просьбе увезли[442]. Чернышевский воспоминаний о смерти друга не оставил.

В ночь на 17 ноября всё кончилось.

Хоронили Добролюбова 20 ноября на Волковом кладбище, рядом с Белинским. (Спустя много лет там же положили Тургенева, по его завещанию.)

У дома во время выноса некрашеного гроба собралось, по донесению полицейского агента, около двухсот «литераторов, офицеров, студентов, гимназистов и других лиц». Среди них были все члены редакции «Современника», историк К. Д. Кавелин, адвокат В. Д. Спасович, сатирик Н. С. Курочкин, журналист Г. Е. Благосветлов, публицист Н. В. Шелгунов, брат драматурга и чиновник М. Н. Островский, цензор В. Н. Бекетов и многие другие — словом, публика, представлявшая самые разные слои тогдашнего общества. Гроб несли на руках до самого кладбища. После отпевания речи на церковной паперти произнесли Некрасов и Чернышевский; над могилой — заступивший на место Добролюбова в журнале публицист М. А. Антонович, издатель Н. Л. Тиблен и публицист Н. А. Серно-Соловьевич[443].

Смерть Добролюбова потрясла Некрасова. 27 ноября 1861 года он писал священнику Зыкову, что с ним случилось «большое несчастие: умер приятель и лучший сотрудник “Современника”»[444]. На похоронах Некрасов произнес проникновенную речь, легшую в основу статьи о покойном, а по возвращении оттуда — стихотворение «20 ноября 1861»:

Я покинул кладбище унылое,
Но я мысль мою там позабыл, —
Под землею в гробу приютилася
И глядит на тебя, мертвый друг!

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо через щели гробовые
Проступить не успела вода;
Ты лежишь, как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцалуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои...

Стихотворение производит впечатление «несделанности»: представляет собой одно распространенное предложение, обрывающееся отточием; написано белым стихом, хотя и с ассонансами, «прошивающими» весь текст, — словом, ориентировано на ситуацию, когда рифмы излишни. Предметом изображения становятся не чувства лирического героя, а тело покойного: лицо — пальцы рук — грудь — кудри — уста — очи. Нарочитая «телесность» описания не противоречит скорбному моменту, а, наоборот, позволяет создать пронзительный поэтический некролог.

В те же дни Некрасов, по предположению Бориса Бухштаба, написал еще одно стихотворение, которое мы не найдем в собраниях его сочинений. Это знаменитое восьмистишие «Милый друг, я умираю...», которое до сих пор считается добролюбовским и публикуется в его собраниях сочинений[445]:

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен;
Но зато родному краю
Верно буду я известен.

Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезёю.

Загадок вокруг этого текста так много, что предположение Бухштаба выглядит весьма правдоподобно. В самом деле, его автограф неизвестен, в то время как все остальные рукописи стихотворений Добролюбова 1861 года, включая последнее — «Пускай умру — печали мало...», — находятся в его сохранившейся тетради. В первом собрании сочинений критика, подготовленном и изданном Чернышевским в марте—июне 1862 года, обсуждаемое восьмистишие вынесено на титульный лист и обложку первого тома собрания, а в четвертом томе отделено чертой от всех других стихотворений. Поэт Алексей Апухтин рассказывал, что незадолго до смерти Некрасова спросил у него, как мог Добролюбов, поэт слабый, написать столь сильное стихотворение, и тот ответил, что совершил «благочестивый подлог»[446]. Наконец, одна из главных странностей заключается в том, что содержание предсмертного обращения к неведомому другу противоречит тому, что Добролюбов выразил в своем последнем (это точно известно) стихотворении «Пускай умру — печали мало...»:

Пускай умру — печали мало,
Одно страшит мой ум больной:
Чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.

Боюсь, чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердьи глупом
На гроб цветов мне не принес,

Чтоб бескорыстною толпою
За ним не шли мои друзья,
Чтоб под могильною землею
Не стал любви предметом я,

Чтоб всё, чего желал так жадно
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской.

Здесь Добролюбов недвусмысленно отрицает поклонение, которым принято окружать личность почившего общественного деятеля или писателя. В стихотворении «Милый друг, я умираю...» речь идет совсем о другом: это разночинская вариация на тему пушкинского «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», понятого, впрочем, до-

вольно специфично. Текст оказался на редкость удачным: он вместе со своевременно изданным собранием сочинений упрочивал связь между анонимным «-бовым» и огромной аудиторией его читателей, многие из которых даже не представляли, как выглядит властитель их дум. Стилистически безупречное стихотворение, где умирающий обращается к «милому другу», в котором каждый читатель должен опознать себя, создавало пронзительно лиричный и возвышенный образ, соединяющий в сознании публики разные ипостаси Добролюбова — критика, поэта, общественного деятеля.

Стихотворение, кто бы ни был его автором, не только обросло подражаниями и перепевами (среди них известная поэтическая пародия философа Владимира Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь...» и трагическое «Милый друг, я знаю, я глубóко знаю...» Семена Надсона), но и запустило процесс «канонизации» Добролюбова, конструирования его посмертной героической репутации. Проследить за перипетиями этого процесса не менее интересно, чем за поворотами жизненного пути нашего героя.

Глава шестая

ПОСМЕРТНАЯ «КАНОНИЗАЦИЯ»

Фетишизация Добролюбова

Смерть Добролюбова на двадцать пятом году жизни сделалась предметом столь интенсивного обсуждения в русской печати, что конкурировала с темами петербургских пожаров, тысячелетия России и отмены крепостного права. С 18 ноября 1861 года по август 1862-го в прессе появилось более семидесяти газетных и журнальных публикаций, так или иначе связанных с Добролюбовым. Причиной такого ажиотажа вокруг покойного критика стала публицистика Чернышевского, который вместе с Некрасовым объявил его «главой литературы», создавая культ рано ушедшего «гения»[447], соединяя в его образе новую жизнестроительную этику и демократический идеал общественного служения.

По замыслу Чернышевского, пример его умершего друга должен был подтвердить высочайший статус «реальной критики», как бы заменяющей собой изящную словесность. Специфика случая Добролюбова заключалась еще и в том, что большинство его статей являлось, строго говоря, публицистикой и имело к собственно литературной критике косвенное отношение.

Споры вокруг роли Добролюбова ясно указывали на то, что статус критика в литературоцентричном обществе ничуть не ниже, чем поэта или прозаика. Такая ситуация была особенно характерна для второй половины XIX века. Предшествующий качественный сдвиг в представлениях о «главе русской литературы» наблюдался в середине 1830-х годов, когда Белинский, заявив о творческой «смерти» поэта Пушкина, утвердил «главой» прозаика Гоголя. Вторая половина 1850-х годов прошла в спорах, закончился ли «гоголевский» период русской словесности. Первым, кто решился выдвинуть нового гения, был Аполлон Григорьев, в 1852 году предложивший на эту роль начинающего

драматурга Островского. В конце десятилетия критика привечала многих ярких писателей (Алексей Писемский, Лев Толстой, Михаил Салтыков), но главой литературы никого не объявила.

Если же смотреть на проблему шире, то дискуссия вокруг Добролюбова была симптомом более важного процесса — борьбы критиков за власть в литературе. По крайней мере сами участники литературного процесса воспринимали ее именно так. В этом смысле кончина Добролюбова предстает призмой, через которую можно взглянуть не только на его посмертный образ, но и на тенденции в развитии русской литературы и критики.

Какова была логика выступлений Чернышевского?

Покойный критик казался ему фигурой, стоявшей во главе не только литературы, но и общественного движения, поскольку посвятил всю жизнь служению народу:

> «...невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих»[448].

Этот фрагмент некролога Добролюбову не был пропущен цензурой, и Чернышевский вынужден был передавать свою мысль другими способами. Одним из них явилось целенаправленное создание мученического ореола вокруг Добролюбова. Начиная с похоронных речей, Чернышевский подменял физическую причину смерти молодого критика моральной. По воспоминанию очевидца, он утверждал, что «болезнь Добролюбова развилась вследствие безвыходных нравственных страданий, испытываемых им во всё время его кратковременной литературной деятельности», что умер он «оттого, что был слишком честен»[449].

Донесение агента Третьего отделения о похоронах Добролюбова 20 ноября 1861 года, которое в советское время считали не заслуживающим доверия, точно раскрывает прагматику надгробных речей: «Вообще вся речь Чернышевского, а также Некрасова, клонилась к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно»[450]. Та же мысль присутствует и в дневниковой записи А. В. Никитенко от 22 ноября 1861 года, на похоронах не присутствовавшего, но слышавшего о них:

«Чернышевский сказал на Волковом кладбище удивительную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни почек, а затем и до смерти»[451].

Преувеличения в речи Чернышевского можно было бы объяснить уровнем эмоционального напряжения, однако и в некрологе он продолжал последовательно подменять истинные причины смерти Добролюбова: «Не труд убивал его — он работал беспримерно легко, — его убивала гражданская скорбь»[452]. Тем самым в образе покойного мученичество сразу же приобретало характер ключевого компонента и даже оттесняло на второй план его главенство в литературе. Однако русская пресса мгновенно отреагировала на превознесение Чернышевским Добролюбова.

Следует напомнить, что к концу 1861 года Чернышевский состоял в острейшей полемике по самым разным вопросам почти со всеми влиятельными писателями и журналистами России: Тургеневым, Герценом, Достоевским, Писемским, Катковым. Тем не менее можно предположить, что общественность «проглотила» бы восхваление мученика Добролюбова, о смерти которого многие его оппоненты совершенно искренне сожалели (например Тургенев и Достоевский), если бы Чернышевский не решился на весьма серьезное заявление.

Главный упрек касался фетишизации (слово из лексикона оппонентов Чернышевского) Добролюбова. «Современник» и лично Чернышевского обвиняли в насаждении новых авторитетов при постоянных выступлениях против старых:

«Бедный молодой человек этот Добролюбов! <...> Увы! и после смерти служит он предметом эксплуатации для своих друзей. Мертвого человека они поставили на ходули, одели в маскарадный костюм вождя русской литературы, преисполнили его всякими доблестями, заставили его умереть от особого вида чахотки, еще не известного в медицине, — от гражданской скорби, и приглашают Россию пилигримствовать на его могилу»[453].

Досталось и Некрасову — за статью в «Современнике» (1862. № 1) о личности и стихотворениях Добролюбова, в которой он, вторя Чернышевскому, пытался представить покойного удивительно цельным, «самоотверженным» и «чистым юношей». Анонимный публицист «Библиотеки для чтения» писал:

«Добролюбов, кажется, страдал долго и жестоко. <...> Но г. Некрасов отнимает у Добролюбова и любовь, и дружбу, и всю личную жизнь, и дает ему, взамен этого, бессмертие! Истинно добрый человек г. Некрасов»[454].

Нет нужды входить в детали позиции каждого из цитируемых изданий, безусловно, имевших свои причины для противодействия Чернышевскому и Некрасову. Значимо другое — полное единодушие изданий самой разной политической ориентации в осуждении стратегии возвеличивания Добролюбова и насаждения его культа.

Объявив Добролюбова «главой литературы», Чернышевский актуализировал важнейшую проблему первенства в «республике словесности». После 1855 года многообразие литературных партий обострило вопрос о лидерстве в литературе. Как уже упоминалось, Чернышевский, заявивший в «Очерках гоголевского периода русской литературы» о продолжении эпохи Гоголя, в конце 1850-х годов находился в ожидании начала нового этапа и, соответственно, нового «главы литературы». Таковым для него и стал покойный Добролюбов. Многим современникам действия Чернышевского казались авантюрой и даже фарсом*.

Всё это осложняло и без того неспокойную ситуацию в периодике, страницы которой с 1860 года рассматривались самими журналистами как «поле брани и ругани». На этом фоне становится понятным, почему проблема журналистской этики стала обсуждаться в печати в 1860—1862 годах с особым пристрастием. Редкому изданию удавалось достойно вести полемику. Как показывает дискуссия вокруг смерти Добролюбова, и «Современник», и его оппоненты явно злоупотребляли возможностями гласности.

Едва ли не год с нараставшим ожесточением обсуждался вопрос, мог ли 25-летний Добролюбов стоять во главе русского литературного процесса. Сейчас, по прошествии полутора веков, ясно, что не мог — хотя бы по той причине, что тогдашняя литературная система была уже настолько дифференцированной и разветвленной, что в ней невозможно было существование единственного «центра притяжения».

---

* Это сразу почувствовал Достоевский, отметивший в записной книжке: «Вы (то есть Чернышевский. — *А. В.*) ударились в шутовство; это ловкий прием. Всякий скажет, ведь шут, свистун, что взять с свистуна; пишет он зато забавно» (*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 157).

В декабре 1861 года, сразу после похорон друга, Чернышевский приступил к сбору «Материалов для биографии Добролюбова», первая подборка которых появилась в первом номере «Современника» за 1862 год. Предприимчивый биограф нарушил в них «главное правило литературной полемики» — перешел на личности:

> «Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца, — теперь честь имею обратиться к вам, и от имени моего, от имени каждого прочитавшего эти страницы, в том числе и от вашего собственного имени, — да, и вы сами повторяете себе то, что я говорю вам, — теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами. Вызываю вас явиться, дрянные пошляки, — поддерживайте же ваше прежнее мнение, вызываю вас...
>
> Вы смущены? Вижу, вижу, как вы пятитесь.
>
> Помните же, милые мои, что напечатать имена ваши в моей воле и что с трудом удерживаю я себя от этого»[455].

Под «тупоумными глупцами» и «дрянными пошляками» подразумевались Тургенев и Герцен. Они обвинялись в том, что считали Добролюбова «человеком без души и сердца». В чем причина такой антипатии Чернышевского к Герцену, мы уже выяснили. Что касается нападок на Тургенева, то, как показал исследователь В. А. Мысляков, они были вызваны его давней неприязнью к личным качествам Добролюбова, а также болезненно воспринятыми Чернышевским слухами о еще не вышедшем романе «Отцы и дети», где в главном герое якобы карикатурно изображен Добролюбов[456].

Слова о «глупцах» и «пошляках» сразу сделались одной из самых скандальных цитат и часто повторялись к месту и не к месту. Чернышевский же продолжал эпатировать и провоцировать журнальный мир. Публичное чтение им воспоминаний о Добролюбове 2 марта 1862 года на вечере в пользу Литературного фонда стало «скандалом» — именно такое слово использовали газетчики для характеристики.

По воспоминаниям современников, речь Чернышевского разочаровала большинство слушателей. Радикально настроенная молодежь желала услышать нечто большее, чем рассказ о жизни Добролюбова и его замечательном характере. Николай Николадзе, будущий левый публицист, вспоминал, что все ожидали «обличений цензуры», однако «никаких жалоб на гнет власти Чернышевский не высказывал. Ничего бесцензурного... Зал так и ахнул от разочаро-

вания»[457]. Исследователь А. А. Демченко резюмирует, что выступление публициста в целом было «не вполне удачным и не заключало в себе политического содержания, которое ждали многочисленные приверженцы»[458].

Более консервативная часть публики была возмущена поведением Чернышевского и содержанием его речи. Публицист, играя цепочкой от часов и импровизируя на ходу, сбивчиво и невнятно больше часа убеждал слушателей, что Добролюбов был честным и высоконравственным человеком. При этом почти ничего не было сказано о его литературной деятельности. Вот как передавал суть выступления фельетонист «Библиотеки для чтения» Петр Боборыкин:

> «Каков бы ни был Добролюбов — герой или простой смертный, сильный или ничтожный характер, дрянное или прекрасное сердце — я оскорблен был за его память. Так защищать друга может только медведь в басне Крылова. <...> Недоставало одного, чтоб г. Чернышевский прибавил: Господа! Добролюбов сморкался всегда в носовой платок! Какая тонкость в обращении!»[459]

Чернышевский делал акцент на психологической составляющей образа Добролюбова. Прочитав его дневники в начале 1862 года, публицист еще раз убедился в сходстве натуры Добролюбова со своей собственной. Чернышевский понимал, что в его руках материал, бесценный для развития его философско-этической системы. Однако результат от его выступления получился неожиданным. То, что казалось Чернышевскому уникальной особенностью поведения «нового человека», для публики совпадало с соблюдением элементарных житейских норм. «Фиаско в реформе нравов» — это определение публициста «Библиотеки для чтения» как нельзя более точно характеризует провал Чернышевского. В самом деле, одни слушатели — из высшего сословия — не распознали в его сумбурном выступлении разночинского поведенческого кода; другие — разночинцы — не угадали, что в этой абсолютно «нереволюционной» системе поведения и кроется та этическая революция, проповедником которой скоро станет Чернышевский-романист.

Эта неудача свидетельствовала, что Чернышевский не сразу смог найти подходящую форму для адекватного воплощения своей этической утопии о поколении «новых людей», которые, живя по-новому, построят новое общество. Публицистика таким задачам не отвечала. На основе

документальных материалов о Добролюбове, которого Чернышевский намеревался представить образцом «нового человека», нельзя было развить главных положений утопии, поскольку биограф не решался обнародовать всю информацию о жизни друга. Идеальной формой для использования всех, даже самых интимных, материалов о покойном оказался роман. Именно поэтому Чернышевский решил зашифровать биографию Добролюбова в «Что делать?» и особенно в «Прологе».

Зашифрованная биография

Чернышевский сдержал слово, данное Добролюбову в письме 1858 года, — сделать его героем повести. В вилюйской ссылке он написал роман «Пролог», прототипом главного героя которого — молодого журналиста Левицкого — стал Добролюбов. Но даже весьма компетентные исследователи творчества Чернышевского не предполагали, что и другие его беллетристические произведения буквально пронизаны намеками на личность его друга.

Уже с конца 1861 года Чернышевский засел за разбор бумаг покойного. Не осталось ни одного документа, не просмотренного им, на многих сохранились его карандашные пометы. Есть они и на наиболее интимных документах — дневниках Добролюбова, письмах Терезы Грюнвальд и Эмилии Телье. Однако работа над биографией Добролюбова была неожиданно прервана: в июне 1862 года Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где провел почти два года. Здесь он не бросил работу, но переключился на художественное творчество, причем не только и не столько по цензурным соображениям. Нам кажется, что останься Чернышевский на воле, его попытки разработать этическую систему «новых людей», используя биографию Добролюбова, привели бы к созданию художественного текста, подобного «Что делать?» или «Прологу».

Впервые Чернышевский осознал «романический» потенциал добролюбовского характера в 1858—1859 годах, когда задумал изобразить его в некоей повести. Спустя много лет, уже в ссылке, он признавался: «Такого правдивого человека я никогда не знал другого. И очень трудно кому-нибудь найти хоть в романах такого правдивого мужчину. В моем чтении романов не попадалось такого мужчины»[460].

Чернышевский стал размышлять о романе, героем которого должен был стать Добролюбов.

Осмысляя свою жизнь с Ольгой Сократовной как «принадлежащую истории», Чернышевский уже в первые месяцы заключения составил «план будущей жизни», где отвел себе роль «доброго учителя человечества». В письме жене от 5 октября 1862 года он сообщал о грандиозном замысле написать «Энциклопедию знания и жизни», которую потом собирался изложить «в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто ничего не читает, кроме романов»[461].

Однако уже в конце ноября он осознал, что план создания энциклопедии нереален. Зато роман всё более занимал воображение арестанта. За основной сюжет он взял ситуацию из собственной жизни — любовный треугольник: он сам — Ольга Сократовна — ее любовник полковник Савицкий. В этом смысле «Что делать?» — наиболее автобиографический роман Чернышевского о снятии семейных противоречий и избавлении от комплексов[462].

Следы размышлений над такой техникой автобиографического повествования содержатся в письме от 15 мая 1863 года, адресованном Е. Н. Пыпиной, где Чернышевский давал ей рецепт простейшей повести от первого лица («как пишут Лермонтов, Тургенев, Гончаров»). Для этого нужно «переносить себя в разные положения и рассказывать то, о чем мечтал в хорошую или дурную сторону, олицетворяя эти свои мечты в человеке, который под другим именем и совершенно в другом положении — всё тот же автор»[463]. При таком подходе почти не оставалось возможностей для широкого использования фактов из чужих биографий. К тому же Чернышевский, надеявшийся на освобождение, был уверен, что сможет продолжить работу над биографией Добролюбова в более подходящих условиях. Поэтому в «Что делать?» автор не искал специальных поводов для включения в текст сведений о добролюбовской жизни, как это произойдет позже.

В то же время в «Что делать?» обнаруживается целый пласт отголосков полемики 1861—1862 годов о характере Добролюбова, что не было отмечено в комментариях к роману и в исследовательской литературе[464].

Наиболее насыщены полемическими выпадами девятая и десятая части второй главы, где в очередной беседе с проницательным читателем заходит речь о материализме Лопухова и Кирсанова:

«Итак, не оправдывая Лопухова, извинить его нельзя. А оправдать его тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, объявившие материалистов людьми низкими и безнравственными, в последнее время *так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера*, в глазах всех порядочных людей, материалистов ли, или не материалистов, что *защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным*[465].

Выделенные курсивом фразы отсутствуют в черновой редакции[466]. Говоря об уме и характере «любителей прекрасного», Чернышевский намекал на скандальную полемику 1862 года, спровоцированную его фразой о «тупоумных глупцах» и «дрянных пошляках» в статье «Материалы для биографии Добролюбова».

В десятой части второй главы «Что делать?» содержится второй, не менее острый, выпад против эстетов, обвиняющих «новых людей» в сухости:

«...не показывает ли это, говорю я, что Кирсанов и Лопухов были люди сухие, без эстетической жилки? <...> Натурально ли, чтобы молодые люди, если в них есть капля вкуса и хоть маленький кусочек сердца, не поинтересовались вопросом о лице, говоря про девушку? Конечно, это люди без художественного чувства (эстетической жилки). А по мнению других, изучавших натуру человека в кругах, еще более богатых эстетическим чувством, чем компания наших эстетических литераторов, молодые люди в таких случаях непременно потолкуют о женщине даже с самой пластической стороны»[467].

Здесь очевидны отголоски того же спора о сухости и бессердечии Добролюбова (эпитет «сухой» повторяется в черновике дважды). Но кто подразумевается под «другими» литераторами, по мнению которых молодые люди «толкуют о женщине с самой пластической стороны»? Нам представляется, что Чернышевский намекает на знаменитую сцену в «Отцах и детях», когда Базаров восхищается телом Одинцовой («этакое богатое тело! хоть сейчас в анатомический театр»), не интересуясь ее лицом.

Отсылка к скандалу с «глупцами» и «пошляками» содержится и в «Похвальном слове Марье Алексеевне», которое отсутствовало в черновой редакции романа. Эпитеты «тупоумный» и «дрянной» едва ли случайно возникают здесь рядом:

«Из тех, кто не хорош, вы (Марья Алексеевна. — *А. В.*) еще лучше других именно потому, что вы не безрассудны и не тупоумны. Я рад был бы стереть вас с лица земли, но я уважаю вас: вы не портите никакого дела... Дрянные люди не способны ни к чему; вы только дурной человек, а не дрянный человек»[468].

Таким образом, правя черновой текст, Чернышевский включил в него намеки на памятные большинству читателей-современников литературные скандалы, чтобы снова напомнить о значении Добролюбова и в очередной раз уколоть Тургенева и Герцена.

В «Что делать?» есть и пласт скрытых отсылок к фактам жизни Добролюбова, рассчитанных на опознавание только узким кругом знакомых из числа «новых людей», которым роман в первую очередь и адресован. В комментариях к «Что делать?» в серии «Литературные памятники» С. А. Рейсер справедливо отметил, что имя куртизанки Жюли Ле-Теллье — скорее всего переиначенное имя Эмилии Телье, чьи письма Чернышевский прочитал. Действительно, Чернышевский использовал не только фамилию, но и некоторые уже известные нам факты биографии девушки. В монологе Жюли (глава 1) отразились основные мотивы писем Телье Добролюбову — мотивы трагической необходимости продавать ласки и зимнего парижского холода, приобретающего символический смысл. Вот некоторые такие переклички:

Письма Телье

А я остаюсь мерзнуть в Париже? <...> Я думаю, что весной буду вынуждена вернуться к своему прежнему ремеслу. <...> Я люблю тебя, но должна продолжать отдаваться другим. <...>

В Париже сейчас ужасный холод, я не могу переносить его. Я здорова телом, но душой нет. <...>

Ты же знаешь, я не виновата, что мне приходится продавать свои ласки другим»[469].

«Что делать?»

...я была два года уличною женщиной в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! <...> Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой! Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить, — Боже! Ведь это не грех, — за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже»[470].

Достоверно известно, что об отношениях Добролюбова и Телье знал по крайней мере Н. Н. Обручев. Чернышевский явно преднамеренно не стал менять даже фамилии куртизанки, чтобы у «своих» возникали ассоциации с Добролюбовым.

Другой важный в сюжетном и идейном смысле эпизод — история любви Кирсанова и проститутки Насти Крюковой — мог быть списан с истории отношений Добролюбова и Терезы Грюнвальд. Это, напомним, была, по-видимому, единственная реальная попытка «спасения» падшей женщины, произошедшая на глазах у Чернышевского и закончившаяся неудачей. В романе Кирсанов и Крюкова не могут быть счастливы из-за разницы в уровне развития и из-за того, что Кирсанов любит из сострадания. В довершение всего у Насти обостряется чахотка, и они принимают решение расстаться. Как мы помним, схожим образом и Добролюбов объяснял свой разрыв с Терезой в письмах Бордюгову, которые Чернышевский читал в 1862 году.

Хотя для появления некоторых эпизодов романа значимы интимные подробности жизни Добролюбова, отсылки к ним завуалированы и не дают представления о Добролюбове как одном из «новых людей».

Освоившись в автобиографическом романном пространстве «Что делать?», Чернышевский мог перейти к ироническому изображению себя и супруги в других графоманских текстах, которые он начал писать еще в крепости, — «Алферьеве», «Повестях в повести», «Прологе». Для создания же биографий «новых людей» ему требовался фактический материал, среди которого, разумеется, самым значимым была биография Добролюбова. Чтобы решить, как включить ее в художественный текст и насколько полно использовать, Чернышевский приступил к поиску подобных примеров в европейской литературе и нашел их в проникнутых социалистическими идеями романах «Жак» и «Графиня Рудольштадт» любимой им Жорж Санд[471]. В «Алферьеве» и «Повестях в повести» неоднократно упомянуты и фамилия романистки, и «графиня Рудольштадтская».

Чернышевский определил целевую аудиторию своих романов как «друзей автора “Что делать?”», то есть самих же «новых людей». Подзаголовок белового варианта предисловия «Повестей в повести» был также предназначен «для

моих друзей между... читателями»[472]. Затем автор предлагал решение мучившего его вопроса о представлении в тексте особенно сокровенных и шокирующих биографических подробностей, состоящее в опосредованном и зашифрованном изображении:

> «Начался разговор... что легче, полное публичное исследование жизни или наше перешептывание, слухи, сплетни. Конечно, все признали, что истина лучше сплетен. Стали толковать о том, почему, однако же, почти никто не решается печатать свою биографию при жизни, — понятно... что нельзя же рассказывать о себе полно, — тайны каждого — тайны не его одного; надобно, чтобы не осталось в живых никого из людей, близких с человеком, только тогда полная биография его возможна. Но нельзя ли чем-нибудь отстранить это неудобство. Нельзя ли рассказать о себе истину так, чтобы не выдать тайну своей личности. Написать биографию так, чтобы никто, кроме самого писавшего и тех, кому уже были известны факты во всей их истине, не мог узнать, чья эта биография»[473].

Важно, что Чернышевский выступал за полноту и истинность биографии, но полагал, что при жизни героя это невозможно. Тогда он призвал на помощь систему шифров, разгадать которые было по силам только тем читателям, которые уже владели исходной информацией. Таким образом, дешифровка оказывалась ключевым принципом прочтения биографического подтекста романов «Повести в повести» и «Алферьев».

Для чего Чернышевскому была нужна такая информационная избыточность? Зачем «своим» знать то, что они и так уже знают?

Чернышевский преследовал сразу несколько целей. Поскольку его романы были адресованы в первую очередь «новым людям», нужно было предоставить им средства для овладения реальностью и вписывания себя во враждебный культурный и социальный контекст[474]. Этот механизм мог работать только на жизненном примере уже состоявшихся «новых людей» — самого Чернышевского, Добролюбова, братьев Обручевых. Кроме того, не имея ни желания, ни возможности печатно высказываться об истинной жизни Добролюбова, Чернышевский надеялся решить проблему «художественно». «Своему» читателю, опознававшему Добролюбова в романах по хорошо известным чертам,

надлежало дорисовать его портрет в самых сокровенных подробностях. Чтение романа становилось разгадыванием шифра.

Посмотрим, как работает этот механизм в «Алферьеве» (апрель—август 1863 года) и «Повестях в повести» (июль 1863 года — январь 1864-го).

Любовный сюжет «Алферьева», не вызвавший нареканий цензуры, был связан с идеей претворения в жизнь новой этики. Главный герой из «новых людей» Борис Алферьев пытается обратить в «новую веру» сестер Дятловых. Если со старшей сестрой ничего не выходит, то младшая, Лизавета Антоновна, через общение с Алферьевым спасается от родительского гнета и становится свободной. Концепция любви в повести продолжает линию, заданную в «Что делать?», но с существенными нововведениями. Впервые у Чернышевского главный герой изображен сладострастным. «Обращая» Лизавету Антоновну, Алферьев заводит роман с горничной Наташей и параллельно — с женой хозяина перчаточного магазина Сашей. Освобождение от старых этических норм базируется на концепции «чистоты»: у «чистого» «чисты» и любовные треугольники, и связь с горничной[475].

Считается, что главным прототипом Бориса Алферьева послужил любимец Чернышевского Владимир Обручев. Однако тогда неясно, почему в центре повести многочисленные любовные похождения сладострастного Бориса. Ведь в биографии Обручева нет и намека на что-либо подобное[476]. Ответ прост: Чернышевский «вышивал» биографию Алферьева буквально по «канве» судьбы Добролюбова. Сопоставление сюжета «Алферьева» с дневниками Добролюбова позволяет считать основным прототипом героя именно его. Более того, автор как бы случайно раскрывал карты, указывая, что будет использовать оказавшийся в его распоряжении дневник Алферьева. Этот намек давал понять «своим», осведомленным о работе Чернышевского над бумагами Добролюбова, что дневник Алферьева схож с дневником покойного критика.

В дневниках Добролюбова 1857 года не только встречаются девушки с теми же именами (Саша, Оля, Наташа), но и присутствуют аналогичные мотивы сладострастия, красоты женского тела, фривольных шалостей. Вот эти переклички:

Дневник Добролюбова	«Алферьев»
«Я не мог спать... встал, закутался в одеяло и пошел к Оле... <...> При свете ночника, при моем романическом расположении и в той возбуждающей обстановке, которая нас окружала, она показалась мне очень хорошенькою. <...> Лицо ее отличается свежестью и мягкостью, в глазах есть какая-то томность, горячая томность; притом она брюнетка, а это для меня много значит».	«В моей сестре есть то, что очень много заменяет красоту для людей, подобных Борису... у ней очень сладострастное лицо. Вы видели картины, на которых нарисована разметавшаяся вакханка, — припомните выражение лица: то самое. Это называют томностью, — это неверно. Томны бывают по временам всякие глаза, и только по временам».
«Я начал ее упрашивать идти ко мне... Она прогоняла меня, уверяя, что спать хочет. <...> Минут через пять она, наконец, убежала от меня и вызвала Сашу... Из их разговора слышал я то, что та советовала запереть от меня дверь... Я не мог остаться на эту ночь без подруги, и потому отнес Оле 3 р. И улегся с ней».	«...да, он очень сладострастен; он не может жить без женщин. <...> Но вы не поверите, до каких глупостей он доходит. Наташа не позволяет ему делать глупостей: она девушка с характером. Но Саша иногда прибегала ко мне в комнату искать защиты. <...> Ах, как они шалили!»
«Между тем страсть томила меня, несмотря на резонерство; за перегородкой раздавались поцелуи, Оля представлялась мне очень, очень свеженькой и хорошенькой»[477].	«...а ведь она чрезвычайно хорошенькая, — если бы вы видели, какая у нее грудь — это прелесть, — я целовала сама»[478].

На основании этого сходства можно говорить, что интимные эпизоды дневника Добролюбова хорошо запомнились Чернышевскому (наиболее откровенные страницы были им уничтожены). Подкрепляют эту версию и другие пересечения. Раздающиеся за перегородкой поцелуи, как мы помним, — сюжет стихотворения Добролюбова «Рефлексия», которое могло стать строительным материалом для того эпизода романа, где рассказчик и Лизавета Антоновна невольно подслушивают любовные шалости героя и горничной Наташи[479].

Подобная манера повествования, схожая с дневниковыми записями по степени интимности и подчас балансирующая на грани дозволенного, позже отзовется в «Дневнике Левицкого» (второй части романа «Пролог»). Но до

этого биография Добролюбова получила в беллетристике Чернышевского еще одну линию развития. В романе «Повести в повести», второй частью которого мыслился «Алферьев», акцент сделан на гениальности и необыкновенности главного героя. Земной и сладострастный Алферьев превращен здесь в юношу Алфериньку Сырнева — астронома, который в 19 лет скоропостижно умирает. Рассказ о нем строится на фактах из жизни Добролюбова.

Описание стремительного жизненного взлета Алфериньки перекликается с тем, как Чернышевский описал путь Добролюбова в некрологе. Прежде всего, повторяется мотив раннего развития: Алферий уже в 17 лет заканчивает ученый труд, в котором определил свойства планеты, располагающейся в Солнечной системе за Нептуном; про Добролюбова было сказано, что его способности «развились очень рано» (в 13 лет — написал тетрадь стихотворений, переводов из Горация, в 18 лет окончил семинарию). Не случайно и то, что род Алферия происходит из Нижегородской губернии — родины Добролюбова.

Основной пафос Чернышевского в интерпретации судьбы и Сырнева, и Добролюбова — подчеркивание потрясающей работоспособности обоих героев, их труда на благо людей. Предсмертные слова Алферия о работе являются отсылкой к стихотворению Добролюбова, написанному незадолго до смерти и известному Чернышевскому: «Еще работы в жизни много, / Работы честной и святой. / Еще тернистая дорога / Не залегла передо мной»[480].

Если появление панегирической интонации в романе предсказуемо, то этого нельзя сказать о другом «добролюбовском» сюжете. Опознав в гениальном юноше Добролюбова, «свои» читатели на основании личной жизни Алферия могли представить, какова она была у Добролюбова. К такому предположению подталкивает эпизод, в котором герой вызывается помочь слабой девушке, возвращающейся от акушерки, где она не решилась сделать аборт на деньги бросившего ее волокиты. Перед своей трагической смертью Сырнев становится не только ее фиктивным мужем, но и «законным» отцом ее ребенка.

В этом сюжете Чернышевский использует хорошо известную ему историю любви Добролюбова и Грюнвальд. Решив запутать следы, автор назвал возлюбленную Сырнева Эмилией (снова Эмилия Телье!), сохранив, правда, национальность Терезы (как мы помним, она была немка). Сюжетная ситуация с попыткой насильственного прерыва-

ния беременности, видимо, восходит к памятному нам драматическому эпизоду в совместной жизни Добролюбова и Терезы, когда она решилась на прерывание беременности. Однако Чернышевский совершает примечательную подмену: в жизни Добролюбов не предотвратил аборт Терезы, а Алферий в романе избавил героиню от необходимости его делать.

Если учесть, что «Алферьев» мыслился как вставная глава для «Повестей в повести», то два Алферия (Борис Алферьев и Сырнев) должны были представлять разные ипостаси одного человека — Добролюбова. Страстность и любвеобильность должны были органично сочетаться с выдающимся умом и аскетическим общественным служением, что соответствовало не только точке зрения Чернышевского, но и реальным качествам его молодого друга.

Приемы, используемые автором для сокрытия истины о Добролюбове, согласуются с теми средствами маскировки реальных лиц, которые Чернышевский описал в черновом предисловии к «Повестям в повести»: псевдонимы, «перемена внешней обстановки», «смешиванье разных посторонних анекдотов с главным рассказом», «умышленные внешние несообразности и подстановка лиц». «И от этого, — считал он, — исчезает всякая возможность проникнуть в тайну лиц»[481]. Чернышевский явно переоценил свой талант конспиратора. Узнать Добролюбова было всё же возможно. К сожалению, синхронных отзывов читателей о романах не существует, так как «Алферьев» и «Повести в повести», осевшие в архивах Петропавловской крепости, были опубликованы только в 1906 и 1930 годах соответственно.

В Сибири, несмотря на суровые условия жизни, Чернышевскому-писателю, по его же словам, ничто не мешало работать. Из тысяч страниц его графоманской прозы уцелело лишь немногое, в том числе роман «Пролог», вторая часть которого, «Дневник Левицкого», является наиболее смелой и полноценной попыткой Чернышевского представить в литературном произведении личность Добролюбова. Одержимый желанием максимально полно отобразить ее, автор отказывается от шифровки, в целом следует биографической канве (в части первой «Пролог пролога»), а для изображения личной и интеллектуальной жизни Добролюбова возвращается к первоисточнику своих сведений — его дневнику.

Заимствования фактов из жизни Добролюбова осуществлялись в «Прологе» двумя способами. С одной стороны, Чернышевский строил сюжетную линию Левицкий—Волгин, опираясь на историю своего знакомства с Добролюбовым. С другой стороны, «Дневник Левицкого» — стилизация и воспроизведение сюжетной канвы дневников Добролюбова.

В судьбе Анюты в общих чертах снова угадываются некоторые факты из жизни Терезы Грюнвальд[482]. Однако гораздо более интересна попытка Чернышевского воспроизвести откровенность и натурализм дневника Добролюбова. Очевидно, что некоторые — преимущественно эротические — эпизоды укладывались в его этическую теорию и оттого врезались в память. В «Дневнике Левицкого» по сравнению с «Алферьевым» мотив сладострастия существенно усилен, отчего некоторые эпизоды приобретают фривольный характер. Вот, например, описание спящей Анюты: «Дивная, ослепительно белая грудь, то полуприкрываясь, то вся открываясь моему восхищенному взгляду, трепетала, прижималась ко мне, полная, нежная, упругая»[483].

Эротизм «Дневника Левицкого» заставлял недоумевать уже товарищей Чернышевского по каторге, которые были прекрасно осведомлены о прототипе героя. Приведем скептическое мнение П. Ф. Николаева, утомленного «порнографическими излияниями» Левицкого:

> «Левицкий (Добролюбов) еще хуже; тут фантазия Н. Г. сыграла с ним уже совсем нехорошую шутку. Автор, очевидно, любит этого героя своего романа... хочет сказать читателю: любуйтесь Левицким; какая это нежная, страстная и глубокая натура, и этого пробует добиться изображением разных амурных похождений и поползновений Левицкого, да притом часто и не совсем чистоплотного свойства. Выходит бог знает что: не то какой-то слюнтяй, не то просто юбочник»[484].

Точно так же потом недоумевали советские исследователи, наиболее смелые из которых пробовали «расшифровать» порнографию «Дневника Левицкого» и оправдать писателя[485]. Однако в контексте всей беллетристики Чернышевского «Пролог» вовсе не выглядит исключением. Напротив, опробованная в «Что делать?» на примере Веры Павловны, а в «Алферьеве» на примере заглавного героя, тема «чистого» и естественного плотского начала, которое,

согласно антропологической концепции Чернышевского, не вступает в конфликт с духовным, получает логическое продолжение. Чувства Левицкого ко всем женщинам разные: сочувствие и жалость к падшей Анюте, плотское влечение к Насте, платоническая влюбленность в Надежду Илатонцеву[486].

Чернышевский продолжал наделять героев-резонеров всеми качествами Добролюбова, которых был лишен сам, поскольку видел в нем совершенное воплощение «нового человека». Однако настойчивое обращение к эротическому сюжету оказалось затянувшимся и неудачным художественным экспериментом.

Нельзя, однако, забывать и о мощном импульсе, побудившем Чернышевского к изображению интимных подробностей, — полемике 1861—1862 годов о «сухости» и «черствости», в которых обвиняли Добролюбова и «новых людей». Если в «Что делать?» эти намеки были своевременны, а сам роман стал руководством к действию для нескольких поколений молодежи, то все последующие тексты Чернышевского сводились к повторению ключевых мыслей об эмансипации плоти. Для их воплощения автор неизменно прибегал к изображению интимной жизни Добролюбова. Это был, скорее всего, единственный известный Чернышевскому, человеку кабинетному, опыт контактов с проститутками, которым он был настолько впечатлен, что принял его за «откровение».

Мня себя носителем «сверхзнания» о «новом человеке», Чернышевский видел свою миссию в том, чтобы рассказать о его жизни в романной форме. Для неофитов его сочинения должны были стать учебником жизни, а для «своих» — истиной о Добролюбове. Однако почти вся «литературная продукция» Чернышевского не дошла до читателя, а потому не выполнила своей функции.

Все «крепостные» и «сибирские» тексты Чернышевского в итоге уравновесились одним его значительным трудом, написанным за год до смерти: документальной книгой «Материалы для биографии Добролюбова», опубликованной в 1890 году. Но и в «Материалах...» Чернышевский так и не решился полностью опубликовать дневники и письма Добролюбова. Все опасные места были им тщательно обойдены, и только вскользь упомянута какая-то близкая Добролюбову женщина, скрытая автором за вымышленными инициалами «В. Д.» (Грюнвальд, вероятно, тогда была еще жива[487]).

«Официальная» документальная биография Добролюбова, созданная Чернышевским, существенно отличалась от ее романных версий. Факты из жизни Добролюбова по-разному трансформировались в текстах с разной прагматикой. В публицистических и мемуарных сочинениях (в силу не столько цензурных, сколько идеологических соображений) Чернышевский создавал «очищенный» и канонизированный образ Добролюбова. В художественной же модели «нового человека», напротив, оказались исключительно важными те черты реального Добролюбова, о которых нельзя было говорить в мемуарах. Идеи страстной и свободной любви, реабилитации плоти, «подсмотренные» у Добролюбова, были реализованы Чернышевским в беллетристике. Так сладострастный герой в романах Чернышевского оказался более похожим на реального Добролюбова, чем гениальный юноша из канонических «Материалов для биографии», которые надолго мифологизировали жизнь критика.

Механика культа

Парадоксально, но противодействие фетишизации образа Добролюбова, предпринятое объединившимися на этой почве журнальными силами, не принесло результатов — видимо, потому, что альтернативной Добролюбову фигуры так и не было предложено, а потребность в герое у разночинной молодежи была. Тексты Чернышевского и Некрасова о молодом гении, равно как и авторитет их личностей, оказались гораздо влиятельнее. Они опирались на хорошо разработанный к тому времени романтический миф о ранней гибели юноши-гения* (Андрей Тургенев, Дмитрий Веневитинов, Николай Станкевич, Михаил Лермонтов)[488]. Подобная канонизация подразумевала целый ряд акций: венок некрологических стихотворений, издание биографических материалов, воспоминаний, собрания сочинений, журнальные статьи о творчестве. При этом ини-

* Характерно, что Достоевский отразил не произнесенное Чернышевским в некрологе слово «гений» в записных книжках: «Теперь поступки дороже статей. Вы (Чернышевский. — *А. В.*) говорили, что Добролюбов — гений, умаливали, упрашивали публику признать его за гения. След[овательно], не выдержали... тона» (*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. Т. 20. С. 153—154).

циатива увековечивания памяти гения, как правило, исходила изнутри того кружка, в котором он играл видную роль.

На фоне предшествующих канонизаций случай Добролюбова выделяется рядом особенностей. Прежде всего поражает масштаб той роли, которую Чернышевский с Некрасовым отвели покойному. Диспропорция между репутацией начинающего критика и утверждением его «главой литературы» не могла не поразить современников. Дело осложнялось тем, что, как уже говорилось, при жизни Добролюбов публиковался исключительно под псевдонимами и обстоятельства его жизни были малоизвестны за пределами литературной среды. В такой ситуации у Некрасова с Чернышевским имелся образец, на который можно было ориентироваться.

В 1857 году Павел Анненков опубликовал очерк о жизни Николая Станкевича — фигуры исключительно важной для кружковой жизни 1830-х годов. Автор выстроил особую систему риторических и идеологических аргументов, чтобы обосновать право почти ничего не написавшего и не совершившего человека на посмертную славу. В центр своих размышлений Анненков поставил цельную, исключительную личность, которая, обладая высокими нравственными качествами, оказала огромное воздействие на современников:

> «Гораздо важнее литературной деятельности Станкевича его сердце и мысль. <...> Что же остается после Станкевича? <...> Нам остается именно эта личность и этот характер, как он выразился в переписке. На высокой степени нравственного развития личность и характер человека равняются положительному труду, и последствиями своими ему нисколько не уступают»[489].

Однако если в случае с «не-литератором» Станкевичем сдвиг акцента с деятельности на свойства личности выглядит оправданным и даже единственно возможным шагом, то применительно к критику Добролюбову, полное собрание сочинений которого составляет восемь томов, такой прием кажется более чем странным. Подчеркнем, что Чернышевский и Некрасов в некрологических текстах и биографии также выдвигали на первый план не литературно-критическую деятельность, а личность Добролюбова, представавшую образцом для подражания, а его биография выстраивалась как сюжет о становлении борца, аскета и

мученика, истинного «двигателя нашего умственного развития», по выражению Некрасова. Не будет преувеличением сказать, что она содержала ряд черт житийного канона: бедная, тяжелая юность, беззаветная любовь к семье, ранняя смерть родителей, выковывание характера, посвящение себя служению людям, отказ от мирских наслаждений и пр.

По-видимому, помимо русских образцов такой модели биографии, Чернышевский и Некрасов вдохновлялись и европейскими примерами. Среди них следует назвать книгу английского философа и писателя Томаса Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841), первая и третья главы которой были переведены Василием Боткиным и опубликованы в «Современнике» в 1855—1856 годах. Исследователи уже отмечали, что карлейлевская концепция поэта-героя оказала ощутимое влияние на идеологическое оформление сборника стихотворений Некрасова 1856 года[490]. Тексты Некрасова и Чернышевского о Добролюбове, как представляется, также могут вписываться в орбиту этого воздействия.

По Карлейлю, любая эпоха, в том числе современная, порождает великих людей, несмотря на отрицание их значимости. Герои всегда воздействуют на окружающих нравственно, а поскольку героем в современном обществе может выступать писатель, то и творчество его несет в себе в первую очередь *этический* заряд. Суть оригинальности Джонсона и Бёрнса для Карлейля заключается не в новизне их творчества и не в новаторстве их поэтики, а в их искренности и правдивости[491]. Мыслитель невысоко оценивал стихи Бёрнса или романы Руссо; гораздо важнее для него то, что Бёрнс «честный человек и честный писатель»: «Мы видим в этом великую добродетель, начало и корень всех литературных и нравственных добродетелей»[492].

Именно этот сдвиг приоритетов с эстетических критериев на этические явился моделью для русских читателей «английского пророка». Они почерпнули в его эссе лишь те элементы, которые оказались созвучны их собственному утопическому учению о «новых людях», воплотившемуся в романе «Что делать?» и серии гражданских стихотворений Некрасова 1860-х годов.

Наконец, еще одной и, пожалуй, самой примечательной чертой в построении посмертной репутации Добролюбова стало существенное расхождение между фактами его биографии и их интерпретацией в мемуарных и публици-

стических текстах. Утверждение критика в качестве апостола демократического направления, мученика и человека безупречной нравственной чистоты потребовало «чистки» его биографии.

О подробностях бурной личной жизни Добролюбова и его «чрезвычайной влюбчивости» (выражение Чернышевского, заимствованное Владимиром Набоковым для «Дара») знали немногие. Борясь со стереотипным восприятием Добролюбова как «человека без сердца» и «желчевика», Чернышевский и Некрасов в острополемической форме утверждали обратное, но при этом не решались предавать огласке те фрагменты дневников Добролюбова, в которых описывались похождения автора по домам терпимости и романы с проститутками.

Некрасов «канонизировал» идеализированный образ друга в ставшем хрестоматийным стихотворении «Памяти Добролюбова» (1864), герой которого имел мало общего с реальным человеком:

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил...[493]

В стихотворениях Некрасова «наивная и страстная душа» была у Белинского — «человека сороковых годов». Представитель нового поколения Добролюбов, страстный в жизни, обретая новое бытие в стихах Некрасова, оказывался лишенным права на страстную душу.

Дальнейшая история восприятия личности Добролюбова — отдельная тема. Наметим лишь ее контуры. Уже к 1870—1880-м годам критик стал культовой фигурой для радикальной молодежи. Российское студенчество не только читало и цитировало его статьи, но и постоянно публично напоминало властям о его значимости. Небольшие демонстрации на могиле Добролюбова в десятилетнюю, двадцатилетнюю, двадцатипятилетнюю и сорокалетнюю годовщины его смерти были не только антиправительственными акциями, но и жестом протеста против официальных и официозных торжеств: вместо роскошной ресторации —

трактир, вместо литургии в соборе — сходка на кладбище, зачастую без панихиды. Так, в 1871 году студенчество хотело привлечь внимание общественности к годовщине смерти Добролюбова, однако газеты (по директиве сверху) отказались публиковать связанные с ней материалы. В результате на Волковом кладбище собралось около шестидесяти человек. После панихиды студенты «зашли в первый попутный трактир, где они выпили по рюмке водки, закусив хлебом, тотчас разошлись по своим квартирам»[494].

Представление о развитии поминальной риторики дает прокламация «Ко дню двадцатой годовщины смерти Добролюбова» (1881) — призыв к России «почтить празднеством его памяти» «своего великого сына». Характерно, что такое печальное событие, как годовщина смерти Добролюбова, описывается здесь как празднество, противопоставленное другому — дню рождения «жены всероссийского деспота» — императрицы Марии Федоровны: отмечать его следует не «шумными овациями», «не торжественными речами, а борьбой за заветнейшие мечты его и желания, и каждый день, ознаменованный этой борьбой, есть годовщина памяти Добролюбова»[495].

Вполне объяснимо, почему радикальная интеллигенция чаще выбирала для чествования годовщины смерти, нежели дни рождения. Смерть литератора в русской культуре окружена мученическим ореолом. Кончины Белинского, Добролюбова, Чернышевского описывались как спровоцированные властью в разных ее проявлениях — цензурой, судом, ссылкой — и, соответственно, обладали огромным символическим и риторическим потенциалом.

К началу 1900-х годов в народнической публицистике окончательно сложился образ Добролюбова-революционера, мечтавшего о крестьянской революции. Наиболее ярко он воплотился в статье известной народницы Веры Засулич (Искра. 1901. № 13). Называя Добролюбова «классиком» и предшественником народовольцев, автор утверждала, что он умел проводить «революционные идеи» через цензуру; если вначале в нем можно было лишь угадывать революционера, то в статье «Луч света в темном царстве» он иносказательно писал о скором «народном восстании» и «боялся только, что крестьяне восстанут раньше, чем подрастет поколение, способное прийти им на помощь»[496]. Это опасение, полагала Засулич, выразилось в уже упомянутом нами четверостишии «О подожди еще, желанная, святая...», обращенном к революции. Не стоит и говорить, что хотя эти

строки и вызывают разные толкования, их прочтение в духе Засулич требует рискованных допущений, подтвердить которые другими свидетельствами крайне трудно.

Снятие цензурных запретов после революции 1905 года и приближение пятидесятилетия со дня смерти Добролюбова сильно сказались на судьбе сложившегося культа. Именно в преддверии юбилея и в связи с первым научным изданием его собрания сочинений, дневников и писем историки литературы впервые заговорили о несовпадении подлинного облика критика и созданного мифа. Известный критик В. П. Кранихфельд отмечал: «...человеком "не от мира сего"... считается и до сей поры Добролюбов. И этот в корне своем ошибочный взгляд мешал разглядеть подлинную физиономию критика. Первоначальным виновником этой ошибки... надобно признать Чернышевского. Обладая всеми материалами для характеристики Добролюбова, зная о многом "человеческом"... в жизни Добролюбова... Чернышевский сознательно скрыл от читателей некоторые документы»[497]. Важнейшие из них (дневники и письма) были опубликованы в 1910—1930-х годах, что, впрочем, не развеяло миф. Дело в том, что параллельно с попытками его развенчать в марксистской критике и публицистике 1900-х годов складывался другой образ Добролюбова, подготовивший почву для его советской «канонизации».

Ключевая роль в этом принадлежала отнюдь не Ленину, как можно было бы подумать. Лидер большевиков упомянул Добролюбова всего восемь раз (с 1901 по 1918 год) и всегда вскользь, в контексте обсуждения какой-либо иной проблемы. Лишь в его статье 1912 года «Памяти Герцена» появляется ставшее в советские годы хрестоматийным противопоставление либерала Герцена Чернышевскому и Добролюбову — «последовательным демократам» и «революционерам-разночинцам»[498]. В позднесоветские годы часто цитировались ленинские слова о колоссальном влиянии, оказанном на него в молодости статьями критика: «Две его статьи — одна о романе Гончарова "Обломов", другая о романе Тургенева "Накануне" — ударили как молния... Из разбора "Обломова" он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа "Накануне" настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается»[499]. Однако слова эти взяты из книги меньшевика Н. Валентинова (Николая Владиславовича Вольского) «Встречи с В. И. Лениным» (Нью-Йорк, 1953) и представляют собой пересказ

по памяти бесед с лидером большевиков, происходивших в 1904 году в Женеве.

Как видим, Ленин оперировал теми же устойчивыми народническими клише, которыми ранее пользовалась Засулич. Разумеется, после октября 1917 года любые фразы «вождя мирового пролетариата» повысились в статусе. Но тогда, в 1900-е годы, первым, кто последовательно взглянул на Добролюбова с ортодоксальных марксистских позиций, был Георгий Валентинович Плеханов — один из основоположников марксизма в России, известный критик и один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии.

В 1911 году в статье «Добролюбов и Островский» Плеханов, полемизируя с народниками, рассмотрел убеждения Добролюбова с точки зрения исторического материализма Маркса и пришел к неутешительному выводу: хотя русский критик и был материалистом, он еще не умел последовательно приложить материализм к объяснению общественной жизни. Последователь Фейербаха, Добролюбов во взглядах на историю был идеалистом. Хотя в представлениях о человеке он апеллировал к «природе», «натуре», естественным потребностям личности, он всё еще верил, что, стоит только изменить взгляды людей (с помощью внушения верных идей), как социальное зло исчезнет и социум начнет двигаться к демократии. Плеханов, таким образом, впервые подошел к воззрениям Добролюбова с меркой Марксовой теории о конфликте производительных сил и производственных отношений, о классовой борьбе как главной движущей силе истории[500].

Вслед за Плехановым другой крупный теоретик-марксист, Вацлав Воровский, в статье 1912 года «Н. А. Добролюбов» рассматривал его социалистический идеал с точки зрения исторического материализма. Воровский был осторожнее: хотя и называл исторические взгляды Добролюбова «утопическими», не стремился осуждать его за то, что он не дорос до Маркса: «Ему доступно было объяснение общественного развития материальными причинами, доступно было и диалектическое мышление; но ему не были еще доступны законы развития экономических форм, в частности капитализма. Это ошибка эпохи, а не Добролюбова»[501].

В советское время образ Добролюбова, созданный Чернышевским и Некрасовым в 1861—1862 годах, а затем заново интерпретированный марксистской критикой, оказался

необычайно востребованным и к концу 1930-х получил подновленное идеологическое оформление. Во многом миф продолжает определять восприятие Добролюбова и сегодня.

Добролюбов стал вторым после Белинского идеалом разночинца, с помощью которого нарождавшаяся радикальная интеллигенция конструировала собственную идентичность. Однако если культ Белинского в силу разных причин начал создаваться не сразу после его кончины, а только к началу 1860-х годов, то лепка «посмертной маски» Добролюбова была произведена удивительно быстро и на редкость успешно. Приемы и средства, идеи и словесные формулы, удачно найденные и апробированные Некрасовым и Чернышевским в некрологических текстах, в 1870—1900-е годы стали неотъемлемой частью мифологии радикальной интеллигенции.

Послесловие

СОВЕТСКИЙ ДОБРОЛЮБОВ

Вся история отношения русской интеллигенции (не только «левой») к Добролюбову свидетельствует, что культовый статус он приобрел задолго до Октябрьской революции. Казалось бы, советской пропагандистской машине не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы апроприировать наследие великого критика. Между тем даже краткая история его восприятия в раннесоветское время, в 1920—1940-е годы, показывает, что процесс этот протекал с большими потерями и для образа Добролюбова, и для его статей, истинный смысл которых выхолащивался.

Как известно, каждый феномен дореволюционной культуры после 1917 года подвергался переосмыслению и своеобразному «переписыванию», «переозначиванию». Казалось бы, в 1920-е годы наряду с «канонизацией» революционных взглядов Добролюбова должен был быть «канонизирован» и его метод «реальной критики», на первый взгляд идеально вписывающийся в рамки насаждаемых идеологических норм. На самом же деле журнальная полемика 1920—1930-х годов демонстрирует, что метод Добролюбова таил в себе большую опасность для становившейся официальной марксистской идеологии и подчиненной ей советской критики.

Эволюция советского добролюбовского мифа вполне вписывается в историю культурной политики большевиков и распадается на этапы: первый — с 1917 года, второй — с 1930-го, третий — с середины 1950-х годов до конца 1980-х.

К началу советской эпохи добролюбовский миф являл собой давно сложившееся и прочное идеологическое образование. В юбилейный 1911 год отчетливо звучали требования освободить посмертный образ Добролюбова от идеологических наслоений, ответственность за которые была

целиком возложена на Чернышевского как первого биографа и издателя его текстов. Осуществить эту «демифологизацию» до революции не удалось. Молодой советской культуре досталось в наследство удобное клише о суровом аскете, мученике, революционере и гениальном истолкователе литературы, предвосхитившем марксистскую критику.

Однако «канонизация» после 1917 года шла не так гладко, как можно было бы предположить. Вначале происходила вялотекущая консервация уже сложившегося образа, поддерживаемая сравнительно небольшим числом новых публикаций. По данным библиографии С. А. Рейсера, из примерно пятисот статей, написанных о Добролюбове с 1917 по 1936 год, всего лишь четверть приходится на 1917—1927 годы[502].

Двадцать седьмого октября 1918 года состоялось открытие памятника Добролюбову в Петрограде*, ознаменованное речью наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, который суммировал ключевые идеи «добролюбовского мифа»: рано умерший гений исключительной нравственной чистоты, основоположник «социалистической пропаганды», «один из величайших русских социалистов»[503]. При этом снижение интереса властей к Добролюбову легко увидеть по книгоиздательской политике: с 1917 по 1929 год не вышло ни одного издания избранных статей критика. Лишь в 1923-м в серии «Классики русской литературы» отдельными брошюрками были напечатаны четыре статьи («Темное царство», «Забитые люди», «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день?»), что в разы меньше, чем в 1910-е годы. Первый сборник статей критика увидел свет лишь в 1929 году. Более того, в число изъятых из библиотек по административному рвению «идеологически невыдержанных» книг попали и сочинения Добролюбова[504]. Как отмечала в 1936 году газета «Комсомольская правда», за годы советской власти сочинения Добролюбова изданы общим тиражом 174 тысячи экземпляров (правда, из них 95 тысяч вышли в предъюбилейном 1935 году). Для сравнения, в 1932 году их тираж составил всего 7400 экземпляров[505].

Плохо обстояло дело с Добролюбовым и в школе. В 1932 году в статье «О преподавании литературы» Надежда

---

* Один из первых памятников советской власти в рамках ленинского проекта «монументальной пропаганды» (первый — Радищеву — был открыт 22 сентября 1918 года).

Крупская сокрушалась, что ни Чернышевский, ни Добролюбов не входят в школьную программу, несмотря на постоянные упоминания «революционеров-демократов» в сочинениях Ленина[506]. Впрочем, вдова вождя, с 1929 года занимавшая должность заместителя наркома просвещения, не учитывала всех достижений своего ведомства: статьи Добролюбова мы находим в программе единой трудовой школы седьмого года обучения (раздел «критика и публицистика») и в программе для школ крестьянской молодежи — правда, в разделе «дополнительное чтение»[507]. Таким образом, к началу 1930-х годов Добролюбов всё же попал в школьные программы. Больше никто из критиков XIX века такой чести не удостоился.

Можно сказать, что в 1920-е годы критическое наследие Добролюбова оказалось на периферии литературного процесса, оставаясь так и не «завоеванной» классикой. Не поддерживаемый Наркомпросом и книгоиздателями, образ Добролюбова воплощался лишь в петроградском бронзовом памятнике.

Подлинное освоение наследия Добролюбова началось в сталинскую эпоху — с 1929 года, ставшего переломным для его посмертной судьбы. Ключевую роль в этом деле сыграл старый большевик (кстати, бывший семинарист) Павел Иванович Лебедев-Полянский, в 1921—1931 годах заведовавший Главным управлением по делам литературы и издательств (то есть цензурой), организатор многих журнальных кампаний конца 1920-х годов, в том числе по разгрому «буржуазного» литературоведения. Одновременно Полянский оказался главным «добролюбоведом» страны, почти монополизировавшим издание текстов критика и написание энциклопедических и словарных статей о нем. В 1931 году Полянский издал без купюр дневники критика*, что больше никогда не повторилось. В 1933 году в издательстве «Academia» вышла его монография о Добролюбове, а через два года началась подготовка академического полного собрания сочинений критика, первый том которого увидел свет в юбилейном 1936-м.

Тем не менее за весьма благоприятной для репутации Добролюбова внешней канвой скрывался сложный процесс «освоения» его идейного наследия. Наиболее затруд-

---

* Они были подготовлены к печати поэтом и критиком Владимиром Княжниным еще в 1913 году, но издание не было осуществлено из-за начавшейся Первой мировой войны.

нительными и в то же время актуальными оказались два вопроса: о мировоззрении критика и о его теории художественного творчества.

Стремительная актуализация идей Добролюбова началась в 1931 году, когда в журнале «РАПП» появилась статья замдиректора Института литературы и языка Коммунистической академии Валерия Яковлевича Кирпотина со знаковым названием «Критика Добролюбова и проблемы литературной современности». Суммируя опыт интерпретации места и роли Добролюбова в истории русской материалистической мысли, Кирпотин, по сути, повторял уже известную нам плехановскую концепцию 1911 года, упрощая ее и приспосабливая к текущему политическому моменту.

Добролюбов, по Кирпотину, являлся социалистом-утопистом, материалистом фейербаховского толка, а значит, ярким представителем домарксова этапа материализма. Главная цель статьи заключалась, впрочем, не в том, чтобы лучше понять Добролюбова, а в том, чтобы проверить, годится ли его метод для использования советскими критиками[508].

Оказалось, что, во-первых, статьи предшественника могли научить современных критиков четко различать художников-идеалистов и материалистов. Во-вторых, декларируемый Добролюбовым принцип приоритета содержания перед формой становился эффективным средством против любых формалистических поползновений (не забудем, что нападки в печати на «формализм», под которым могло пониматься что угодно, никогда не прекращались). Наконец, «материалистический, истинный показ действительности», которого требовал Добролюбов, становился теперь краеугольным камнем литературы. Однако, несмотря на, казалось бы, полное следование принципам Добролюбова, учение о домарксовой стадии материализма никак не позволяло полностью присвоить взгляды Добролюбова и приравнять их к современным. Кирпотин постоянно оговаривал, что, невзирая на элементы диалектики, мышление Добролюбова в целом недиалектично и, следовательно, приводит его к идеализму. Критик, по мнению толкователя, так и остался идеалистом-просветителем, верящим в путь искоренения социального зла через просвещение, а значит, не понявшим классового характера общественной борьбы и исторического развития. Самый серьезный недостаток в мировоззрении Добролюбова, по Кирпотину, имел прямую связь с литературной современностью и идейной

перековкой советских критиков и писателей. В концепции Добролюбова «ложное познание в понятиях» писателя могло расходиться с «истинным познанием в образах» его произведений. Знаменитую добролюбовскую концепцию писательской «натуры», противопоставленной идеологии, Кирпотин объявлял ложной и утопической. Больше всего он восставал против добролюбовского тезиса, что «натура человека в образном мышлении проявляет себя независимо от господствующих ложных теорий и предрассудков»[509].

Очевидно, что концепция Добролюбова шла вразрез с теорией социального заказа и требованием полной идеологической ответственности автора за написанное[510], оставляла лазейку для интуитивных, подсознательных идей, которые могли проступать в образах вопреки господствующей идеологии. Кирпотин затеял критику мертвого Добролюбова в том числе для того, чтобы напасть на живого и влиятельного профессора Московского университета и Института красной профессуры Валерьяна Федоровича Переверзева, кампания против социологического метода которого развернулась в 1929—1930 годы. Статья Кирпотина была поздним, но никак не случайным ее отголоском.

Сложная связь метода Переверзева с идеями Добролюбова подчеркивалась самим ученым и была очевидна для современников. Кирпотин объявил Переверзева учеником Добролюбова как раз в том смысле, что профессор якобы отрицал «зависимость художественного творчества от идейного ряда» и отказывался от понятия «миросозерцание» в смысле системы взглядов, существующей вне художественных образов. Кирпотин также обвинил Переверзева в одном из самых страшных грехов — отделении литературного ряда от идеологического и провозглашении необязательности наличия у писателя «партийно-политической идеологии»[511], цитируя в этой связи переверзевскую статью 1923 года, где утверждалось: «Партийность художественного творчества коренится не столько в сознании, сколько в подсознательных сферах художника»[512].

На самом же деле Переверзев, во многом перекликаясь с Добролюбовым, постоянно подчеркивал глубокое отличие своего историко-материалистического метода от «наивного реализма» реальной критики Добролюбова и Писарева[513]. И Кирпотин уловил это различие. Да, признаёт он, Добролюбов всё списывает на натуру, понимая ее в антропологическо-физиологическом смысле, в то время как Переверзев апеллирует к «социальному характеру», понимая

искусство как проекцию объективных социальных отношений на литературные образы. Но результат построений обоих критиков, по Кирпотину, «одинаково метафизичен». Усиливая критику, Кирпотин утверждал даже, что Добролюбов гораздо более историчен и материалистичен, чем метафизик Переверзев, который якобы довел метод автора «Темного царства» до абсурда. Отсюда логически вытекал приговор методу Переверзева: если заблуждения Добролюбова на пути к истине были «поучительны», то ошибки Переверзева являются «фальсификацией марксизма» и «меньшевистским уклоном», ибо «отрыв искусства от политики» «разоружает революцию пролетариата в сфере искусства», «служит средством к обезврежению марксизма в интересах врагов рабочего класса»[514].

Статья Кирпотина, таким образом, содержит отзвук сразу всех главных кампаний 1930—1931 годов — против переверзевщины, против меньшевистского уклона, против механистичности в философии и других науках, за плехановскую ортодоксию. Фигура Добролюбова не случайно мелькала в череде этих полемик, поскольку его наследие использовалось и плехановской эстетикой, и психологической социологией Переверзева. Парадоксальным образом после разгрома и тех и других статус Добролюбова в советском пантеоне классики лишь повысился.

В 1932—1933 годах начался следующий этап «присвоения» Добролюбова сталинской культурой. Идеологический контекст 1932 года характеризовался очередной резкой сменой правил игры и программных ориентиров. Бурная кампания за «плехановскую ортодоксию» сменяется кампанией против плехановщины. После письма Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» в редакцию «Пролетарской революции» Всесоюзное объединение Ассоциации пролетарских писателей издает соответствующее постановление, в котором требует «изживать некритическое отношение к плехановской (т. е. меньшевистской) философии» и его литературоведческому наследию. Новый период, провозглашенный «ленинским этапом в литературоведении», подразумевал выдвижение на передний план взамен узкоспециальных литературоведческих понятий (образ, содержание, форма) категории партийности; решительный возврат к классике, в том числе к критическому дореволюционному канону[515]. После осуществленной в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года перестройки литературных организаций был взят

курс на создание советской классики с опорой на тщательно отобранных классиков ушедшей эпохи. Этот процесс затронул и Добролюбова, о чем свидетельствует серия статей профессора Николая Александровича Глаголева, заведующего кафедрой литературы Московского областного педагогического института.

В статье 1933 года Глаголев сокрушался, что Добролюбова изучали предательски мало, не осмысливая даже высказывания Ленина о нем. Спорные вопросы философского мировоззрения Добролюбова уже не представляли для Глаголева такой проблемы, как еще двумя годами ранее для Кирпотина. Критик объявлял автора «Темного царства» социалистом-утопистом, не поднявшимся до уровня диалектического материализма и лишь в некоторых вопросах приближавшимся к нему. Большую часть статьи занимало опровержение мнения Плеханова, что Добролюбов оценивал творчество писателя «независимо от его убеждений, независимо от имеющихся у него идейно-политических тенденций». Этой, с его точки зрения, ложной и вредной теории Глаголев противопоставлял ленинскую трактовку критики Добролюбова и Чернышевского как глубоко партийной и проникнутой духом классовой борьбы. Кроме прочего, Добролюбов ни в коем случае не являлся сторонником теории бессознательного художественного творчества, как бы ни старались критики-фальсификаторы утверждать обратное[516].

В статье 1935 года Глаголев провозглашал актуальность Добролюбова для современной литературной ситуации в полном соответствии с установками власти: советская критика должна учиться у Добролюбова понимать, что «замысел художника и функция произведения не всегда совпадают», и выявлять, что «говорит объективно само произведение»; критика должна оказывать воздействие и на читателя, и на писателя, разъясняя, в чем он допустил ошибки[517]. Этот призыв вполне понятен на фоне директив середины 1930-х годов, требовавших от критики идти «впереди» литературы[518].

В качестве самого яркого примера подобных «приказов» следует назвать юбилейную передовую статью доцента Государственной академии искусствознания Анны Абрамовны Бескиной в газете «Литературный Ленинград»: метод Добролюбова как «усилителя художественного образа» ставился в пример всем современным работникам критического фронта, которые в рамках кампании «литератур-

ной учебы» у классиков должны были «брать уроки» у великого предшественника. Бескина считала, что современная критика «слишком замкнута и недостаточно публицистична», и выносила вердикт: «Так, как работал Добролюбов, не умеют работать наши критики... выводить образы из литературы в жизнь». Что же касается идейных ошибок Добролюбова, автор подчеркивала, что они сданы в архив, а Добролюбов актуален и сейчас.

Как видим, к 1936 году — столетию со дня рождения Добролюбова — кодифицированная партийными пропагандистами трактовка его творчества заблокировала любые споры о нем. Печальным итогом юбилея оказалась стерилизация, сведение к серии штампов личности и наследия Добролюбова. В сотнях статей и докладов 1936 года прекрасно прослеживается абсолютная беспроблемность его классического образа. Так, в статьях специального добролюбовского тома «Известий Академии наук СССР» и тома «Литературного наследства» (№ 25/26) все острые вопросы обойдены, оценки унифицированы, противоречия сняты. В результате «идеологические» статьи двух академических изданий почти идентичны в формулировках и выводах.

Добролюбовские празднования 1936 года окончательно зафиксировали застывший и беспроблемный образ критика. Юбилей Добролюбова по размаху превосходил столетие со дня смерти Гёте в 1932 году и предвосхищал пушкинские торжества 1937-го. Вышедшая в 1951 году в серии «Жизнь замечательных людей» книга В. В. Жданова закрепила все официозные клише и надолго перекрыла доступ широкой читательской аудитории к подлинной биографии Добролюбова.

Усилия многих замечательных литературоведов, не раз цитированных на страницах нашей книги, в 1950—1970-е годы были направлены на то, чтобы вернуть читателю реального Добролюбова. Однако новую жизнь образ Добролюбова обрел в послевоенные десятилетия на страницах не биографий, а лучшего литературного журнала оттепельной поры — «Нового мира» А. Т. Твардовского. Если чем хорошим и обернулось внедрение Добролюбова в советскую школьную программу, так это появлением целого поколения молодых критиков, выросших на его статьях и восхищавшихся их свободным словом. Участники литературной жизни второй половины 1950-х годов проводили параллель между Россией после Николая I и постсталинским СССР и видели далеко не случайную аналогию между демократиче-

ской журналистикой «Современника» и освобождающим от сталинской лжи словом «Нового мира»[519]. Обновление началось уже в конце 1953-го — начале 1954 года, когда в нескольких статьях журнала («Об искренности в литературе» Владимира Померанцева, «Дневник Мариэтты Шагинян» Михаила Лифшица, «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» Федора Абрамова и «“Русский лес” Леонида Леонова» Марка Щеглова) прозвучали требования необходимости искренности в литературе (читай — и в жизни).

Это был лишь пролог к настоящему торжеству добролюбовской «реальной критики», наступившему во время второго редакторства Твардовского (1958—1970). В это время в журнале появляется целая плеяда критиков, не только постоянно апеллирующих в своих статьях к освященной каноном фигуре Добролюбова, но и практикующих его критический метод: Владимир Яковлевич Лакшин (1933—1993), Игорь Иванович Виноградов (1930—2015), Юрий Григорьевич Буртин (1932—2000).

Как будто повторялась ситуация столетней давности: большой поэт-издатель (Твардовский) привечает ведущего критика (Лакшина) и выдвигает его в соредакторы. Лакшин сам иносказательно, но прозрачно намекал на эту аналогию в статье «Пути журнальные» (1967). Но дело было не только в сходстве журнально-политического расклада сил.

С 1964 года Лакшин занимался защитой метода Добролюбова от партийной схоластики, в духе 1930-х годов предписывавшей современным критикам судить писателей, следуя по стопам великого предшественника. Полемичность статей Лакшина была обусловлена его общественной позицией, выраженной им цитатой из Добролюбова: «Общество еще не сыто правдой»[520].

После разгона редакции журнала Твардовского в 1970 году эстафету главного наследника и даже адепта «реальной критики» перенял Юрий Буртин. Работая в редакции «Советской энциклопедии», он занялся исследованием творчества Добролюбова: в 1986 году подготовил трехтомник его избранных статей, а позднее участвовал в написании статьи о нем, опубликованной во втором томе фундаментального научного словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1992). Красноречиво называя метод критика «делом на все времена», Буртин в программной статье 1987 года «Реальная критика вчера и сегодня» мечтал о появлении нового Добролюбова. На сюжетном материале

повести Валентина Распутина «Пожар» автор предлагал анализировать социальные причины нравственного распада деревни. Он считал двумя главными достоинствами метода Добролюбова, делавшими его актуальным во время «перестройки», социологизм и идею демократии. «Реальная критика» представала в статье мощным инструментом дальнейшей демократизации советского общества и возвращения к преданным идеалам.

Но было уже слишком поздно. Никакого торжества «реальной критики» не случилось, Буртин остался ее последним рыцарем. По его проницательному наблюдению, великие критики если и бывают, то единожды в истории национальной литературы, и в России таковым был не Добролюбов, а Белинский[521]. Добролюбов же сегодня интересен скорее не своим критическим методом, а противоречивостью своей личности, ставшей символом целого поколения. Идеалы его, кажется, никуда не исчезли.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Набоков В. В.* Дар // *Набоков В. В.* Русский период: Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. СПб., 2002. С. 436—437.

[2] *Красноперов И. М.* Записки разночинца. М.; Л., 1929. С. 64—66.

[3] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников / Вступ. ст. Г. Г. Елизаветиной; сост., подг. текста, коммент. С. А. Рейсера. М., 1986. С. 312.

[4] См.: *Жданов В. В.* Добролюбов. М., 1951 (следующие издания — 1955, 1961). Книги, выходившие позднее (см.: *Демченко А. А.* Н. А. Добролюбов: Книга для учителя. М., 1984; *Егоров Б. Ф.* Николай Александрович Добролюбов: Книга для учащихся. М., 1986), не претендовали на статус фундаментальной научной биографии.

[5] См.: *Зеньковский В.* История русской философии. М., 2011. С. 311—312.

[6] См.: *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996; *Печерская Т. И.* Разночинцы шестидесятых годов XIX в.: Феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики. Новосибирск, 1999.

[7] См.: *Манчестер Л.* Поповичи в миру: Духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М., 2015.

[8] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 46.

[9] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 41.

[10] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953. С. 16.

[11] См.: *Филатов Н. Ф.* Материалы к биографии Н. А. Добролюбова // Н. А. Добролюбов: Эстетика. Литература. Критика: Сборник статей и материалов. Л., 1988. С. 193—198.

[12] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 46.

[13] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 28—64.

[14] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 24.

[15] Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 57.

[16] См.: *Рейсер С. А.* Указ. соч. С. 19.

[17] См.: Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг. [Н. Г. Чернышевским]. М., 1890. С. 644—645.

[18] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. 1836—1853. Горький, 1961. С. 28—42.

[19] См.: *Митропольский А. С.* «Реэстр книг, читанных мною...»: Круг чтения Н. А. Добролюбова 1849—1853 гг. и первые литературные опыты. Нижний Новгород, 1991. С. 18—23.

[20] См.: Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 649—650.

[21] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 60; *Митропольский А. С.* Указ. соч. С. 29.

[22] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М.; Л., 1964. С. 11.

[23] См.: *Кудринский Ф. А.* Н. А. Добролюбов: Материалы к биографии // Русские ведомости. 1898. № 221. С. 5; Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 29—33.

[24] *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 63.

[25] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 196—197.

[26] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. М.; Л., 1964. С. 574.

[27] Издевательский добролюбовский конспект лекций одного из таких преподавателей см.: Там же. С. 575—595.

[28] См.: *Печерская Т. И.* Указ. соч. С. 292—293.

[29] Цит. по: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 69.

[30] См.: Там же. С. 155.

[31] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 437.

[32] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 71.

[33] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 447.

[34] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 25, 40. Ср. сводки успеваемости: *Кудринский Ф. А.* К биографии Добролюбова // Русские ведомости. 1895. № 283. С. 4.

[35] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 29; 34—35; 37—38.

[36] *Кудринский Ф. А.* Н. А. Добролюбов: Материалы к биографии. С. 5.

[37] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 35.

[38] Там же. С. 48.

[39] См.: Там же. С. 44.

[40] Там же. С. 40.

[41] См.: *Добролюбов Н. А.* Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. Л., 1939. С. 795, 796, 803.

[42] См.: *Он же.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 17.

[43] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 24.

[44] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 413—414.

[45] См.: *Егоров Б. Ф.* Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь народного творчества Нижегородской губернии. Горький, 1956. С. 17—18.

[46] См.: Там же. С. 30—31, 40—42.

[47] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 379.

[48] *Frede V.* Doubt, Atheism and the Nineteenth-Century Russian Intelligentsia. Madison, 2011. P. 3—18.

[49] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 441.

[50] Там же. Т. 9. С. 20.

[51] См.: Там же. Т. 8. С. 435.

[52] Там же. С. 437, 438, 439.

[53] Там же. С. 440, 441.

[54] Там же. С. 440.

[55] См.: *Паперно И.* Указ. соч. С. 46; *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 233.

[56] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 19, 22, 26.

[57] Там же. Т. 8. С. 421, 422.

[58] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 76—78.

[59] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 95.

[60] См.: *Кудринский Ф. А.* Н. А. Добролюбов: Материалы к биографии. С. 5.

[61] См.: *Зорин А. Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX в. М., 2016. С. 217.

[62] См.: *Frede V.* Op. cit. P. 139—140.

[63] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 455.

[64] Там же. С. 460.

[65] См.: *Кудринский Ф. А.* Н. А. Добролюбов: Материалы к биографии. С. 5.

[66] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов в Нижнем Новгороде. С. 50—52.

[67] См.: *Митропольский А. С.* К вопросу о формировании материалистических воззрений Н. А. Добролюбова (философско-эстетических и этических) // Н. А. Добролюбов: Эстетика. Литература. Критика. С. 186—190.

[68] См.: *Егоров Б. Ф.* Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь народного творчества Нижегородской губернии. С. 34—35.

[69] См.: *Кудринский Ф. А.* К биографии Добролюбова. С. 4.

[70] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 256.

[71] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 425.

[72] Там же. С. 453, 448.

[73] См.: *Кудринский Ф. А.* Н. А. Добролюбов: Материалы к биографии. С. 5.

[74] *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 57—58.

[75] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 31—32.

[76] Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук (далее — РО ИРЛИ). Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 57. Л. 3, 4, 5 об.

[77] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 70.

[78] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 46.

[79] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 59. Л. 1, 3.

[80] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 39, 59.

[81] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 116.

[82] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 76; *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 233.

[83] См.: *Печерская Т. И.* Указ. соч. С. 231.

[84] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 50—51.

[85] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 138.

[86] См.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 255. № 100. Л. 1—66.

[87] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 1. М.; Л., 1961. С. 554.

[88] См.: Там же. С. 580.

[89] Там же. Т. 8. С. 513.

[90] Там же. Т. 9. С. 119.

[91] См.: РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 57. Л. 27, 28; Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 108—109.

[92] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 123.

[93] См.: Там же. С. 118.

[94] Там же. Т. 8. С. 462.

[95] См.: *Рейсер С. А.* Н. А. Добролюбов и его товарищи в Главном педагогическом институте (1853—1857) // Освободительное движение в России. Вып. 3. Саратов, 1973. С. 7—11.

[96] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 126—127.

[97] Там же. С. 143, 137.

[98] Там же. С. 159.

[99] Там же. С. 316.

[100] Там же. С. 126.

[101] Там же. С. 161.

[102] Там же. С. 268.

[103] Там же. С. 184.

[104] См.: Там же. С. 186.

[105] См.: Там же. С. 182.

[106] См.: Там же. С. 196.

[107] Там же. Т. 8. С. 464. См. также: *Frede V.* Op. cit. P. 142—143.

[108] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 117; Неизданные тексты Н. А. Добролюбова / Публ. С. А. Рейсера // Литературное наследство. Т. 25/26. М., 1936. С. 243—245.

[109] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 535.

[110] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 99.

[111] См.: *Фейербах Л. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 200—238; *Паперно И.* Указ. соч. С. 57—58.

[112] См.: *Володин А. И.* Николай Добролюбов и Людвиг Фейербах // Философские науки. 1986. № 4. С. 92.

[113] См.: *Фейербах Л. А.* Сущность христианства. М., 1965. С. 11, 31—32, 218—219.

[114] См.: *Шпет Г.* К вопросу о гегельянстве В. Г. Белинского // Вопросы философии. 1991. № 7.

[115] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 394; РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 11.

[116] На это указали еще в 1911 году Е. В. Аничков и В. Н. Княжнин (см.: *Аничков Е., Княжнин В.* Дела и дни Добролюбова // Современник. 1911. № 11. С. 245—246), а недавно — В. Фреде (см.: *Frede V.* Op. cit. P. 148). Комментарий см.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 614.

[117] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 42—43.

[118] Там же. С. 53.

[119] См.: *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 13—17.

[120] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 52, 33, 94.

[121] См.: Там же. Т. 8. С. 575—596.

[122] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 60.

[123] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 52.

[124] Там же. С. 81.

[125] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 101.

[126] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 8—10.

[127] Там же. С. 25.

[128] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 137.

[129] См.: *Шапир М. И.* Исторический анекдот у А. К. Толстого и Н. А. Добролюбова («Сон Попова»: дополнение к комментарию) // Даугава. 1990. № 6. С. 103—106.

[130] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 563.

[131] Полный список см.: *Рейсер С. А.* К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова // Известия АН СССР. Серия «История и философия». М., 1952. Т. 9. № 1. С. 52—60; *Он же.* Н. А. Добролюбов и его товарищи в Главном педагогическом институте. С. 3—28.

[132] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 92.

[133] Там же. С. 146.

[134] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 14. М., 1953. С. 359—360.

[135] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 464. Список купленных Добролюбовым книг см.: ОР РНБ. Ф. 255. № 112. Л. 1.

[136] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 104.

[137] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 144—145.

[138] См.: Там же. С. 146.

[139] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 247—248.

[140] *Паперно И.* Указ. соч. С. 85.

[141] См.: *Егоров Б. Ф.* Добролюбов и Чернышевский // Н. А. Добролюбов: Эстетика. Литература. Критика. С. 98—106.

[142] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 248.

[143] Там же. Т. 8. С. 531.

[144] Там же. Т. 9. С. 248.

[145] См.: Там же. Т. 8. С. 513, 523, 538, 546.

[146] Там же. С. 559.

[147] См.: Там же. С. 560—561.

[148] См.: Там же. Т. 9. С. 180.

[149] См.: *Филатов Н. Ф.* Указ. соч. С. 95.

[150] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 193, 208.

[151] См.: Там же. С. 219, 224.

[152] Подсчитано по: ОР РНБ. Ф. 255. № 112. Л. 1. См. также: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 234.

[153] См.: *Ямпольский И. Г.* Бюджет Н. А. Добролюбова // Литературное наследство. Т. 25/26. С. 352.

[154] См.: Там же. С. 347—352.

[155] См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Саратов, 1959. Т. 2. С. 87.

[156] См.: *Лебедев-Полянский В.* Н. А. Добролюбов: мировоззрение и литературно-критическая деятельность. М., 1933. С. 76—85.

[157] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 667.

[158] *Егоров Б. Ф.* Дневник за январь — начало мая 1964 // Острова любви БорФеда: Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова. СПб., 2016. С. 1017.

[159] *Добролюбов Н. А.* Дневники / Под ред. В. Полянского. М., 1931. С. 164.

[160] См.: *Он же.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 669, 533.

[161] Там же. С. 510.

[162] Там же. С. 510—511.

[163] См.: *Печерская Т. И.* Указ. соч. С. 78—82.

[164] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 199—201.

[165] Там же. Т. 8. С. 517.

[166] См.: Там же. С. 522.

[167] *Паперно И.* Указ. соч. С. 69. См. также: *Печерская Т. И.* Указ. соч. С. 79.

[168] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 517.

[169] *Он же.* Дневники. С. 172.

[170] См.: РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 37 об.

[171] См.: *Князькин И.* История петербургской проституции. СПб., 2003. С. 424.

[172] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 557, 568.

[173] См.: Там же. С. 562—563, 566.

[174] Там же. С. 567.

[175] Там же. Т. 9. С. 278.

[176] Там же. Т. 8. С. 511.

[177] *Чернышевский Н. Г.* Указ. соч. Т. 14. С. 485.

[178] См.: *Обозненко П. Е.* Поднадзорная проституция Петербурга по данным врачебно-полицейского комитета и Калинкинской больницы. СПб., 1896. С. 22.

[179] См.: *Кузнецов М. Г.* Проституция и сифилис в России: Историко-статистические исследования. СПб., 1871. С. 104, 105.

[180] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 49.

[181] Там же. С. 555.

[182] *Он же.* Дневники. С. 175—176.

[183] *Он же.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 73.

[184] См.: Там же. С. 567—568.

[185] См.: *Гордон Я. И.* Гейне в России (1830—1860-е гг.). Душанбе, 1973; *Ачкасов А. В.* Лирика Гейне в русских переводах 1840—1860-х гг. Курск, 2003.

[186] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 259.

[187] См.: РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 58. Л. 18—18 об.

[188] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 553.

[189] См.: Генрих Гейне: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. М., 1958. С. 103.

[190] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 51—52.

[191] Там же. С. 94.

[192] Там же. С. 53.

[193] Там же. С. 510.

[194] *Гейне Г.* Собрание сочинений: В 10 т. / Под общ. ред. Н. Я. Берковского, В. М. Жирмунского, Я. М. Металлова. Т. 2. Л., 1956. С. 47.

[195] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 3. М.; Л., 1962. С. 448.

[196] См.: *Тынянов Ю. Н.* Тютчев и Гейне // *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 377—379.

[197] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 447.

[198] См.: Там же. Т. 9. С. 283.

[199] Там же. С. 270.

[200] Там же. С. 282.

[201] Цит. по: *Рейсер С. А.* Добролюбов накануне окончания Главного педагогического института // Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской. Л., 1957. Т. 2. С. 234—235.

[202] См.: *Боград В. Э.* Эпизод из студенческой жизни Добролюбова // Ученые записки ГГУ. Вып. 71. Горький, 1965. С. 268—274; *Рейсер С. А.* И. И. Давыдов о Добролюбове // Там же. С. 275—281.

[203] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 168.

[204] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 366.

[205] См.: Там же. С. 366—367; Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 88—89.

[206] Новые документы о Н. А. Добролюбове // Красный архив. 1936. № 2. С. 154.

[207] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 170.

[208] См.: *Он же.* Добролюбов накануне окончания Главного педагогического института. С. 238.

[209] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 291.

[210] См.: Там же. С. 299.

[211] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 199, 261.

[212] См.: Там же. С. 236, 317.

[213] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 316.

[214] Там же. С. 304.

[215] Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 493.

[216] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 3. М., 1987. С. 130; Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 164.

[217] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 132.

[218] См.: *Евгеньев-Максимов В. Е.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936. С. 71—72.

[219] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 168.

[220] См.: *Евгеньев-Максимов В. Е.* Указ. соч. С. 73—74.

[221] Переписка И. С. Тургенева. Т. 2. С. 75.

[222] См.: *Ключкин К.* Литературные предприятия Некрасова 1840-х годов и формирование дискурса российской публичной сферы. Статья вторая // Карабиха: Историко-литературный сборник. Вып. 9. Ярославль, 2016. С. 206.

[223] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 179.

[224] См.: *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009. С. 47.

[225] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 150.

[226] См.: Там же. С. 172.

[227] См.: Там же. С. 173, 151, 153.

[228] См.: Переписка Н. А. Некрасова. Т. 2. С. 107.

[229] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 371.

[230] Там же. С. 372.

[231] *Чернышевский Н. Г.* Указ. соч. Т. 14. С. 359.

[232] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 211.

[233] *Чернышевский Н. Г.* Указ соч. Т. 14. С. 359.

[234] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 147.

[235] См.: *Чернышевский Н. Г.* Указ. соч. Т. 14. С. 327.

[236] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 148.

[237] См.: Там же. С. 169—170, 172.

[238] См.: Там же. С. 175.

[239] Там же. С. 176.

[240] См.: Там же. С. 232.

[241] См.: Там же. С. 180, 181.

[242] См.: Там же. С. 226.

[243] См.: Там же. С. 173.

[244] *Чернышевский Н. Г.* Указ. соч. Т. 14. С. 408.

[245] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 174.

[246] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 286.

[247] См.: *Магун А.* Демократия, или Демон и гегемон. СПб., 2016 (серия «Азбука понятий»). С. 97—99.

[248] См.: *Калашников М. В.* Понятие «либерализм» в русском общественном сознании XIX в. // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 487, 494.

[249] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 173—175.

[250] См.: *Краснов Г. В., Буртин Ю. Г.* Добролюбов // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь: В 5 т. Т. 2. М., 1992. С. 139—140.

[251] *Дживелегов А.* Добролюбов и идея революции // Литература и марксизм. 1931. № 3. С. 66.

[252] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 264—265, 266—268.

[253] Там же. С. 20.

[254] Там же. С. 77.

[255] См.: *Скафтымов А. П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 198—205; *Берлин И.* История свободы. Россия. М., 2014. С. 248—257.

[256] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 2. М., Л., 1962. С. 46.

[257] См.: Там же. Т. 5. М., Л., 1962. С. 449—450.

[258] Там же. Т. 9. С. 349.

[259] Там же. С. 357—358.

[260] Там же. С. 378.

[261] Там же. С. 388.

[262] См.: *Рейсер С. А.* К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова. С. 54.

[263] См.: *Прийма Ф. Я.* Н. А. Добролюбов и русское освободительное движение // Русская литература. 1963. № 4. С. 63—65.

[264] См.: *Усенко П. Г.* Письма С. Н. Федорова к Добролюбову, Сераковскому и Станевичу // Русская литература. 1977. № 4. С. 131, 133; *Рейсер С. А.* К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова. С. 57—59.

[265] См.: *Айрапетов О. Р.* Забытая карьера «русского Мольтке»: Николай Николаевич Обручев. СПб., 1998. С. 72—75.

[266] См.: *Lorenz S. R.* Realist Convictions and Revolutionary Impatience in the Criticism of N. A. Dobroliubov // Slavic and East European Journal. 2013. Vol. 57. № 1. P. 67—69.

[267] См.: *Берлин И.* Указ. соч. С. 33—84.

[268] *Чернышевский Н. Г.* Указ. соч. Т. 2. М., 1949. С. 59, 90.

[269] *Он же.* Заметки о журналах // *Чернышевский Н. Г.* Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 244.

[270] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 6. М., Л., 1963. С. 310.

[271] Там же. Т. 1. С. 185.

[272] См.: *Lorenz S. R.* Op. cit. P. 78—79.

[273] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 310.

[274] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 72, 564.

[275] См.: *Недзвецкий В. А., Зыкова Г. В.* Русская литературная критика XVIII—XIX вв.: Курс лекций. М., 2008. С. 217—218.

[276] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 72, 81.

[277] Там же. Т. 6. С. 139.

[278] См.: *Свердлов М. И.* Почему умерла Катерина? «Гроза»: вчера и сегодня. М., 2005. С. 13.

[279] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 339.

[280] Там же. С. 341, 345.

[281] Там же. Т. 9. С. 401.

[282] См.: *Klioutchkine K.* Between Ideology and Desire: Rhetoric of the Self in the Works of Nikolai Chernyshevskii and Nikolai Dobroliubov // Slavic Review. 2009. Vol. 68. № 2 (Summer). P. 245—248.

[283] Цит. по: *Николаева Е. П., Пинаев М. Т.* Н. А. Добролюбов в дневнике девушки из Вятки // Добролюбовские чтения. 1977. Горький, 1977. С. 74.

[284] См.: Добролюбовский архив / Публ. В. Княжнина // Заветы. 1913. № 2. С. 85—86.

[285] Письма М. Шемановского Добролюбову // Литературный критик. 1936. № 2. С. 141.

[286] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 567.

[287] Письма М. М. Дондуковой-Корсаковой к Н. А. Добролюбову // Русская мысль. 1913. № 12. С. 92.

[288] Там же. С. 93.

[289] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 186; Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова: В 3 т. Т. 2. СПб., 2007. С. 140; Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. 1818—1858 / Сост. Н. С. Никитина. СПб., 1995. С. 425—426.

[290] *Антонович М. А.* Литературно-критические статьи. М.; Л., 1961. С. 319—320.

[291] РО ИРЛИ. Ф. 305. Ед. хр. 3. Л. 1—1 об. См. также: [*Бухштаб Б. Я.*] Комментарии к стихотворению «На тост памяти Белинского» // *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 623.

[292] См.: РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 28 об.

[293] См., например: *Демченко А. А.* Проблемы научной биографии Н. Г. Чернышевского периода первой революционной ситуации: Опыт критического анализа первоисточников: Автореф. дис. канд. филолог. наук. Саратов, 1971; *Он же.* Чернышевский и Добролюбов в статье А. Герцена «Very dangerous!!!» // Проблемы формирования реализма в русской и зарубежной литературе XIX—XX вв. Вып. 2. Саратов. 1975. С. 43—45.

[294] Цит. по: *Чернышевский Н. Г.* Литературное наследие: В 3 т. Т. 3. М.; Л., 1930. С. 545.

[295] См.: *Он же.* Полное собрание сочинений. Т. 15. М., 1950. С. 454.

[296] А. А. Иванов, его жизнь и переписка. 1806—1858 гг. СПб., 1880. С. 340.

[297] *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. М.; Л., 1955. Т. 2. С. 49.

[298] А. А. Иванов, его жизнь и переписка. С. 341.

[299] См.: *Ловягин А. М.* Из бесед с П. А. Ефремовым // Доклады и отчеты Русского библиографического общества. Вып. 1. СПб., 1908. С. 45.

[300] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 4. М.; Л., 1962. С. 73.

[301] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 322—323.

[302] Там же. Т. 4. С. 73.

[303] Цит. по: Там же. С. 435—436.

[304] *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. М., 1958. С. 122.

[305] См.: [*Антонова Г. Н.*] Комментарий к статье «Лишние люди и желчевики» // *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 573.

[306] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 4. С. 72—73.

[307] *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 322—323.

[308] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 196.

[309] РО ИРЛИ Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 119. Л. 1.

[310] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 570.

[311] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 186.

[312] См.: Там же. С. 153—165.

[313] Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 507.

[314] См.: *Перминов Г. Ф.* Тургенев о Н. А. Добролюбове. Неизвестный фельетон-пародия Тургенева в «Искре» // Тургеневский сборник: Материалы к полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Вып. 3. Л., 1967. С. 106—118.

[315] *Муратов А. Б.* Н. А. Добролюбов и разрыв И. С. Тургенева с журналом «Современник» // В мире Добролюбова: Сборник статей и материалов / Сост. Ф. Ф. Кузнецов, С. С. Лесневский. М., 1989. С. 321.

[316] Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 510.

[317] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 4. М., 1987. С. 316.

[318] Свисток / Подг. А. А. Жук, А. А. Демченко. М., 1981 (серия «Литературные памятники»). С. 408.

[319] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 174.

[320] См.: *Лотман Ю. М.* О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996. С. 201—203.

[321] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 475.

[322] См.: Свисток. С. 512.

[323] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 513.

[324] Там же. С. 514.

[325] См.: Очерк проституции в Петербурге. СПб., 1868. С. 74; *Тарновский В. И.* Проституция и аболиционизм. СПб., 1888. С. 164—165; *Бентовин Б. И.* Торгующие телом // Русское богатство. 1904. № 12. С. 165; *Шашков С. С.* Исторические судьбы женщин, детоубийство и проституция. СПб., 1872. С. 553.

[326] См.: *Кузнецов М. Г.* Указ. соч. С. 104.

[327] См.: *Тарновский В. И.* Указ. соч. С. 149.

[328] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 59 об.

[329] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 7 об.—8.
[330] Там же. Л. 13.
[331] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 12 об., 63 об.; *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 384.
[332] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 311.
[333] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 12.
[334] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 146—147.
[335] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 360, 361.
[336] Цит. по: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 335.
[337] Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 251.
[338] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 341.
[339] Там же. С. 340.
[340] См.: Там же. С. 320—321.
[341] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 70 об.
[342] См.: Там же.
[343] Там же. Л. 38.
[344] См.: *Петров-Энкер Б.* «Новые люди России»: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. М., 2005. С. 204.
[345] См.: *Егоров Б. Ф.* Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории русской культуры. Т. 5. М., 1996. С. 262.
[346] См.: *Тарновский В. И.* Указ. соч. С. 160—164.
[347] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 61.
[348] См.: Там же. Л. 73 об.
[349] Там же. Л. 65—65 об.
[350] Там же. Л. 66—66 об.
[351] См.: Там же. Л. 72.
[352] См.: Там же. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 10—11; *Чернышевский Н. Г.* Литературное наследие. Т. 3. С. 666.
[353] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 449.
[354] *Он же.* Литературное наследие. Т. 3. С. 666.
[355] См.: Eesti Ajaloo Arhiiv (Tartu). F. 996. Op. 3. № 403.
[356] См.: РО ИРЛИ. Ф. 395. Оп. 2. Ед. хр. 28. Л. 1—2; Оп. 1. Ед. хр. 278. Л. 1—2.
[357] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 486.
[358] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 52. Л. 40.
[359] Там же. Л. 37 об.
[360] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 341, 345.
[361] Там же. С. 345, 344, 348.
[362] Там же. С. 350.
[363] Там же. С. 345. См. также: ОР ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 14 об.

[364] См.: *Чернышевская Н. М.* Невеста Н. А. Добролюбова // Звенья. Вып. 3/4. М.; Л., 1934. С. 555.
[365] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 351.
[366] См.: Там же. С. 354.
[367] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 15. С. 139.
[368] *Чернышевская Н. М.* Указ. соч. С. 555—556.
[369] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 359.
[370] См.: Там же. С. 562.
[371] Там же. С. 382, 384.
[372] Там же. С. 406.
[373] См.: Там же. С. 300, 299, 303, 310, 382.
[374] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 266, 273.
[375] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 419—420.
[376] Там же. С. 422.
[377] См.: Там же. С. 268.
[378] См.: Там же. С. 432.
[379] Добролюбовский архив. С. 88—89.
[380] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 452.
[381] См.: *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855—1875. Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 102—117.
[382] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 370, 381, 423.
[383] См.: Там же. С. 424.
[384] Цит. по: Там же. Т. 7. С. 115.
[385] Там же. С. 15—16.
[386] См.: *Аничков Е., Княжнин В.* Указ. соч. С. 269; *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 276—277.
[387] Цит. по: *Чуковский К. И.* Жизнь и творчество Николая Успенского // *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. М., 2004. С. 130.
[388] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 1 об. (оригиналы на французском языке).
[389] Там же. Л. 4, 8, 24, 10.
[390] См.: Там же. Л. 27.
[391] Там же. Л. 27 об.
[392] Там же. Л. 15.
[393] Там же. Ед. хр. 64. Л. 1.
[394] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 453.
[395] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 16—16 об.
[396] Добролюбовский архив. С. 91.
[397] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 2—2 об.
[398] Там же. Ед. хр. 123. Л. 17—17 об.
[399] См.: Там же. Л. 20.
[400] Там же. Л. 21—21 об.
[401] См.: Там же. Ед. хр. 64. Л. 3 об.—4.
[402] Там же. Ед. хр. 123. Л. 18.
[403] Там же. Л. 22.

[404] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 471.
[405] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 474.
[406] См.: *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 428, 429.
[407] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 473.
[408] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 264—265.
[409] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 85—86.
[410] *Манчестер Л.* Указ. соч. С. 316.
[411] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С 468.
[412] Там же. Т. 8. С. 81.
[413] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 35 об.—36.
[414] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 286, 229, 235, 245, 264.
[415] См.: Там же. С. 238.
[416] *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 18. Л., 1978. С. 72, 81.
[417] Там же. С. 90.
[418] См.: Там же. С. 91, 95.
[419] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 240.
[420] Историю взаимного восприятия Добролюбова и Достоевского см.: *Богданова О. А.* Н. А. Добролюбов и Ф. М. Достоевский: мировоззрение, контакты, судьба // В мире Добролюбова. С. 341—365.
[421] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 242.
[422] См.: Там же. С. 263.
[423] См.: Там же. С. 247.
[424] См.: *Соловьев Г. А.* «Реальная критика» Н. А. Добролюбова и «органическая критика» А. А. Григорьева // Н. А. Добролюбов и русская критика / Отв. ред. Г. Г. Елизаветина. М., 1988. С. 84—85.
[425] См.: *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 238—239.
[426] Там же. С. 270, 274.
[427] *Тургенев И. С.* Указ. соч. Письма. Т. 4. С. 314.
[428] *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений. Т. 20. Л., 1980. С. 200.
[429] См.: Материалы для биографии Н. А. Добролюбова... С. 469.
[430] *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Т. 13. Кн. 2. СПб., 1997. С. 18.
[431] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 385.
[432] Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 351, 348.
[433] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 438—440.
[434] Переписка Н. А. Некрасова. Т. 1. С. 358.
[435] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 189.
[436] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 79.
[437] Там же. С. 81.
[438] Там же. С. 82.
[439] См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 289—293, 203, 272.

[440] См.: *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 306.

[441] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 291, 300.

[442] См.: Там же. С. 272.

[443] См.: Там же. С. 302—305; *Рейсер С. А.* Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. С. 314, 317.

[444] *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 14. Кн. 2. СПб., 1999. С. 165.

[445] См.: *Бухштаб Б. Я.* Добролюбов или Некрасов? // *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие: избранные работы. СПб., 2000. С. 123—129.

[446] См.: Там же. С. 123.

[447] См.: *Краснов Г. В.* Выступление Н. Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н. А. Добролюбове 2 марта 1862 г. как общественное событие // Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. Вып. 4. М., 1965. С. 143—163; *Порох И. В.* Речь Н. Г. Чернышевского на похоронах Н. А. Добролюбова и ее общественный резонанс // Н. Г. Чернышевский: История. Философия. Литература. Саратов, 1982. С. 35—42.

[448] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 312.

[449] Там же. С. 314.

[450] Дело Чернышевского: Сборник документов / Подгот. текста, вступ. ст., коммент. И. В. Пороха; общ. ред. Н. М. Чернышевской. Саратов, 1968. С. 151.

[451] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 243.

[452] Там же. С. 310.

[453] *П. В.* Диковинки русской журналистики (письмо к редактору) // Современная летопись: Приложение к журналу «Русский вестник». 1862. № 10. С. 12.

[454] *Н-ов.* Современные поминки по друзьям // Библиотека для чтения. 1862. Т. 170. № 3. С. 162.

[455] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 10. М., 1951. С. 35—36.

[456] См.: *Мысляков В. А.* Чернышевский и Тургенев («Отцы и дети» глазами Чернышевского) // Н. Г. Чернышевский: Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979. С. 147—148.

[457] Цит. по: Там же. С. 145.

[458] *Демченко А. А.* Н. Г. Чернышевский: Научная биография: В 4 ч. Ч. 3. Саратов, 1992. С. 149.

[459] *Нескажусь* [*Боборыкин П. Д.*]. Пестрые заметки (Бессмертный экспромт Чернышевского) // Библиотека для чтения. 1862. Т. 169. Ч. 2. С. 147—148.

[460] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 148.

[461] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 456.

[462] См.: *Паперно И.* Указ. соч. С. 105—107; *Жолковский А. К.* О пользе вкуса (Чернышевский) // *Жолковский А. К.* Инвенции. М., 1995. С. 22—24.

[463] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 481—482.

[464] См.: *Рейсер С. А.* Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // *Чернышевский Н. Г.* Что делать? Л., 1975 (серия «Литературные памятники»). С. 819—829.

[465] *Чернышевский Н. Г.* Что делать? С. 74—75.

[466] См.: Там же. С. 428.

[467] Там же. С. 77.

[468] Там же. С. 114.

[469] РО ИРЛИ. Ф. 97. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 17 об., 21 об., 25.

[470] *Чернышевский Н. Г.* Что делать? С. 25.

[471] См.: *Klenin E.* On the Ideological Sources of Čto delat'?: Sand, Družinin, Leroux // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1991. Bd. 51. № 2. S. 402—404.

[472] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 12. М., 1949. С. 126.

[473] Там же. С. 685.

[474] См.: *Паперно И.* Указ. соч. С. 184—185.

[475] См.: *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 106, 107.

[476] См.: *Новикова Н. Н.* Владимир Обручев — герой романа Н. Г. Чернышевского «Алферьев» // Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг. Вып. 2. М., 1962. С. 469—486.

[477] *Добролюбов Н. А.* Дневники. С. 174—175.

[478] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 107, 109—111.

[479] См.: Там же. С. 110—111.

[480] *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 79.

[481] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 686.

[482] См.: *Он же.* Пролог / Подгот. текста и коммент. А. П. Скафтымова. М.; Л., 1936. С. 504—514.

[483] *Он же.* Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 1949. С. 213.

[484] Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 177.

[485] См.: *Лебедев А. А.* Герои Чернышевского. М., 1962. С. 262—294; *Николаев П. А.* «Пролог» в художественной системе Чернышевского // Вопросы литературы. 1978. № 7. С. 62—63.

[486] См.: *Szczukin W.* Вера Павловна и другие: О концепции любви в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» // Studia Rossica XV. Warszawa, 2004. S. 181—196.

[487] Так считали Е. В. Аничков и В. Н. Княжнин (см.: *Аничков Е., Княжнин В.* Указ. соч. С. 267).

[488] См.: *Топоров В. Н.* Младой певец и быстротечное время (К истории одного образа в русской поэзии в первой трети XIX в.) // UCLA Slavic Studies. Vol. 4. Russian Poetics. Columbus, OH, 1983. P. 423—424; *Левинтон Г. А.* Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба: Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 190—215.

[489] *Анненков П. В.* Биография Н. В. Станкевича // Николай Владимирович Станкевич: переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857. С. 4—5.

[490] См.: *Макеев М. С.* Роберт Бёрнс и Томас Карлейль в поэтическом самоопределении Н. А. Некрасова в 1856 г. // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2008. № 2. С. 62—71.

[491] См.: *Карлейль Т.* Теперь и прежде. М., 1994. С. 6, 146—147.

[492] *Он же.* Исторические и критические очерки. М., 1878. С. 353.

[493] *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 2. Л., 1981. С. 173.

[494] Демонстрация на могиле Добролюбова в 10-летнюю годовщину его смерти // Шестидесятые годы. С. 428.

[495] Прокламация революционного кружка ко дню двадцатой годовщины смерти Н. А. Добролюбова // Литературное наследство. Т. 25/26. С. 587, 588.

[496] *Засулич В. И.* Добролюбов // *Засулич В. И.* Сборник статей: В 2 т. СПб., 1907. Т. 2. С. 303, 304, 308.

[497] *Кранихфельд В. П.* Критико-биографический очерк // *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений: В 8 т. / Под ред. В. П. Кранихфельда. Т. 1. СПб., 1911. С. X—XI.

[498] Цит. по: *Нифонтов А.* Н. А. Добролюбов в оценке основоположников марксизма-ленинизма // Литературное наследство. Т. 25/26. С. 14.

[499] В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1979. С. 650.

[500] См.: *Плеханов Г. В.* Добролюбов и Островский // *Плеханов Г. В.* Сочинения: В 24 т. Т. 24. М., 1924. С. 46—47; *Горбанев Н.* Г. В. Плеханов и Н. А. Добролюбов // В мире Добролюбова. С. 367—385.

[501] *Воровский В. В.* Н. А. Добролюбов // *Воровский В. В.* Эстетика. Литература. Искусство / Вступ. ст., прим. О. Семеновского, И. Черноуцана. М., 1975. С. 112.

[502] См.: *Рейсер С. А.* Добролюбов и Герцен // Известия АН СССР. Серия общественных наук. 1936. № 1—2.

[503] *Луначарский А. В.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 1967. С. 202—204.

[504] См.: Инструкция по пересмотру книг в библиотеках. М.; Л., 1926. С. 3, 16.

[505] См.: Советские издания Добролюбова // Комсомольская правда. 1936. 5 февраля. С. 2.

[506] См.: *Крупская Н. К.* О преподавании литературы // *Крупская Н. К.* Педагогические сочинения: В 11 т. Т. 3. М., 1959. С. 534.

[507] См.: Программы и методические записки единой трудовой школы. Вып. 3. М., 1929. С. 87; Программы и методические записки школ крестьянской молодежи. М.; Л., 1928. С. 188.

[508] См.: *Кирпотин В. Я.* Критика Добролюбова и проблемы литературной современности // РАПП. 1931. № 3. С. 84—86.

[509] См.: Там же. С. 86, 87, 89, 90, 94.

[510] См.: *Кирпотин В. Я.* Н. А. Добролюбов // Большевик. 1936. № 4. С. 49—62.

[511] *Он же.* Критика Добролюбова и проблемы литературной современности. С. 94.

[512] *Переверзев В. Ф.* На фронтах текущей беллетристики // Печать и революция. 1923. № 4. С. 133.

[513] См.: *Он же.* Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение: Сборник статей. М., 1928. С. 9—18; *Jackson R. L.* The Sociological Method of V. F. Pereverzev: A Rage for Structure and Determinism // Literature and Society in Imperial Russia, 1800—1914. Stanford, 1978. P. 41, 44.

[514] *Кирпотин В. Я.* Критика Добролюбова и проблемы литературной современности. С. 95, 96.

[515] См.: *Ленерт X.* Судьба социологического направления в советской науке о литературе и становление соцреалистического канона: «Переверзевщина» / «Вульгарный социологизм» // Соцреалистический канон: Сборник статей. СПб., 2000. С. 331—332.

[516] См.: *Глаголев Н.* Критик-боец (о наследстве Н. А. Добролюбова) // Октябрь. 1933. № 1. С. 185, 191, 194, 203, 199.

[517] См.: *Он же.* Добролюбов о реализме и реальной критике // Художественная литература. 1935. № 8. С. 56.

[518] См.: *Добренко Е.* Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997. С. 86, 94.

[519] См.: История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М., 2011. С. 434.

[520] См.: *Биуль-Зедгинидзе Н.* Литературная критика журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского (1958—1970 гг.). М., 1996. С. 50.

[521] *Буртин Ю.* Дело на все времена // В мире Добролюбова. С. 143—144.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

1836, 24 января — у священника А. И. Добролюбова и его жены З. В. Добролюбовой родился сын, названный Николаем.

1844, лето — брал домашние уроки у семинариста Е. А. Садовского.

Сентябрь — начал подготовку к поступлению в духовное училище.

1847, сентябрь — поступил в высший класс Нижегородского духовного училища. Начал записывать в тетрадь юношеские стихотворения. Составил каталог отцовской библиотеки.

1848, сентябрь — окончил училище с высшим баллом по всем предметам и поступил в Нижегородскую духовную семинарию.

1850 — выпустил рукописный журнал «Ахинея».

1852 — увлекся Феничкой Щепотьевой; духовно сблизился с учителем семинарии И. М. Сладкопевцевым.

Конец года — послал в журнал «Сын отечества» 12 стихотворений за подписью «Владимир Ленский» (не опубликованы).

1853, лето — окончил духовную семинарию, уехал в Петербург для поступления в Духовную академию.

Август—сентябрь — сдал экзамены в Главном педагогическом институте и стал его студентом.

Сентябрь — уволен из духовного звания.

1854, 8 марта — смерть матери при родах.

Июнь — приехал в Нижний Новгород к семье.

6 августа — смерть отца от холеры.

Конец августа — возвратился в Петербург.

Декабрь — после столкновения с институтским начальством составил жалобу на инспектора А. Н. Тихомандрицкого; написал первый сатирический памфлет «На 50-летний юбилей его превосходительства Николая Ивановича Греча».

1855, январь — за сатиру на Греча подвергся обыску и заключению в карцер.

Весна — передал в редакцию «Современника» рассказ «Провинциальная холера» (не опубликован); издавал рукописную газету «Слухи».

Конец года — читал и переводил труды Л. Фейербаха, впервые заговорил об утрате веры и атеизме.

1856, весна — познакомился с критиком журнала «Современник» Н. Г. Чернышевским.

Осень — опубликовал в «Современнике» первые статьи и рецензии: «Собеседник любителей российского слова», «Описание Главного Педагогического института в его нынешнем состоянии», «Ответ на замечание г. Галахова...» др.

Декабрь — познакомился с проституткой Терезой Грюнвальд.

1857, июнь — окончил педагогический институт; получил по протекции место домашнего учителя детей князя А. Б. Куракина.
Осень — стал постоянным сотрудником отдела библиографии и рецензий журнала «Современник».

1858, лето — лечился и отдыхал в Старой Руссе; намеревался жениться на Терезе Грюнвальд, но постепенно охладел к ней.

1859, зима—весна — увлекся свояченицей Чернышевского Анной Сократовной Васильевой.
Опубликовал статьи «Что такое обломовщина?», «Литературные мелочи прошлого года», «Темное царство», писал стихотворения для «Свистка» — сатирического приложения к «Современнику».

1860, январь — опубликовал в «Современнике» статью «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».
Февраль—апрель — поссорился с И. С. Тургеневым. Опубликовал в «Современнике» статью «Когда же придет настоящий день?» о романе Тургенева «Накануне».
Май — выехал на лечение в Европу.
Лето — побывал в Берлине, Дрездене, Праге, Франкфурте, Интерлакене, Дьепе.
Октябрь — опубликовал в «Современнике» статью «Луч света в темном царстве».
Октябрь—ноябрь — роман с парижской проституткой Эмилией Телье.

1860, декабрь — 1861, конец мая — жил в Турине, Милане, Генуе, Флоренции, Риме, Неаполе, Мессине. Создал цикл статей о революции в Италии («Из Турина», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» и др.).

1861, конец мая — сделал предложение Ильдегонде Фиокки, но получил отказ.
Июнь—июль — возвратился в Россию через Грецию.
Август — в последний раз посетил родственников в Нижнем Новгороде. Вернулся в Петербург, возобновил интенсивную работу в редакции «Современника».
Сентябрь — написал последнюю крупную критическую статью «Забитые люди» о творчестве Ф. М. Достоевского.
Начало ноября — отошел от дел редакции из-за резкого ухудшения здоровья.
Ночь на 17 ноября — скончался от туберкулеза.
20 ноября — похоронен на Волковом кладбище Петербурга.

БИБЛИОГРАФИЯ

Издания сочинений Добролюбова

Добролюбов Н. А. Дневники / Под ред. В. Полянского. М., 1931.

Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. М.; Л., 1934—1939.

Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: В 9 т. М.; Л., 1961—1964.

Литература

В мире Добролюбова: Сборник статей и материалов / Сост. Ф. Ф. Кузнецов, С. С. Лесневский. М., 1989.

Володин А. И. Николай Добролюбов и Людвиг Фейербах // Философские науки. 1986. № 4.

Демченко А. А. Н. А. Добролюбов: Книга для учителя. М., 1984.

Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. М., 1936.

Егоров Б. Ф. Добролюбов и Чернышевский // Н. А. Добролюбов: Эстетика. Литература. Критика: Сборник статей и материалов. Л., 1988.

Егоров Б. Ф. Н. А. Добролюбов — собиратель и исследователь народного творчества Нижегородской губернии. Горький, 1956.

Егоров Б. Ф. Николай Александрович Добролюбов: Книга для учащихся. М., 1986.

Золина Н. А., Леонтьев Н. Г. Добролюбов в Петербурге. Л., 1971.

Краснов Г. В., Буртин Ю. Г. Добролюбов // Русские писатели 1800—1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 135—141.

Манчестер Л. Поповичи в миру: Духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М., 2015.

Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг. [Н. Г. Чернышевским]. М., 1890.

Митропольский А. С. «Реэстр книг, читанных мною...»: Круг чтения Н. А. Добролюбова 1849—1853 гг. и первые литературные опыты. Нижний Новгород, 1991.

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986.

Орлов С. А. Добролюбов в Нижнем Новгороде. 2-е изд. Горький, 1985.

Печерская Т. И. Разночинцы шестидесятых годов XIX века: феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики. Новосибирск, 1999.

Рейсер С. А. Добролюбов и его товарищи в Главном педагогическом институте (1853—1847) // Освободительное движение в России. Вып. 3. Саратов, 1973.

Рейсер С. А. К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1952. Т. 9. № 1. С. 52—60.

Рейсер С. А. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953.

Рейсер С. А. Добролюбов в Нижнем Новгороде. 1836—1853. Горький, 1961.

Рейсер С. А. Н. А. Добролюбов накануне окончания Главного педагогического института // Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской. Л., 1957. Т. 2. С. 233—238.

Свисток / Подг. А. А. Жук, А. А. Демченко. М., 1981 (серия «Литературные памятники»).

Сергеева Н. И. Н. А. Добролюбов в истории философской и общественной мысли России. Бийск, 2009.

Чернышевская Н. М. Невеста Добролюбова // Звенья: Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Вып. 3/4. М.; Л., 1934. С. 555—563.

Ямпольский И. Г. Бюджет Добролюбова // Литературное наследство. Т. 25/26. М., 1936.

Frede V. Doubt, Atheism, and the Nineteenth-Century Russian Intelligentsia. Madison, 2011.

Lorenz S. R. Realist Convictions and Revolutionary Impatience in the Criticism of N. A. Dobroliubov // Slavic and East European Journal. 2013. Vol. 57. № 1. P. 67—88.

СОДЕРЖАНИЕ

Вдовин А. В.

В 25 Добролюбов: разночинец между духом и плотью / Алексей Вдовин. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 298[6] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1639).

ISBN 978-5-235-03986-5

Имя Добролюбова по сей день присутствует в школьной программе, название его статьи «Луч света в темном царстве» стало идиомой, однако сам он основательно забыт. Между тем в русской литературе нет подобного ему персонажа. Едва перешагнув порог двадцатилетия, он стал властителем дум целого поколения, а его ранняя смерть обсуждалась в газетах не меньше отмены крепостного права. Чернышевский объявил его мучеником режима и «главой литературы», а позже списал с него героев своих романов о «новых людях». Реальный же Добролюбов никогда не был известен широкой аудитории. Каков был его политический идеал? Почему в статьях он отказывался рассуждать о литературных достоинствах произведений? Умел ли, по выражению Некрасова, «рассудку страсти подчинять»?

Отрешившись от шаблонных трактовок, историк литературы Алексей Вдовин на основе источников, в том числе поражающих откровенностью неопубликованных писем возлюбленных Добролюбова, создал биографию страстной и раздираемой противоречиями личности, так и не сумевшей примирить любовные страсти с демократическими идеалами.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)-8

знак информационной продукции **16+**

Вдовин Алексей Владимирович

ДОБРОЛЮБОВ: РАЗНОЧИНЕЦ МЕЖДУ ДУХОМ И ПЛОТЬЮ

Редактор **Е. А. Никулина**
Художественный редактор **К. В. Забусик**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректор **Т. И. Маляренко**

Сдано в набор 06.02.2017. Подписано в печать 17.03.2017. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 15,96+0,84 вкл. Тираж 2500 экз. Заказ № 1705910

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

arvato BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03986-5

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:

МАЛАЯ СЕРИЯ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Махов
«ДЖОРДЖОНЕ»

М. Бондаренко
«МЕЦЕНАТ»

В. Десятерик
«ИВАН СЫТИН»

Н. Карташов
«КРАМСКОЙ»

Д. Быков
«ГОРЬКИЙ»



СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Млечин
«ПЛЕВИЦКАЯ»

В. Авченко
«ФАДЕЕВ»

Е. Матонин
«ГАВРИЛО ПРИНЦИП»

М. Макарычев
«ФИДЕЛЬ КАСТРО»

П. Басинский
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ»

Л. Кириллина
«ГЕНДЕЛЬ»




ISBN 978-5-235-03986-5

9 785235 039865 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ